ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Питирим Сорокин

Питирим Сорокин



Питирим Сорокин



Питирим Сорокин | ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Питирим Сорокин

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

A LONG JOURNEY

The Autobiography of

PITIRIM A. SOROKIN

Питирим Сорокин

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

АВТОБИОГРАФИЯ



МОСКВА
«ТЕРРА» – «TERRA»
1992

ББК 63.3(2)
С65

Перевод с английского, общая редакция, составление, предисловие и примечания А. В. Липского

Художник *Н. Б. Старцев*

Сорокин П. А.

С65 Дальняя дорога: Автобиография / Пер. с англ., общая редакция, предисловие и примеч. А. В. Липского. — М.: Моск. рабочий; ТЕРРА, 1992. — 303 с.

Читателю впервые предлагается перевод автобиографии виднейшего социолога современности Питирима Александровича Сорокина (1899—1968), изданной в США в 1963 году. П. А. Сорокин родился, получил образование и работал до 1922 года в России. Идейная оппозиция новой власти привела его к высылке из страны вместе с другими выдающимися учеными и писателями. С 1923 года жил и работал в США. Автобиография — интереснейшее и живое свидетельство, оставленное нам не только ученым, но и крупным деятелем партии эсеров, секретарем по науке и образованию Временного правительства. Особую притягательность книге придают сокровенность воспоминаний Сорокина-человека, его личностное восприятие, оценка людей, исторических событий, современником и участником которых довелось ему быть.

Адресуется широкому читательскому кругу.

С $\frac{4702010104—072}{М172(03)—92}$ 28—92

ББК 63.3(2)

ISBN 5—239—01378—0

ВДОЛЬ ПО «ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ»

Вместо предисловия

В Америке очень любят мемуары. Их пишут не только выдающиеся, знаменитые и великие, но и вообще все сколь-нибудь заметные герои светской хроники, политических новостей и спортивных репортажей. Часто даже пером по бумаге водят не они, а талантливые и не очень специалисты литературной обработки текстов.

Автобиография Питирима Сорокина, чей столетний юбилей в 1989 году отметила вся мировая наука, на этом фоне — нечто совершенно особенное. Книга увидела свет в 1963 году, будучи написана автором годом ранее. По словам Питирима Александровича, работалось ему легко, с интересом и в удовольствие. Это книга о его жизни, полной приключений и событий, свидетелем или, точнее, участником которых он был, о людях, вместе с кем он шел своей «дальней дорогой». Книга-памятник, книга-реквием. Не стоит и говорить, что создана она им самостоятельно от первой до последней строчки. Было бы неразумно полагать, что Сорокин, написавший за всю жизнь несколько сотен статей и более сорока книг, откажет себе в удовольствии собственноручно записать свои воспоминания.

Однако интересна и ценна автобиография не только и не столько этим. Изюминок в ней хватило бы на хорошую французскую булку от Елисеева. Во-первых, автор ее — исконный россиянин, в тридцать три года не по своей воле ставший эмигрантом и около полувека проживший в Соединенных Штатах, то есть «русский американец». Во-вторых, он не просто эмигрант, а крупнейший ученый XX века, «социолог № 1», оказавший неоценимое влияние на общественную мысль современности. В-третьих, «Дальняя дорога» — это документ эпохи, скрытый до самого последнего времени от нас «спецхранами»[1]. Однако автобиография — не историческое исследование, в ней нет точных ссылок, документальных цитат, цифровых выкладок. Это рассказ, неторопливое повествование об отрочестве и юности, о давно минувших днях русской революции, боль и горечь которых и через полвека жгли сердце Сорокина, о жизни в Америке. Рассказ во многом наивный, искренний и непосредственный, очень узнаваемый и «стопроцентно сорокинский».

Не знаю уж, «изюминка» это или «орешек», но предназначенная для американского читателя, написанная на английском языке, книга читается местами удивительно по-русски. Похоже, Сорокин, несмотря на великолепное владение языком и американской идиоматикой, слагал русские мысли в русский текст, а затем почти дословно, часто просто «калькируя», перелагал на английский.

---

[1] *Специальное хранение* — особый режим выдачи книг, а также специальное помещение в библиотеках, оснащенное железными дверями, сигнализацией и инструкциями, кому и почему нельзя выдавать ту или иную книгу того или иного автора. — *Примечание переводчика и автора предисловия для будущих поколений читателей.*

В результате у него получался американский перевод с русских мыслей, а перед читателями лежит обратный перевод с американского оригинала. Думаю, что сделал так Сорокин намеренно, дабы, заботясь о будущем читателе в России, исключить вероятность искажения «мысленного оригинала» при его «восстановлении». Надо сказать, что работа над переводом из-за этого превратилась в разгадывание гигантского ребуса, когда буквально в каждой строке приходилось искать «заданную изначальность».

Возьмем в качестве примера английское название книги — «A Long Journey». Слово «Long» имеет в нашем случае три значения: длинный, долгий, дальний. «Journey» — это путешествие, путь, дорога как процесс перемещения во времени и пространстве. Наиболее вероятных, отвечающих замыслу и содержанию книги переводов названия — два: *«Долгий путь»* или *«Дальняя дорога»*. Какой из них ближе авторскому оригиналу? Какой более соответствует образному ряду *россиянина* Питирима Сорокина? Смею надеяться — второй. Странствия, бродяжья жизнь перекати-поля, скитания — рефрен его воспоминаний — не сочетаются со словом «путь», семантически предполагающим, пусть и не явно, наличие некоего конечного пункта, места назначения. И, наоборот, дорога как *modus vivendi*, как образ жизни (via est vita), подходит для перевода наилучшим образом.

«А выпала тебе, касатик, дальняя дорога...» Куда, зачем — неизвестно, просто карты так легли, или папиллярный узор приоткрывает нам завесу над собственным фатумом. Вспомним образ дальней дороги в стихах другого российского интеллигента, можно сказать «внутреннего эмигранта», Булата Шалвовича Окуджавы:

...И дальняя дорога дана тебе судьбой,
как матушкины слезы, всегда она с тобой.

Ведь это о Сорокине! Ну, не буквально, конечно, хотя и написана «Песенка о дальней дороге» примерно в одно время с автобиографией Питирима Александровича, который *не мог не знать* стихов и песен Окуджавы, поскольку, как и многие другие в русском зарубежье, интересовался и внимательно следил за нашей жизнью и культурой. Наконец, как не вспомнить фольклорное: «Вдоль по дальней, вдоль да по дорожке...»? Если перевести на английский, то получаем интересную игру слов: «Along o long Journey», которая зашифрована в названии книги, выводя нас на изначальный, то есть сорокинский, оригинал.

Конечно, десятилетия жизни в Америке и привычки университетского профессора наложили отпечаток на творческую манеру Питирима Сорокина. Типично американский стиль изложения особенно заметен в отвлеченных рассуждениях автора, его рефлексии по поводу описываемых событий, в главах, посвященных американскому бытию Сорокина. Педагогическое прошлое также прорывается на страницы книги в столь излюбленных тамошними профессорами многочисленных повторениях какой-либо важной мысли и обязательных обобщающих резюме после каждой порции фактического материала.

Еще одна весомая «изюмина» данной автобиографии состоит в том, что она написана социологом. Мало кто из представителей этой науки отваживался на создание автобиографии. Мемуары — дело другое, а вот собственноручно записанных социологами историй своей жизни почти нет, что особенно заметно с начала XX века, когда они становятся важным исследовательским инструментом в социологии и антропологии, в частности в трудах знаменитой Чикагской школы,

начиная с классической работы У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918). Лучше других зная, что современные методы анализа автобиографий сродни ограблению со взломом тайников авторского сознания и даже подсознания, никто из социологов, кроме Сорокина, не рискнул «обнажиться» перед потомками.

Дабы избежать путаницы в нюансах терминов, отметим, что, строго говоря, *автобиографией* называется история жизни, когда человек, рассказывающий или записывающий ее, является действующим субъектом этой истории, и когда он сам определяет, что включать, а что не включать в повествование. *Мемуары* — воспоминания о событиях и людях, причем рассказчик не обязательно является субъектом повествования, а само оно не обязательно охватывает всю его жизнь. Жанр литературной автобиографии складывается в современном виде, пожалуй, только после Руссо и Гёте; его отличительной чертой становится концентрация авторской рефлексии не на событиях и приключениях, а на процессе развития своей личности. Самые разные перепетии сюжета подчиняются этой единой теме.

Как писал Флориан Знанецкий в предисловии к книге В. Берканя «Автобиография» (Познань, 1924), задача социолога, анализирующего чью-либо историю жизни, — увидеть социальную среду так, как видел ее автор, узнать его отношение к ней и каким образом среда формирует личность автора, поскольку влияние, которое оказывают люди и вещи на наше сознание, зависит не от того, что они представляют собой для других, а от того, что они есть для нас, в нашем практическом к ним отношении.

Для социолога, занявшего эту позицию, автобиография становится несравненно более ценным научным документом, чем для историка или психолога. Для них это всего лишь источник ошибочной информации, но для социолога — в любом случае материал для анализа, как бы неполон или ограничен он ни был. Даже если автор лжет или делает ошибки, социолог видит в этом актуальное, активное проявление желаний и стремлений человека. Проблемой для социолога является не то, что автор говорит, а то, о чем он умалчивает, поскольку *исследователю* в этом случае приходится превращаться в *следователя* и сыщика, то есть в *биографа,* чтобы затем сравнить «нарытый» материал с собственно автобиографией. В этом случае даже неполная фактически и психологически история жизни, позволяет нам получить косвенные сведения о желаниях и комплексах, по поводу которых автор не высказался прямо. По словам Флориана Знанецкого, «...обнаружив стремление или тенденцию, которую автор сознательно или бессознательно скрыл, мы получаем более важный результат, чем если бы выяснили, что автор был абсолютно искренен. И это так, поскольку само умолчание об определенном стремлении или чувстве обычно имеет под собой очень интересную социально-психологическую основу»[1].

Однако в случае с автобиографией Питирима Сорокина такого рода параллельное «расследование» — путешествие вслед за ним по «Дальней дороге» — оказывается исключительно трудным предприятием. Без малого семь десятилетий и труды, и само имя его были «персонами нон-грата» в нашей стране. Память о нем сознательно вытаптывалась. Людей, знавших молодого Сорокина, в конце 80-х годов, когда появился интерес к его личности, уже практически не осталось. Пресса «распечатала» закрытую ранее тему Сорокина в канун его столетия в 1989 году. Основная масса документов в личных архивах, во избежание неприят-

[1] Sisyphus, PAN, 1982, Y. II, p. 13.

ностей, давно уничтожена, а материалы спецхранов все еще цепко охраняются ревнителями сталинской версии отечественной истории. И все же кое-что сделать удалось, проникая правдами и неправдами в архивы и разыскивая последних свидетелей того времени. Результаты наших поисков нашли свое отражение, по крайней мере частично, в примечаниях и комментариях к автобиографии.

Когда знакомишься с тем, что сегодня пишут о Сорокине, мягко говоря, удивляешься, насколько запутанны оказываются самые простые вопросы. Например, такой: где родился Питирим Александрович? На сей счет существует несколько версий. Энциклопедический философский словарь, а вслед за ним и справочник по истории зарубежной социологии информируют, что местом рождения следует считать «село Жешарт, ныне Коми АССР»[1]. Такого же мнения придерживаются и составители недавно вышедшего сборника «Квинтэссенция» (1990). В других источниках местом, «где, как известно, родился П. А. Сорокин», называют город Великий Устюг Вологодской губернии[2]. Журнал «Новое время» превращает уже упомянутое село Жешарт в «глухую чувашскую деревню»[3], а журнал «Отчизна» пишет, что «родился он в селе Турья на Урале»[4]. Есть упоминание и о «деревне» Турья[5]. Даже такое солидное издание, как «Международная энциклопедия социальных наук», в статье, посвященной Сорокину, лишь скупо сообщает, что он родился «в 1889 году на деревенском севере России в бедной семье»[6].

Сам Питирим Александрович в «Дальней дороге» на первых же страницах называет село Турья Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Коми АССР) местом своего рождения. Однако более ни в автобиографии, ни в других его работах этот топоним не встречается. Он пишет, что деревня Римья была его «малой родиной», а район между Устюгом и Котласом — «родными местами», где он «обычно проводил все лето» в годы учебы[7]. Однако стоит взглянуть на карту, как обнаруживается, что Турья и вообще Яренский уезд удалены от окрестностей Котласа и Великого Устюга на две с половиной сотни верст.

Неточности существующих версий и заставили приступить к поиску данных, способных раз и навсегда устранить путаницу. Обратившись к архивам, мы[8] в конце концов обнаружили автобиографию, написанную собственноручно Сорокиным в 1920 году, с указанием на село Турья. Продолжив поиски в церковных метрических книгах Великоустюжского Духовного Правления Вологодской Епархии, — ведь Питирим Александрович согласно паспорту 1911 года был православного вероисповедания, — нашли в книге Воскресенской церкви села Турья (часть I, «О родившихся») запись за январь 1889 года под номером два: «23 января родился, 24 крестился младенец Питирим, сын мещанина Устюжского уезда города Великоустюга Александра Прокопьевича Сорокина и его законной жены Пелагеи Васильевны»[9]. Восприемником (крестным отцом) младенца значится учитель Турьин-

[1] Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 627; Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С. 1240; Справочное пособие по истории немарксистской западной социологии. М., 1986. С. 340; Современная западная социология: Словарь. М., 1990. С. 315.

[2] Социологические исследования. 1988. № 4. С. 102.

[3] Новое время. 1989. № 4. С. 31.

[4] Отчизна. 1990. № 3. С. 43.

[5] Молодежь Севера. 1988. 30 сентября.

[6] International Encyclopedia of the Social Sciences. N. Y:: MacMillan Inc., 1968. Y. 15. P. 61.

[7] Sorokin P. A. Leares from a Russian Diary. Boston: Beacon Press, 1950. P. 144.

[8] Вместе с историком и социологом из Сыктывкара П. П. Кротовым.

[9] ЦГА Коми АССР. Ф. 254, оп. 1. д. 50, л. 124.

ского земского училища Иван Алексеевич Панов. Таинство крещения совершал выходящий священник Онежской Богородской церкви Иоанн Попов (село Онежье расположено в нескольких километрах ниже по течению реки Вымь). Запись сделана священником турьинской церкви Викентием Харьюзовым с приложением руки псаломщика Семена Попова. (Фотографию записи в метрической книге читатель найдет на фотовкладке.)

С датой рождения тоже, кстати, немало путаницы. Сам Питирим Сорокин писал в автобиографии «Дальняя дорога», что родился 21 января 1889 года. Обнаруженные в архивах паспорта 1911 и 1917 годов указывают на 20 января[1]. В метрике — 23 января, и то же число в свидетельстве об окончании экстерном Великоустюжской мужской гимназии, а также во всех последующих университетских документах. Знать о дате своего рождения Сорокин мог *только от отца,* поскольку мать рано умерла, а иные родственники при появлении Питирима на свет не присутствовали. 20 января — день поминовения трех местных усть-вымьских святых, в честь одного из которых его и нарекли. Дни отмечали тогда по святцам, церковному календарю, и неудивительно, что в голове Сорокина-старшего засело именно это число. Сейчас уже просто невозможно выяснить, как в автобиографии, собственноручно написанной Сорокиным, 20-е число превратилось в 21 января. Где-то между 1900 и 1901 годами умирает отец. К тому времени Питирим уже около двух лет не живет с ним. Поступление в школу летом 1901 года потребовало выполнения некоторых формальностей, и из села Турья была затребована его метрика (выписка из метрической книги). В ней значилось, что дата рождения — 23 января 1889 года. Возникает вопрос, как, в таком случае, в паспорт попало именно 20-е число? Намек на это содержится в «Дальней дороге»: паспорт, как и свидетельство о политической благонадежности, после первого заключения он получал «обходными» средствами. А значит, вполне возможно, что оформление документа производилось с его слов (не на основании метрики). В позднейших паспортных книжках дата 20 января является лишь повторением первой записи, поскольку паспорта *перерегистрировались, а не оформлялись заново,* то есть не требовалось каждый раз представлять метрическое свидетельство. А для поступления в учебные заведения метрика требовалась, вот почему на всех документах, связанных с образованием, стоит правильная дата — 23 января 1889 года. Однако и это еще не все. С переходом на новый календарь 14 февраля 1918 года дата рождения также должна была сдвинуться. Зная, что поправка к старому стилю до 1900 года составляет 12 дней, получаем, что П. А. Сорокин родился по новому стилю — 4 февраля 1889 года.

К сожалению, в книге можно найти и другие примеры неправильных дат. Автор в семидесятилетнем возрасте описывал события более чем полувековой давности исключительно по памяти, и неудивительно, что она иногда подводила его. Так, Сорокин пишет, что окончил Гамскую второклассную школу в 1903 году, проучившись три года, однако на самом деле это произошло в 1904 году, как свидетельствует найденная нами в книге выпускников Гамской школы запись о выдаче свидетельства, скрепленная подписью самого Питирима. В другом месте Сорокин сообщает, что виделся со своим другом Н. Д. Кондратьевым в последний раз в 1927 году, когда Николай Дмитриевич с супругой приезжали в США. В действительности же его последняя командировка за рубеж и поездка в Америку состоялась в 1924 году. Те или иные неточности встречаются в тексте довольно часто,

[1] ЛГИА, ф. 14, оп. 1. 1914—1922, ед. хр. 10917, л. 91.

и каждая замеченная оговорка или ошибка снабжена соответствующим примечанием.

Сознательно замалчивает или, точнее, пишет не всю правду Сорокин, пожалуй, только дважды. Оба этих эпизода снабжены пространными комментариями по тексту, и здесь я не стану подробно разбирать их. Отметим лишь, что первый из них связан с его защитой «докторской» диссертации весной 1922 года, а второй — с обстоятельствами заключения, смертного приговора и освобождения Сорокина в 1918 году.

Для всего мира П. А. Сорокин был и остается доктором социологии. Его вклад в науку стоит трудов сотен профессоров вместе взятых. Однако на самом деле он *никогда не имел степени доктора:* защита 1922 года была защитой *магистерской* диссертации. Тем не менее авторитет его в заграничных научных кругах был столь высок, что, когда через полгода после защиты Сорокин оказывается в эмиграции, ни у кого и в мыслях не было, что формально ему еще только предстояло защищать докторскую диссертацию. По-видимому, он быстро свыкся со своим новым статусом и занимался наукой, не обращая внимания на пустые формальности. Однако, разворошив своими воспоминаниями навозную кучу истории, он вдруг обнаружил «фактик», как-то не согласующийся с имиджем «социолога № 1», который и решил исправить маленькой хирургической операцией над ключевой цитатой из опубликованного в 1922 году отчета о защите. Впрочем, подробности — в комментариях.

Второй эпизод, связанный с борьбой Сорокина против большевиков и его «покаянным» письмом, а также статьей В. И. Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина», также оставляет впечатление некоторой недоговоренности. Имеющиеся в нашем распоряжении документы заставляют сомневаться как в искренности самого Сорокина, так и в подлинности официальной версии этих событий. Разгадка тайны сорокинских «признаний» помогла бы нам понять мотивы многих поступков «неистового Питирима».

После высылки Сорокина за границу его труды оказались под запретом, а имя упорно замалчивалось. Даже социологи, пользуясь научными понятиями, впервые введенными в обиход Питиримом Александровичем (например социальная мобильность или стратификация), не имели возможности упомянуть о нем. Если же пресса изредка напоминала нам о его существовании, то типичными в отношении ученого были, например, такие выражения: маститый теоретик-социолог, подвизающийся по части клеветы на нашу страну, политический мастодонт и т. п.

В то же время у себя на родине Сорокин все эти годы был предметом тайной гордости земляков — коми. Рассказы о нем в народе ходили самые невероятные, превращая его в нечто среднее между Робин Гудом и «парнем из нашего города». Многие сегодня здравствующие жители Коми края хорошо осведомлены о Сорокине. Большинство получало информацию от своих родителей и старших родственников, знавших молодого Питирима. Однако в процессе работы над биографией мы нашли людей, лично знакомых с ним. Какое счастье, что наши северяне доживают до глубокой старости в полном рассудке. Материалы наших розысков публиковались в Коми АССР и в Москве[1], способствуя по мере возможности «возвращению» Сорокина из ссылки. Теперь наступил черед его автобиографии. Еще одно белое пятно в нашей истории стерто. Питирим Александрович снова с нами...

Социолог А. В. Липский

---

[1] См.: Социологические исследования. 1990 № 2. С. 117—141.

ПРОЛОГ

САМЫЕ РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Зимняя ночь. Комната в крестьянской избе слабо освещена горящими лучинами, наполняющими ее дымом и зыбкими тенями. На мне лежит обязанность менять сгоревшие лучины в железном подобии канделябра, свисающем с потолка.

Снаружи завывает снежная буря. На полу комнаты лежит моя мать. Лежит без движения и, что мне странно, молча. Подле нее мой старший брат и женщина-крестьянка чем-то заняты. Отца в доме нет, он ищет работу по селам. Я не совсем ясно представляю себе, что произошло, но чувствую — случилось нечто катастрофическое и непоправимое. Мне уже не так голодно и холодно, как было совсем недавно, но теперь я внезапно ощутил себя подавленным, одиноким и потерянным. Завывание метели, мечущиеся тени, слова «смерть», «умерла», произнесенные братом, причитания крестьянки о «бедных сиротках» — все это увеличивает мое горе. Я бы хотел, чтобы отец был здесь, но его нет, и мы не знаем, когда он вернется.

Далее я припоминаю отпевание в сельской церкви. Моя мать лежит в гробу, отец, брат и селяне молча стоят со свечами в руках, а священник, дьякон и псаломщик нараспев читают заупокойные молитвы и исполняют последние обряды. Я не понимаю слов, но фраза «...яко земля еси и в землю отъидеши»[1] вкупе с жестом священника, как бы бросающего горсть земли в гроб, отпечатались в моей памяти.

По окончании отпевания домовину ставят на сани, чтобы везти на кладбище. Я и брат сидим на гробу. Отец, священник и жители села идут за санями. Снег ярко блестит под холодным, голубым и солнечным небом. Через какое-то время — не помню по какой причине — мы спрыгиваем с саней и бредем домой, где сразу же залезаем на полати и лежим молчаливо и подавленно...

* * *

Это мои самые ранние воспоминания. Тогда мне было около трех лет[2]. Я решительно не помню ничего, что происходило до этого печального события.

ЧАСТЬ I

Глава первая.

МОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННЕЕ ДЕТСТВО

Со смерти матери начинаются мои осознанные воспоминания. Сама эта картина все еще жива в моей памяти и обособлена от всех последующих событий. Я не помню, что происходило непосредственно после этого трагического пролога к драме моей жизни, но дальнейшие годы запечатлелись достаточно четко.

Все началось на севере Руси в Яренском уезде Вологодской губернии[1] среди народа коми или зырян[2] — одной из ветвей угро-финской языковой семьи. Там, в селе Турья[3], я родился 21 января 1889 года[4]. Там же, в селе Коквицы, умерла моя мать, вероятно, в 1892 или 1893 году[5]. И наконец там, в этом обширном краю, я прожил первые 10 лет своей жизни[6].

Эта местность в основном состояла из первозданных лесов, тянущихся на сотни верст во всех направлениях. В то время они еще не были испоганены «цивилизацией». Подобно маленьким островкам в море, затерялись в этих лесных массивах села и деревушки коми народа. Две великие реки — Вычегда и Печора — со своими притоками несли через лесную страну прозрачные, как хрусталь, воды. Их бурное течение омывало красивые песчаные пляжи, крутые холмы, благоухающие пойменные луга, деревья и кусты, растущие вдоль берегов. Привольно разливающиеся реки играючи бежали среди деревьев по затейливым руслам, а в глухих уголках этого зеленого царства лежали безмолвные озера, бочажки и болота.

В лесах росли разнообразные кустарники и деревья, но больше всего сосны и ели. Особенно чудесны были высокие, стройные сосны. На земле, покрытой красивым белым мхом — ягелем, тысячи этих сосен стояли, подпирая небо, то тихие и загадочные, словно забывшиеся в молитве, то шумящие и раскачивающиеся, как бы сражающиеся с яростной вражьей силой. Многие и многие часы я провел в этих соборах живой природы, очарованный их величием, таинственностью и Богом данной красотой. Они разжигали воображение, заражали своим меняющимся настроением, посвящали меня в их тайны.

Лес изобиловал множеством животных: от прозаических белок, зайцев и лис до грациозных оленей и задумчивых медведей. Самые разнообразные птицы наполняли лес чарующим пением. Реки, протоки и старицы были полны всякой рыбы, включая стерлядь (лучшая разновидность осетровых) и семгу. В то же время в этом обширном краю не водились никакие змеи. (Видимо, этим следует объяснить мою устойчивую неприязнь к ядовитым и неядовитым гадам, когда позднее мне довелось жить в местах, отмеченных их присутствием.)

Лес оказывался неистощимо щедр на постоянные перемены обличья и настроения. В безветренные дни все вокруг было безмятежным, загадочным, погруженным в неподвижную тишину. А в штормовую погоду все шумело и пребывало в неистовом движении. Лес был бесконечным, разноцветным, пахучим океаном летом и безжизненной, сверкающей белизной в зимние солнечные дни. Приветливый и спокойный днем, его „лик" становился мрачным и пугающим ночами.

Я рад, что прожил детство в этой девственной стране. Даже сейчас, если бы мог выбирать, я не променял бы ее и на самую цивилизованную среду обитания в самом лучшем жилом районе самого прекрасного города в мире. Я счастлив, что имел возможность жить и расти в этой природной стихии до того, как ее разрушили индустриализация и урбанизация.

Коми народ составлял социальную и культурную среду, в которой я вращался. В то время эта народность насчитывала около 180 тысяч человек. Физически это были рослые, сильные и здоровые люди; их расовый тип представлял смешение альпийских, нордических и отчасти азиатских черт; с лингвистической точки зрения они имели собственный язык, относящийся к угро-финской семье, и почти весь коми народ говорил по-русски, владея вторым языком. По грамотности они занимали третье место среди многочисленных народностей России (после обрусевших немцев и евреев). Существовали они в основном за счет сельского хозяйства, а дополнительно промышляли охотой, заготовкой строевого леса и рыболовством. Их жизненный уровень был выше, чем у остальных народов, населяющих Россию. Индустриализация и урбанизация тогда еще не вторглись в их образ жизни так, как сегодня. Во всем регионе Коми вряд ли нашлась хотя бы одна фабрика или завод. Только Усть-Сысольск[7], городок с населением что-то около двух тысяч жителей, выполнял функции административного, торгового и культурного центра.

Села и деревни коми располагались большей частью по берегам рек. В летний период эти реки использовались как каналы для передвижения людей и грузов от поселения к поселению. Кроме водных путей существовали, конечно, в небольшом количестве и разбитые грязные дороги, и тропы, связывающие села между собой. Дома коми ставились рядком с двух сторон вдоль дороги, вытягиваясь в крупных селах на несколько верст. Поля, луга,

пастбища вплотную подходили к домам, а сразу за ними начинались обширные леса, окружавшие каждое селение.

Большие крестьянские избы строились из очень тяжелых бревен. В избе обычно было две просторные комнаты (одна для лета, другая, с печью, — зимняя), подпол, две кладовые, амбар для зерна, сеновал и хлев для скота. Отдельно от дома ставились баня и ледник для хранения мяса, рыбы, молока, консервации и других заготовок. Дома сельской интеллигенции и должностных лиц — священника, учителя, лекаря, лавочника, сельских полицейских (урядника или пристава), главы сельской общины (старосты) и чиновников были более „комфортабельны" и «современны».

Церковь в каждой деревне возвышалась над всеми другими строениями. Ее колокольня с голубыми куполами парила высоко над селом, и белокаменное здание под зеленой крышей было видно с расстояния в несколько верст. Подле церкви располагались общественные постройки: школа, здание сельских сходов, библиотека.

Коми были православными[8], но вместе с христианской религией все еще сохраняли многие верования, легенды и ритуалы дохристианских, языческих культов.

Каждая из этих религий ассимилировала определенные верования и обряды другой, результатом чего стало своеобразное «языческое христианство» или «христианизированное язычество». Однако никакого противостояния или вражды между элементами двух религиозных культов не наблюдалось, как не наблюдалось их и между представителями нескольких сект и направлений в рамках этого «языческого христианства»: все они были привержены евангелической простоте, миру и непротивлению злу насилием. Основой такого «мирного сосуществования» являлось общее убеждение в том, что весь мир — это живое единство и что «истина едина, люди только называют ее разными именами». На протяжении всей жизни среди коми народа я не припомню хотя бы одного случая религиозной нетерпимости или гонений за веру.

Общинные мораль и нравы коми основывались на обычаях золотого века[9], десяти заповедях[10] и взаимопомощи. Эти нравственные принципы рассматривались как данные свыше, безусловно обязательные и императивные. В качестве таковых они составляли основу человеческих взаимоотношений не на словах, а на деле. То же самое можно сказать и о законе крестьянской общины. Нормы общинного права были зафиксированы не столько на бумаге, сколько в сердцах и образе жизни моих земляков. Они соблюдали эти нормы как глубоко внутренние «категорические императивы», а вовсе не из страха наказания. Избы крестьян не имели замков, поскольку не существовало воров. Серьезные преступления, если и случались, то очень редко, и даже мелких правонарушений было немного. Взаимопомощь являлась обычным делом, организующим всю жизнь крестьянской общины.

В политическом и социальном отношении народ коми никогда

не знал рабства или крепостного права[11]. Зыряне всегда были свободными людьми и решали свои дела самостоятельно при помощи непосредственного самоуправления, аналогичного немецкому понятию «Гемайншафт»[12] или русским «мир» или «община». Земля была в совместном владении всех членов этих сельских общин. Ее по справедливости делили между отдельными семьями по количеству членов и со временем перераспределяли по мере их увеличения или сокращения. Традиционалистский дух взаимопомощи в мои годы был еще достаточно силен и проявлялся в самых разных формах деятельности внутри сельской общины. Это препятствовало развитию слишком заметного неравенства и резкому экономическому, политическому и социальному расслоению жителей села. Здесь не существовало ни слишком богатых привилегированных «верхов», ни особенно бедных или бесправных «низов». Даже между двумя полами в основном соблюдалось равноправие. Здесь не было «классовой борьбы» и сформировавшихся политических партий, отстаивающих свои законные интересы. Функции окружных выборных властей — земств — заключались в основном в строительстве школ, создании лечебных и культурных заведений. Контроль со стороны царского правительства также был ограничен.

Воспитываясь в такой социальной среде, я естественным образом впитывал бытующие в ней верования, моральные нормы и нравственные принципы: дух независимости, справедливости, уверенности в себе и взаимопомощи.

Что касается эстетической атмосферы, то мир прекрасного у коми народа состоял, в первую очередь, из красивой природы: широких рек и озер, еще не загрязненных промышленными и городскими отходами, бескрайних лесов, цветущих лугов и полей, окружающих летом каждое село; огромных пространств, покрытых чистым снегом зимой; и всегда голубого, безоблачного неба, сверкающего по ночам алмазными россыпями звезд.

Царство диких животных соответствовало другой стороне эстетического мира зырян. Рыбная ловля в чистых водах рек и озер, охота и наблюдение за повадками зверей и вечно меняющейся природой, жизнь и работа среди всего этого великолепия служили неизменным источником эмоциональной разгрузки и эстетического наслаждения для коми крестьян.

Мир чудесной природы дополнялся созданным человеком миром сказок, легенд, мифов, народных песен, танцев, карнавалов, сельских фестивалей и красочных обрядов, сопровождавших рождение, свадьбу, похороны и другие события человеческой жизни. Хотя коми в то время имели лишь зачатки письменной литературы[13], их фольклор, сказки, легенды и предания, был богат и захватывающе интересен. Тоже можно сказать и об их народных песнях и музыке, тогда еще неиспорченных позднейшим вторжением вульгарной городской псевдомузыки и псевдопесен-частушек. Старинные народные напевы и сказания угро-финских народов

еще жили в этом регионе и прилегающих к нему местностях, где их собирали выдающиеся русские ученые и композиторы: Римский-Корсаков, Мусоргский, Чайковский, Кастальский и другие. Этим объясняется тот факт, что, когда позднее я услышал музыку этих композиторов, а также Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта и Бетховена, некоторые мотивы показались мне знакомыми. Я уже слышал их от коми крестьян, которые напевали эти мелодии во время совместных полевых работ, рыбной ловли или на сельских празднествах и посиделках зимними вечерами.

Русская православная религия с ее впечатляющими ритуалами, церковной музыкой, красочными шествиями, мудрыми таинствами, была важной составной частью эстетической жизни крестьян. Сельская церковь служила им и театром, и концертным залом. В ней они активно участвовали в постановке бессмертной литургической трагедии божественного сотворения мира, в драме торжественного отпевания покойника, в радостных церемониях крещения или венчания, в таинствах исповеди, причастия, отпущения грехов, в праздничных шествиях, вроде пасхального Крестного хода. В церкви они наслаждались волнующей музыкой, слушали возвышенные стихи, читаемые нараспев молящимися, и участвовали в других культовых действиях. Так или иначе, церковь и религия играли важную роль в жизни крестьян, не меньшую, чем любой самый лучший театр в жизни горожан.

Итак, коми народ обладал замечательной эстетической культурой, которая обогащала и облагораживала души этих людей. Она скрашивала и мое существование и, будучи впитана в детстве, сформировала мой эстетический вкус на всю жизнь.

Такой вкратце была социальная и культурная среда, в которой я провел первые годы жизни.

О моей матери я не помню ничего, кроме того, что связано с ее смертью. Позднее от отца, родственников и соседей я узнал, что мама была прекрасной, доброй женщиной, дочерью коми крестьянина[14]. Ее красота и добрый характер, по-видимому, объясняют, почему отец женился на ней и почему после ее кончины он не искал другую жену, а оставался верным ей до конца. Это, вероятно, объясняет и то, почему отец после смерти мамы начал заливать свое горе водкой, постепенно превращаясь в хронического пьяницу. «Ее смерть подкосила меня как тростинку», — жаловался он в подпитии.

Любовь, которая переживает смерть любимого человека и сохраняется до ухода из жизни второго супруга, — сейчас редкость. Во многих современных мудрствованиях это рассматривается как нечто примитивное, устаревшее и бессмысленное. И все же любовь до гроба была и остается самым замечательным, святым и красивым идеалом человеческой жизни — идеалом бессмертным и возвышенным. Мы со старшим братом инстинктивно чувствовали, что эта верная любовь оправдывает алкоголизм отца и каким-то образом наполняет нашу жизнь ощущением прекрас-

ного. (Возможно, именно здесь причина и источник моего неприятия любых форм *неоправданной* неверности в супружеских и других межличностных отношениях).

Мой отец, русский человек, родился и выучился ремеслу в Великом Устюге. Этот древний город играл важную культурную, религиозную и политическую роль в истории северо-восточной Руси.

Помимо всего прочего это был центр многих искусств и ремесел. Мой отец учился в одном из ремесленных цехов. Его диплом и нагрудный знак — голубой с золотыми буквами — торжественно удостоверяли, что «Александр Прокопьевич Сорокин — золотых, серебряных и чеканных дел мастер».

Я не знаю, как и почему он уехал из Великого Устюга и поселился в Коми регионе. Вероятно, малочисленность ремесленников с таким дипломом — и поэтому меньшая конкуренция здесь — обусловили его переезд[15]. А может быть, его привлекли природа края и характер коми народа. Так или иначе, он уже никогда не вернулся в Великий Устюг.

О жизни отца до смерти мамы я знаю мало. От своих теток, священников и крестьян я слышал, что он был настоящим мастером своего дела, надежным и честным, удачливым в работе, уважаемым за хороший характер и ум, счастливым в семейной жизни. Тогда у него не было никаких признаков пристрастия к алкоголю. После кончины матери я жил с отцом до 11 лет[16]. На протяжении этих семи лет *сознательной, запомнившейся* жизни у меня сложилось два противоположных образа отца: трезвого родителя и горького пьяницы. Будучи трезвым, он был замечательным человеком, отзывчивым и заботливым, дружелюбным со всеми соседями, работящим и честным в труде, терпеливо обучавшим нас ремеслу, нормам морали и грамоте. Его обычным приветствием вместо «здравствуйте» было: «Христос воскрес». «Я сделаю все, что в моих силах, остальное — воля Твоя, Господи, — эти слова были его максимой в отношении к работе и любой созидательной деятельности вообще. — Сам Господь Бог не может потребовать большего». Когда его спрашивали о количестве сыновей, он обычно говорил: «Один сын — еще не сын, два сына — полсына, а три сына — это сын!» Что касается его религиозности, то отец принимал на веру основные догматы и мифы русского православия, однако в церковь ходил нерегулярно.

«Зачем мне? Я и так в храме Господнем почти все рабочее время. Честным трудом я воздаю хвалу Господу и общаюсь с Ним. Добрыми делами я исполняю Его волю. Присутствие батюшки или диакона не добавит моим молитвам и делам святости или чистоты помыслов». По той же причине он не настаивал на том, чтобы мы регулярно ходили в церковь к службе, если нам этого не хотелось. С другой стороны, если мы совершали какой-нибудь проступок, нарушавший традиционную мораль, он строго выговаривал нам, настойчиво убеждая в недальновидности и вреде дурного поведения.

Отец очень гордился своим ремеслом и чувствовал разочарование, если его работа была не на ожидаемом им уровне. «Мартышкин труд, — насмешливо говорил он в таких случаях. — Любая важная работа оказывается мартышкиным трудом». Когда я или брат выполняли задания хорошо, отец радовался вместе с нами сделанной работе, когда же мы работали плохо, он попрекал нас нерадивостью. Этот образ трезвого отца до сих пор сохраняется в моей памяти как теплое и доброе воспоминание.

К сожалению, периоды трезвости, длившиеся неделями и даже месяцами, сменялись полосами запоя. Иногда его пьянство оканчивалось белой горячкой. Я хорошо помню один типичный случай. Мы оба с отцом лежали больными: меня лихорадило от чего-то (от чего — точно не знаю, так как медицинская помощь была нам малодоступна)[17], а отец, впав в белую горячку, лежал в беспамятстве. Внезапно он сел на своем сеннике, показал на большую кирпичную печь и начал кричать о появляющихся оттуда страшных чертях, которые пляшут вокруг него и корчат рожи. «Христос воскресе, Христос воскресе», — бормотал он одно и то же. Его бессвязные слова сопровождались резкими конвульсиями. Я не помню, ни как долго длился этот припадок, ни как он закончился, поскольку сам впал в забытье из-за лихорадки.

В периоды запоя отец становился подавленным, раздражительным, слезливым, жалея свою «загубленную как тростинку» жизнь. Редко, но случалось, что он становился агрессивным в приступе раздражительности. Во время одной из таких вспышек, отец, обозлившись на нас по какой-то причине, схватил подвернувшийся под руку деревянный молоток (киянку) и ударил брата по руке, а меня по лицу. К счастью удары были несильными. Тем не менее брат несколько дней едва мог шевелить рукой, а моя верхняя губа деформировалась, и след от удара не исчезал много лет. Эта вспышка агрессии случилась, когда мне было десять, а брату Василию — четырнадцать лет. Глубоко обиженные таким из ряда вон выходящим насилием, мы бросили отца на следующий день и начали самостоятельную жизнь бродячих ремесленников. Мы переходили из села в село в одном районе, а отец в это время странствовал в другом[18]. Мы никогда уже не встречались. Примерно через год он умер в селе, довольно далеко от нас[19]. По причине плохих средств сообщения в ту пору, мы узнали о его кончине лишь несколько недель спустя. Упокой, Господи, его душу в царстве небесном! Он умер страшно одиноким — так же, как и жил после смерти матери, совсем один. Несмотря на пьянство, образ доброго, трезвого отца полностью преобладал — и когда мы жили с ним вместе, и поныне этот образ сохраняется в моей памяти. Даже в пьянстве отец не имел ничего общего с фрейдовским типом «отца-тирана»[20], бесчувственного и жестокого к детям. Исключая периоды запоя, которые, к счастью, были короче периодов трезвости, наша семья — отец, старший брат и я (младший брат Прокопий жил с моей теткой и ее мужем) — была хорошим,

гармоничным коллективом, связанным воедино теплой взаимной любовью, общими радостями и печалями и богоугодным творческим трудом.

В целом я запомнил эти годы как счастливые и интересные, несмотря на недоедание и другие физические трудности, которые временами обрушивались на нас в периоды отцовских запоев. В конце концов, не хлебом единым жив человек, и жизнь бесконечно богаче, чем простое чередование физических удобств и неудобств.

Брат Василий был старше меня примерно на четыре года[21]. Когда мы жили с ним вдвоем, он проявил себя энергичным, изобретательным и инициативным человеком. В писании икон, изготовлении металлических окладов, а также в «отвлеченной учености» я вскоре превзошел его. Но он, несомненно, оставался лидером во всех остальных видах деятельности, особенно в том, что касалось поисков и выполнения заказов, домашних обязанностей и добывания средств к существованию во время отцовских запоев. После того как мы ушли от отца, в течение двух лет самостоятельных трудов он был чрезвычайно удачлив как руководитель всех наших предприятий. Хотя ему еще не исполнилось и пятнадцати, брат каким-то образом ухитрялся получать разрешение на малярные и декорационные работы в церквях, в том числе даже в кафедральном соборе города Яренска, на золочение и серебрение икон, осветление канделябров и другой церковной утвари, на изготовление медных, серебряных и золоченых окладов для икон, так называемых риз. Я уже не говорю о том, что он находил заказы в школьных зданиях или домах сельской интеллигенции и крестьян. Он, должно быть, обладал особым даром убеждать начальников, которые в результате доверяли такую работу подростку. И он справлялся с этой работой не хуже отца. Без его руководства я бы не решился оставить отца и, конечно, вряд ли смог зарабатывать на жизнь как странствующий ремесленник. При деловой сноровке Василия мы с ним составляли неплохую команду, дополняя и поддерживая друг друга и делая каждый свою работу в соответствии со способностями.

После примерно двух лет совместной жизни и труда наши дороги разошлись, поскольку я поступил сначала в обычную школу, а после окончания — в преподавательское училище. Какое-то время Василий в одиночку продолжал наши труды в Коми. К несчастью, наше расставание сделало его одиноким. Постоянные скитания из села в село не дали ему возможности ни установить тесные дружеские связи с соседями, ни обзавестись семьей и начать оседлый образ жизни. Из-за этого он начал искать утешение в водке и стал вести сумасбродную жизнь сельского «битника», после чего его заработки упали, а работы стало совсем мало. Наконец, когда такая жизнь вконец опостылела ему, Василий решил уехать из Коми края и перебраться в Санкт-Петербург. В столице он прожил несколько лет, зарабатывая на жизнь, как

фабричный рабочий, ремесленник, торговец и служащий. После моего переезда в Санкт-Петербург мы частенько встречались и делили друг с другом скудные доходы. Так продолжалось около года или несколько дольше. Наши встречи внезапно прекратились после его ареста и высылки в Сибирь за революционную деятельность. Как я сам и многие другие, Василий «заразился» революционными идеями и настроениями в Санкт-Петербурге в 1905—1907 годах. Его подрывная деятельность вскоре была раскрыта царской охранкой (тайной полицией). В конце концов брат был арестован и «в административном порядке», т. е. без суда и следствия, сослан в Сибирь на долгие годы. Как все политические ссыльные, в начале революции 1917 года он был освобожден правительством Керенского[22].

После образования правительства коммунистов Василий участвовал в антибольшевистской деятельности. Осенью 1918 года на архангельско-устюжском фронте во время гражданской войны он был схвачен и расстрелян коммунистическими палачами. Так закончилась его полная приключений, богатая событиями, но не слишком счастливая жизнь. *Вечное блаженство ему в Царствии Небесном.*

Мой младший брат Прокопий жил не с нами. После смерти мамы ее старшая сестра Анисья с мужем Василием Ивановичем Римских забрали брата к себе. Они жили в маленькой деревушке Римья, на берегу реки Вычегды[23].

Не имея собственных детей, они вырастили Прокопия и вообще относились к нам троим как к родным сыновьям. В трудные времена, особенно в периоды отцовских запоев, мы с Василием довольно часто искали у них убежища и неизменно находили кров, пищу и сердечную заботу в этом крестьянском доме[24]. Мы часто жили у них неделями, и они от всей души делили с нами то немногое, что имели. Со своей стороны мы помогали в повседневных трудах и относились к ним так же, как дети крестьян Римьи к своим родителям. В бродяжьей жизни, которую мы вели с отцом, эта деревушка Римья стала нашей «малой родиной»; изба Анисьи и ее мужа была нашим настоящим домом, а тетя и дядя — семьей. В Римье мы жили чаще и дольше, чем в любом другом селе Коми края. В Римье мы были не «пришлыми чужаками», как в других селах, а постоянными членами общины; мы были «парнями из Римьи»: наша жизнь не отличалась от жизни деревенских детей, и относились к нам соответственно[25]. Именно поэтому Римья занимает столь значительное место в моей жизни и памяти. Несмотря на неграмотность, и тетя Анисья, и дядя Василий были дружелюбными, умными, честными и работящими людьми, в ладу с миром, соседями и самими собой. Выражаясь современным языком, их можно было бы определить как целостные личности, незнакомые с завистью, злопамятностью, депрессиями и другими психоневрозами. Дядя был рыжеволосый, широкоплечий, крепко сбитый мужчина. По окончании сельскохозяйственных работ

большую часть осени и зимы он проводил вне дома в дремучих лесах, бил зверя, ставил силки, ловил рыбу, чтобы подработать. Благодаря жизни на природе он был здоров как «леший». Как свои пять пальцев он знал огромные лесные массивы, повадки, особенности поведения и следы животных, богатые рыбой протоки и заводи, всю тайную жизнь лесного царства. Дядя считал себя частью этого огромного царства, населенного не только обычными, но и фантастическими существами, вроде хозяина лесов — лешего и множества разных небесных, болотных, озерных, ночных и т. д. духов. Для него эти существа были почти так же реальны, как и обычная лесная живность. Он рассказывал нам массу историй о своих встречах и опыте общения с этими духами. Будучи прирожденным поэтом в душе, он любил таинственное лесное царство и восхищался его загадочной красотой.

В Римье и окружающих деревнях его звали «туном», колдуном. Такой репутацией он, вероятно, был обязан своей сверхъестественной способности вправлять все виды вывихов и смещений суставов. Не зная ничего об анатомии человека, дядя, каким-то образом манипулируя вывихнутыми костями, неизменно удачно вправлял их обратно. Он никогда не брал плату с многочисленных пациентов и никогда не хвалился своим богоданным талантом. Как настоящему художнику, ему нравилось костоправство само по себе.

Дядя не любил много говорить, а если и говорил, то кратко и по существу. Однажды я сцепился с братом Василием. Сидя на крыльце, дядя безучастно наблюдал за нашей дракой. Тетя Анисья заволновалась и попыталась разнять нас. Дядя же на все это лишь кратко заметил ей: «Женщина, никогда не вмешивайся в драку двух сумасшедших». Его внешняя суровость скрывала, однако, мягкое сердце и чувствительную натуру. Когда я однажды болел воспалением легких, он и Анисья без отдыха ухаживали за мной дни и ночи подряд.

Я провел много времени с дядей, охотясь и обходя поставленные силки на звериных тропах, сопровождая его в походах за стерлядью и семгой, помогая в обработке земли и сборе урожая. Он не только учил меня технике сельскохозяйственного и промыслового труда, но и знакомил с лесными секретами: от хитроумных способов ловли осетра до владений различных „духов" — лесовиков, водяных, озерных и даже домовых.

Я до сих пор отчетливо помню последние дни его жизни. Вместе с другими крестьянами Римьи во время весеннего половодья он подрабатывал, перегоняя большие плоты из толстых бревен вниз по Вычегде и Двине в Архангельск. Каждая бригада плотогонов сплавляла свой плот по течению, стараясь не допустить, чтобы его разметало ветром, или не посадить на мель. Обычно это занимало три — четыре недели. В ту весну он подхватил где-то в пути дизентерию и через несколько дней после возвращения ему стало совсем худо. Наконец один из «духов» сообщил ему о приближе-

нии смерти. В один из солнечных дней он слез с постели и с трудом добрался до крыльца. Там дядя постоял молча несколько мгновений и тихо произнес: «Хочу последний раз глянуть на чистое небо, серебряную реку, деревья и луга. И сказать последнее «прощай» этому миру и всем вам. Прощайте!»

На следующее утро он умер. Несмотря на неграмотность, этот «тун» и «лесовик» был прирожденным философом, поэтом и по-настоящему хорошим человеком. *Вечная ему память!*

Подвижная и энергичная в работе по дому и в сельском труде тетя Анисья не только без устали заботилась о нас, но и активно участвовала в жизни сельской общины. Она одевала и кормила нас и всегда находила время порадоваться и погрустить вместе с нами, поругать за проступки и похвалить за успехи. Она была нам по-настоящему нежной, любящей и преданной матерью. Без ее любви и заботы мир вероятно оказался более холодным и враждебным, а наши характеры без сомнения были бы более грубы и агрессивны.

Многие годы после смерти дяди Василия с помощью одного Прокопия она должна была выносить все тяготы крестьянского труда в поле и дома. И она мужественно несла свой крест до самой смерти около 89 или 90 лет[26]. Я продолжал посещать ее и гостить у Анисьи многие годы после смерти ее мужа. Ее скромная бревенчатая изба оставалась моим домом даже тогда, когда я учился в учительской школе, в Психоневрологическом институте и Петербургском университете. Во время летних каникул я обычно проводил месяц или дольше с тетей Анисьей. Во время такого отдыха я на самом деле помогал ей в сельскохозяйственных и других работах. К счастью для меня, в годы учебы и позже я мог оказывать ей скромную финансовую помощь[27], возвращая таким образом ей мизерную часть той неограниченной любви, которую она дала мне и моим братьям. Потеряв настоящую мать в раннем детстве, мы обрели чудесную мать в дорогой нашей тете Анисье.

Поэтому я и не могу сказать, что в детстве не испытал теплоту материнской любви.

Как я уже упоминал, после смерти мамы годовалого Прокопия взяли к себе дядя и тетя. Они воспитывали его как крестьянского ребенка. Каким-то образом Прокопий выучился чтению, письму и счету. Во время наших частых побывок в Римье мы все втроем хорошо узнали друг друга и стали настоящими братьями. По внешности и характеру Прокопий был более крестьянином и менее „образованным", чем его бродяжничавшие братья. От нас, однако, он многое узнал о людях, нравах, о жизни большого мира вне Римьи и ее окрестностей. Честный, дружелюбный и надежный, он жил жизнью крестьянского подростка под опекой дяди и тети. Такой жизнью он жил и после смерти дяди Василия до того момента, как его забрали в армию и послали служить в большой русский город. Там он соприкоснулся с «цивилизованным» миром и, кроме всего прочего, обучился на счетовода, конторщика и

продавца. После окончания воинской службы и с полного одобрения Анисьи он поступил на место продавца-счетовода в одну из торговых фирм Великого Устюга. Там он жил с другой теткой, Анной, сестрой нашего отца, и ее мужем Михаилом Дранковским[28]. Они даже официально усыновили его. Здесь он со временем женился и имел двоих детей. Его жизнь текла в установленном раз и навсегда порядке и довольствии, обычная для счетовода в магазине до тех пор, пока не свершилась коммунистическая революция. Когда в Великом Устюге был установлен коммунистический режим, его арестовали — частью из-за какой-то подрывной деятельности, а в основном из-за меня, за то, что был братом «врага коммунистов № 1», каковым тогда меня объявили местные коммунистические власти. Здоровье Прокопия, не очень крепкое в то время, было быстро подорвано поистине нечеловеческими условиями содержания заключенных в Великоустюжской коммунистической тюрьме (в которой довелось сидеть и мне и где меня даже приговорили к смертной казни). Несколько месяцев спустя после ареста он умер в тюрьме.

Так оба моих брата сгинули в русской революции. Я не знаю, где они похоронены, так же как не знаю и где безымянные могилы моих родителей. Мою печаль от этой потери усиливает и то, что в Дни поминовения усопших я желал, но не мог прийти на их могилы с молитвой и благодарностью за те годы, что мы прожили вместе насыщенной и радостной жизнью. Единственным моим утешением является то, что они живут в моей памяти, и я вспоминаю их не только в Дни поминовения, но очень часто сейчас в конце моей жизненной дороги. *Вечная память их бессмертным душам!*

Такой вкратце была природная, социальная и семейная среда моего детства.

Глава вторая.

НАЧАЛО ЖИЗНЕННЫХ СТРАНСТВИЙ

РАЗЪЕЗДЫ: ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ

Мы вели кочевую жизнь с отцом. Как только заканчивали работу в одном селе, надо было двигаться в другое. Если отец заранее договаривался о заказе, мы переезжали и брались за работу, если нет, мы отправлялись ее искать. Иногда находили, иногда нет. В последнем случае, с камнем на душе, мы вынуждены были ходить из села в село, пока не подворачивалась какая-либо работа. Большинство переездов мы совершали, нанимая крестьян с телегами. Наши скудные пожитки и рабочие инструменты грузились на одну из них, а мы сами садились на другую. Иногда, когда мы ехали в деревню для выполнения небольшого заказа или когда отец не имел денег нанять лошадь, мы шли пешком, неся с собой минимум инструментов и одежды.

В годы странствий мы работали во многих селах и деревнях. Мы исходили вдоль и поперек весь Коми край. Несмотря на определенные преимущества, эта кочевая жизнь имела свои физические и психологические трудности. Часто, если расстояние между селами было значительным, нам приходилось ночевать на дороге без пищи и крова; поскольку в селах не было мест общественного питания, мы часто даже не могли купить еды у крестьян. Зимой мы часто замерзали в одежде не по сезону.

Но, возможно, даже более трудным было психологически привыкнуть к этим отъездам и приездам. Чаще всего нам приходилось уезжать, когда, пробыв в селе несколько недель, мы только-только установили хорошие дружеские отношения с детьми и взрослыми, только-только почувствовали себя дома в этом селе и превратились из чужаков в членов общины. Каждый отъезд означал резкий разрыв эмоциональных связей с вновь приобретенными друзьями. Он означал возврат к кочевому существованию бродяг, не имеющих ни дома, ни корней. Эти переживания из-за отъезда усиливались опасениями относительно приезда в новое село, т. е. чувством незащищенности и уязвимости. Как к нам отнесутся? Дружелюбно или враждебно? Найдем ли мы там работу? Будет ли у нас пища и кров? Такого рода волнения вкупе с чувством психосоциальной изолированности от общины были на самом деле очень тяжелыми. Позднее, уже как социолог, я узнал, что такое состояние приводит к так называемым «аномическим»[1] самоубийствам и другим умственным расстройствам. Я хорошо помню, в какие депрессии повергали нас эти постоянные разъезды и как горько я плакал, оставаясь один, переживая внезапные расставания с друзьями и возвращения к жизни перекати-поля.

Наряду с отрицательными психологическими моментами в нашей бродячей жизни на самом деле были и счастливые минуты. Путешествуя, мы наслаждались изменчивой красотой пейзажей, наблюдали жизнь животных, вдыхали ароматы леса и лугов, купались и ловили рыбу в чистых протоках, а по вечерам собирались у костра и под звездным небом чувствовали, что нет ничего лучше, чем захватывающая жизнь на природе. В этом постоянном передвижении не было места скуке и ежедневной монотонной рутине.

Наша жизнь представляла собой нескончаемый поток встреч и взаимодействия с новыми людьми, новыми ситуациями, новыми обычаями. В этом смысле она была лучшей школой для умственного и нравственного развития; ее уроки непосредственного опыта были более эффективны и несли больше знаний, чем всё, чему учат в обычных формальных школах. Благодаря этому непосредственному жизненному опыту я приобрел больше основ знания о психосоциальном мире, чем из всех книг и лекций. Опыт этот дисциплинировал мой характер лучше, чем все обучение, полученное позднее в различных учебных заведениях. Несмотря на трудности, наша кочевая жизнь была полна радости, разнообразна

и волнующа. Как и похождения Гекльберри Финна, она была несравненно богаче, чем жизнь многих городских детей, ограниченная очень узким опытом, приобретаемым за время перехода от детского сада до института. Особенно тех детей, что живут в трущобах наших механизированных городов.

Приехав в новое село, отец первым делом отправлялся к священнику выяснить, имеется ли для него работа в местной церкви. Если нам везло и находились дополнительные заказы, мы оставались в селе на несколько недель и даже месяцев, в зависимости от фронта работ.

Обычно мы квартировали в крестьянских домах, снимая половину избы (одну из двух комнат). Свою скромную пищу мы по большей части готовили сами, но иногда нанимали крестьянку. В более доходные времена у нас было достаточно еды, чтобы удержать душу в теле. В периоды безработицы приходилось голодать. Мне, по всей видимости, случалось страдать от недоедания, о чем свидетельствуют мои рахитичные ноги, оставшиеся слегка деформированными с тех самых пор.

Свою работу мы в основном делали в сельских храмах. Бóльшая часть нашего времени уходила на покраску церквей изнутри и снаружи, осветление, серебрение и золочение культовых предметов, писание икон и изготовление для них риз — металлических, чеканных окладов. Как и в любой работе, здесь были свои прелести, интересные и нудные операции, риск. Я терпеть не мог белить и красить огромные и высокие церковные потолки. Чтобы выполнить такое задание, я должен был часами работать в различных напряженных позах, причем побелка или краска капала на лицо и затекала в глаза и уши. Вдобавок я должен был быть начеку, чтобы не сверзиться с узких досок примитивных лесов или с высокой шаткой лестницы. Позднее, когда мне довелось прочесть, как Микеланджело рисовал свои бессмертные фрески на потолке Сикстинской капеллы, я прекрасно понимал, какие чрезвычайные физические усилия понадобились ему, чтобы закончить свой труд.

Я, однако, любил красить или золотить шпили, купола и крыши церквей летними солнечными днями, когда обычно и делали такую работу. Забравшись на верхушку храмового здания (а большинство церквей в Коми крае имели высоту от 30 до 75 метров), овеваемый ласковым ветерком, я наслаждался бездонным голубым небом надо мной и прекрасным сельским пейзажем с селами, полями, речками, озерами, окруженными со всех сторон бескрайним, красочным лесом! Работать в таких условиях было не утомительно. Такой труд сам служил прекрасным отдыхом.

Из всего разнообразия выполняемых работ мне особенно нравилось рисовать иконы и чеканить ризы. Риза, сделанная из медной или серебряной пластины, рельефно воспроизводила рисунок на иконе, за исключением лица, ладоней и ступней божественных или святых образов. Придумывание и писание икон, а также изго-

товление к ним риз требовали большого мастерства и творческих усилий. Особо сложен был процесс чеканки художественного рельефа на тонкой медной или серебряной пластине по картине, написанной на иконе. Сначала пластина помещалась в специальную деревянную рамку с дном, по которому ровным слоем была намазана теплая и мягкая смесь дегтя и живицы[2], затем на пластину наносился контур фигуры святого и заднего плана иконы. Далее легкими ударами молотка и разных по форме острия зубильцев (чеканов) намечалась негативная форма картинки. После этого пластина вынималась из рамки и переворачивалась. «Негатив» ризы, образованный смолой, прилипшей в местах ударов чеканом, тщательно обрабатывался и превращался в позитивный рельеф. На этом этапе каждая деталь святого образа — поза, положение рук, облачения со всеми сгибами и складками, а также каждая деталь заднего плана должна была быть скульптурно вылеплена до полной завершенности и натуральности. Это достигалось умелым использованием чеканов и деревянного молотка — киянки. Когда рельефное изображение на ризе было закончено, его обезжиривали, серебрили или золотили, затем полировали и, наконец, тщательно прибивали к иконе.

Из этого описания видно, что искусство сделать красивую ризу требовало сложных навыков хорошего дизайнера (декоратора), гравера, чеканщика и скульптора. Творческий характер такого искусства и был причиной моего особого пристрастия к нему и, возможно, быстрого прогресса в освоении сложного ремесла изготовления риз. После нескольких лет работы с отцом и Василием я стал лучшим декоратором, художником и чеканщиком, чем они оба. Когда один выдающийся мастер нашего ремесла увидел образцы моей работы, он предложил мне стать его подмастерьем для дальнейшего развития моего таланта. Я с благодарностью отклонил предложение, но как бы там ни было это ремесло рано сформировало мое чувство линии, цвета и формы и явно воспитало во мне интерес к живописи, скульптуре и архитектуре, проявлявшийся на протяжении всей последующей жизни.

Сейчас у меня есть страстное желание любопытства ради посмотреть на некоторые из моих риз и икон, чтобы оценить их усталыми глазами старика на восьмом десятке лет. Сомневаюсь, однако, что они сохранились во всепожирающем пламени русской революции[3]. До сих пор с момента моей высылки я не имел возможности вернуться в Коми край. Возможно, это и к лучшему, что мое личное любопытство остается неудовлетворенным: исполнение подобного желания было бы данью сентиментальности, а сентименты, как нас уверяют, не имеют никакой ценности в атомный век.

В нашем труде наряду с радостями были и скучная монотонность и риск. Однажды, крася крутую железную крышу церкви, я неосторожно покрыл краской пространство вокруг себя. Шагнув к неокрашенной поверхности, я заскользил к краю крыши, распо-

ложенному метрах в тридцати от земли. Я позвал на помощь и всей силой пальцев стал цепляться за едва выступающие стыки железных листов, настеленных на крыше. Эта отчаянная хватка остановила мое скольжение и дала Василию возможность бросить мне веревку. Я вцепился в нее и был вытащен из свежеокрашенного круга. Если бы Василий и веревка не оказались поблизости или он промедлил бы мгновение, прежде чем бросить веревку, моя жизнь тогда бы, вероятно, и закончилась.

В другой раз мы с Василием и еще два помощника поднимали и крепили тяжелые длинные лестницы на колокольню собора в Яренске[4]. Эта операция в общем-то являлась одной из самых опасных фаз работы, особенно в церкви с узкой крутой крышей у основания колокольни или купола, на который должна была быть водружена и накрепко прикреплена к маковке лестница.

Погруженные в это трудное дело, мы не заметили собирающуюся бурю, пока резкие порывы ветра, гром и молнии не захватили нас врасплох. Жестокий шквал сорвал еще не закрепленные лестницы и загнал нас на узкий уступ, открытый всем ветрам разбушевавшейся стихии. Мы отчаянно цеплялись за крепкую веревку, заранее обвязанную вокруг основания колокольни, и вжимались в камни, насколько было возможно. Это спасло нас, и ветру не удалось сдуть меня и Василия вниз. Когда буря прошла, горожане помогли нам слезть с ненадежного карниза.

Профессиональный риск, однако, полностью компенсировался удовольствием, получаемым от работы, и полезными навыками, которые она воспитывала в нас. И сегодня в возрасте семидесяти четырех лет я все еще легко забираюсь по лестнице на верхушки высоких деревьев в моем саду и без головокружения или дискомфорта подстригаю, формирую кроны, прививаю ветви и собираю урожай фруктов.

Как и работа, вся жизнь в селе была богата событиями и полностью поглощала нас. Уже через несколько дней после приезда в новое село мы знакомились с крестьянами и сельской интеллигенцией — священником, учителем, лекарем, лавочником, старостой, конторщиком и приставом. Мы с Василием быстро становились друзьями местных детей и на равных принимали участие в их занятиях и играх.

Когда я пишу эти строки, образы моих товарищей внезапно всплывают в памяти и медленно проходят перед глазами. Господи! Сколько их, этих мимолетных видений! Тут и Васька-судья, добрый и справедливый арбитр наших игр и ссор. А это — Гришка-дурачок, гигант, одетый в одну лишь холщовую рубаху, самый сильный и в то же время самый тихий мальчик в нашей компании. Несмотря на неразвитый ум и физическую силу, он едва ли когда ссорился с кем-либо и даже избегал убивать надоедливых мух и комаров. Он словно прототип юродивого из последней картины оперы Мусоргского «Борис Годунов». Хотел бы я, чтоб в нашем беспощадном мире было побольше таких Гришек-дурачков! Может

быть, они лучше справились бы с задачей установления прочного мира на земле, чем здравомыслящие (предположительно) лидеры великих держав!

...А вот — Петька-певец. Наделенный хорошим голосом, он любит петь, когда и где только можно. Затем, Ванька-забияка, сварливый и заносчивый сын старосты. Хорошо его помню. Однажды, когда я возвращался из церкви домой после работы, он стал насмешничать и отпускать обидные замечания по моему адресу. Я ответил на нападки толчком и затем, в последовавшей драке, хорошенько отлупил его. Ванька с плачем убежал. На следующий день, когда я шел утром на работу, его мать, «первая леди села», остановила меня и начала угрожать арестом за нападение на дорогого сынка. Именно тогда я впервые внезапно ощутил себя «пролетарием», несправедливо притесняемым привилегированным классом. Я взбунтовался и вместо извинений с возмущением заявил этой даме, что, если ее дорогой сыночек еще раз нападет на меня, я отлуплю его еще сильнее, все равно, арестуют меня или нет. Никакой кары за мое столкновение с Ванькой так и не последовало, но после этого случая он никогда больше не пытался приставать ко мне.

С другими мальчишками и девчонками из семей сельской интеллигенции я ладил довольно хорошо. Поскольку мои умственные запросы и общественные интересы были на одном с ними уровне, а сам я знал и соображал не хуже, а часто лучше их, мне было нетрудно стать их постоянным товарищем и иногда даже лидером этой группы сельских ребятишек.

Что касается девушек, их воспитание и образ жизни в селах Коми края были очень схожи с таковыми у парней. За небольшими исключениями в большинстве видов деятельности и игр сельской детворы разделения по полу не существовало. Поскольку секс в физиологическом смысле в том возрасте не был важен для нас, девочки и мальчики работали и играли вместе без особых проблем полового характера. Одни девочки мне нравились, к другим я оставался равнодушен. Несмотря на различные чувства, испытываемые друг к другу, девочки и мальчики в каждом селе дружили и общались все вместе, ватагой. Среди них, как и вообще среди жителей села, не было ни «одиноких толп»[5], ни «одиноких душ». Летом всей ватагой мы ходили купаться, ловить рыбу, играли в мяч или городки, отправлялись в походы за ягодами в лес, косили сено и собирали урожай, делали набеги на соседские грядки с репой. Зимой бегали на лыжах, катались на коньках и санках, пели, рассказывали друг другу разные истории на крестьянских посиделках вечерами. Ну и независимо от сезона, круглый год, мы присутствовали на церковных службах по случаю праздников, участвовали в религиозных шествиях, танцевали на гуляньях, и, конечно, без нас не обходилась ни одна впечатляющая церемония, сопровождающая такие события, как рождение, смерть или свадьба. Все, чем мы ни занимались, переполняли кипучая

жизненная энергия и возвышенные чувства. В играх было много смеха и беззлобных розыгрышей, религиозные процессии настраивали нас на торжественный лад, а похороны вызывали чувство искреннего сопереживания.

А как драматичны и сложны были эти церемонии! Например, весь свадебный праздник от начала до завершения длился обычно две — три недели. Он начинался приходом «послов» (сватов) от семьи жениха в дом девушки на выданье, чтобы прощупать, готовы ли невеста и ее родня принять предложение о замужестве. Эта миссия выполнялась при традиционном гостеприимстве одной и разных дипломатических ухищрениях другой стороны. Если предложение сыграть свадьбу принималось, то стороны тактично обговаривали вопросы взаимных подарков, выкупа за невесту, приданого, место и дату свадьбы и другие важные условия. Обычно эта миссия требовала как минимум двух — трех церемониальных встреч в доме невесты. Затем во время обряда помолвки людям объявляли о предстоящей свадьбе.

Следующий ритуал состоял в оплакивании невесты, длившемся несколько дней. Накрытая большим платком, сидя на скамье в центре комнаты и руководимая в своем «плаче» специальными женщинами-плакальщицами, она вначале плакала по своим родителям, братьям и сестрам, остальным родственникам, благодаря их за доброту и ласку, горюя о расставании с ними и уходе в «чужую, незнакомую и нелюбимую» семью. Каждый, кому она жаловалась и плакалась, садился о бок с невестой и укрывался ее платком. Во время плача невеста часто и весьма драматически всплескивала руками и хлопала себя по бокам и бедрам. После семьи и родичей она оплакивала каждого из своих друзей, подруг и соседей. Какие-то ее слезы могли, конечно, быть искренними, остальные же — лишь данью обычаю. Однако после нескольких дней слез, причитаний и шлепков у невесты, вошедшей в раж, садился голос, а бока и бедра едва не покрывались синяками, несмотря на заботливо подложенные под платье подушечки, смягчавшие силу ударов. Пока невеста причитала и плакалась, ее веселящиеся родственники, друзья и соседи пели, болтали, танцевали и в больших количествах потребляли водку, пиво, чай, ягодные морсы и разные съестные припасы в открытом для всех доме ее родителей.

Накануне венчания в церкви плач заканчивался, и начинались красочные церемонии купания невесты в бане, обрызгивание зевак в толпе водой, которой омывали невесту, и инсценировка борьбы между ее похитителями и защитниками. Затем следовали и другие театрализованные обряды, в которых активно участвовали все соседи, а наблюдало все село. Не менее сложной была и церемония венчания в церкви. После церковного обряда молодоженов вели в дом жениха. Там во время пира и веселья, продолжавшегося два дня или даже дольше, разыгрывалась последняя церемония. Вечером в день венчания молодых торжественно вели

в опочивальню на брачное ложе, а гости провожали их шутками, смехом, песнями и величаниями. На следующее утро это же общество встречало и приветствовало их.

Столь же сложны и драматичны были церемонии по случаю рождения или смерти в какой-либо сельской семье. И опять-таки все село принимало участие в событии, в сложном, детально разработанном действе, показывавшем, что для коми народа рождения, смерти и свадьбы были важными жизненными вехами не только для отдельных людей, но и для общины в целом. Это также указывало на то, что сельская жизнь не была ни монотонной, ни обедненной событиями и впечатлениями, как то предполагают многие горожане. На самом деле это была яркая, захватывающая жизнь, свободная от механической рутины, подчиненной жесткому расписанию. Свободная от этой рутины сельская жизнь в Коми крае представляла собой постоянную смену разнообразных видов деятельности в соответствии с дневным, недельным и сезонным ритмом. В дождливые дни жизнь эта была совсем иной, чем в солнечные; в июле она текла по-другому, чем во всех остальных месяцах года; весной сознание, деятельность и интересы сельчан отличались от таковых зимой или в другое время года. В своем неспешном течении эта сельская жизнь постоянно изменяла собственные формы, человеческие установки и поведение. Если уж на то пошло, то она была богаче, менее монотонна и более наполнена смыслом, чем жизнь фабричного рабочего и городского служащего, выполняющих простые операции и ведущих изо дня в день однообразное существование.

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Я точно не помню как, когда и где выучился письму, чтению и счету. Наша кочевая жизнь препятствовала регулярному посещению начальных классов и окончанию школы. Переезжая от села к селу, мне удавалось посещать школы там, где мы останавливались, в течение только нескольких дней или недель. Элементарные навыки чтения, письма и арифметики я, вероятно, усвоил с помощью отца и брата. Первым моим учителем была простая крестьянка из Римьи, которая учила нескольких деревенских детей читать, писать и считать в своем доме. Я помню эту «школу» потому, что там я получил мою первую и самую дорогую награду за успехи в учебе. Это была обертка от леденца. До сих пор отчетливо вижу желто-зеленое изображение груши на фантике и вспоминаю ту радостную гордость, с которой принимал награду. Я показал ее тете и дяде и в конце концов прикрепил картинку на стене дома рядом с иконами. Ни один из дипломов, премий и почетных званий, данных мне большими учебными заведениями и научными институтами, не окрыляли меня так сильно, как эта простенькая награда.

Так или иначе, пусть и не регулярно посещая школу, но я приобрел элементарные школьные знания, которые значительно пополнил, жадно читая любые книги, попадавшиеся мне в селах Коми края. Благодаря запойному чтению я довольно рано познакомился с классиками русской литературы. Я прочел Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и Достоевского и кое-что из переводной классики, например, «Принца и нищего» Марка Твена и некоторые романы Чарльза Диккенса, волшебные сказки и эпические сказания, жития святых и священное писание, исторические труды и книги о природе. Помимо чтения моему умственному развитию заметно способствовали беседы и споры с сельскими интеллигентами и просто крестьянами, а более всего непосредственный опыт преодоления трудных жизненных обстоятельств и постоянные встречи с новыми людьми и ситуациями. Эта настоящая школа жизни расширила и углубила мои общие знания. Некоторые учителя, священники и крестьяне активно интересовались моими успехами и помогали книгами, советами, а во время тяжелых периодов для нашей семьи — едой и теплой одеждой на зиму. Я никогда не забуду, как один из учителей, сам страдавший туберкулезом, как-то в лютые холода принес мне пару валенок вместо моих развалившихся ботинок.

— Хотя валенки и старые, они все же могут уберечь тебя от пневмонии, которую ты, без всякого сомнения, схватишь в своей ни на что не годной обувке, — сказал он мне.

Подарок учителя наверняка спас меня от воспаления легких той зимой. Три года спустя я, однако, все-таки подхватил эту болезнь. В то время я учился в школе второй ступени в селе Гам[6]. На рождественские каникулы решил навестить моих дядю и тетю в деревне Римья, примерно в двадцати пяти верстах от школы. Я вышел сразу после полудня, день был морозным, и моя куртка мало защищала от холода. Тем не менее быстрым шагом я без приключений добрался до села Жешарт, в пяти — шести верстах от Римьи. Было уже темно, и, когда я вошел в Жешарт, началась сильная метель.

После некоторых колебаний я решился идти в Римью на ночь глядя, несмотря на непогоду. Пройдя некоторое время по глубокому снегу, я в конце концов заблудился в темноте из-за слепящего снегом и пронизывающего насквозь ветра. Не имея представления о направлении движения, я в панике и отчаянии продолжал брести наугад, пока окончательно не выбился из сил, не свалился и не был заметён снегом. Теряя сознание, я услышал звон церковных колоколов. (Главные колокола в храмах были велики по размерам, и их звон был слышен за несколько верст.) Эти удары колокола спасли мне жизнь и не дали замерзнуть. Они указали направление на Жешарт, куда я сразу же побрел с вновь ожившей надеждой. Ведомый колоколами, я добрался до села и провел ночь в доме другой тетки. На следующее утро погода прояснилась, я возобновил свой путь в Римью и через несколько часов достиг пункта

назначения. Однако назавтра высокая температура от пневмонии настигла мое бренное тело и заставила провести каникулы в постели вместо компании деревенских приятелей.

В моем раннем детстве были и другие болезни, и всякие несчастные случаи. Иногда причиной их являлся образ нашей жизни, иногда — как в случае с воспалением легких — собственная неосторожность и тяга к приключениям. Как бы там ни было, тяжелые последствия этих происшествий многому научили и заставили меня поумнеть.

В результате такого бессистемного, но многостороннего образования мне удалось без труда поступить в школу второй ступени, открытую в селе Гам[7], когда мы с братом работали там. День вступительных экзаменов в новую школу был значительным событием в жизни села. Многие крестьяне, в том числе и дети, желающие стать учениками, присутствовали на публичном экзамене. Я тоже присутствовал в качестве любопытствующего, не собираясь принять участие в конкурсе.

Выслушав вопросы и найдя их легкими, я неожиданно вызвался быть проэкзаменованным вместе с другими. Победоносно пройдя все тесты, я был принят в школу, и мне положили стипендию в пять рублей, которыми оплачивались комната и стол в школьном общежитии за целый год. (Как фантастично это звучит в сравнении с современными ценами и стипендиями!).

Так вот, по случаю, мое нерегулярное образование продолжилось во второклассной школе (школе второй ступени). Сделав этот шаг, я вступил на путь получения образования, который со временем привел меня к карьере университетского профессора. Пять учителей в школе, возглавляемые маститым священником[8], были хорошими людьми и отличными педагогами. Библиотека и скромное учебное оборудование были заметно лучше, чем в начальных школах. Большинство учащихся были способными мальчиками, умственно, физически и духовно развитыми[9]. Общая атмосфера в школе стимулировала развитие интеллекта, рождала ощущение счастья и была философски идеалистической. Поскольку мне удавалось быть лучшим учеником, стипендия в пять рублей предоставлялась мне все три года учебы[10].

Эти пять рублей уплачивались за жилье и питание в течение девяти месяцев учебы. В остальные три месяца я зарабатывал на жизнь самостоятельно, занимаясь прежним ремеслом вместе с братом и помогая дяде и тете на сельских работах. Три года в школе заметно увеличили мои знания, обогатили мой культурный уровень, пробудили склонность к творчеству и сформировали мое мировоззрение.

Поскольку коми в целом и моя семья в частности были двуязычны, т. е. говорили на двух языках, коми и русском, они же и стали для меня родными. Каюсь, но не имея практики в коми языке около 50 лет, я сейчас основательно подзабыл его. Поскольку религией коми народа и моей семьи тоже являлось русское православие, смешанное с пережитками дохристианских, языческих верований, и то и другое естественным образом соединилось в моей вере и исполняемых обрядах. Их влияние на мое сознание усиливалось нашим семейным ремеслом, предназначенным для нужд церкви. Работая, я, естественно, встречался, беседовал и взаимодействовал со многими священниками, диаконами и псаломщиками. Некоторые из них были весьма умные и образованные люди. Они в значительной мере повлияли на формирование моей личности и системы ценностей. Эти влияния на меня были так велики, что после прочтения Жития святых, мне хотелось стать аскетичным отшельником, и я часто уединялся в близлежащем лесу, чтобы попоститься и помолиться.

Религиозность служила также стимулом и основой развития моих творческих наклонностей. Пение в церкви удовлетворяло мою тягу к нему и стимулировало любовь к музыке. Я стал прекрасным певчим, а позже регентом церковного и руководителем школьного хоров. Прислуживая во время религиозных церемоний, я выучил наизусть молитвы, псалмы и тексты священного писания, а также детали и тонкости церковной службы. Хорошее знание религиозных текстов и обрядов дало мне более глубокое понимание их мудрости и красоты. Во многом благодаря этим знаниям я стал чем-то вроде учителя-проповедника на соседских посиделках долгими зимними вечерами. В комнате, освещенной горящими лучинами, с накинутым на мои плечи большим платом — имитацией ризы, церемониального облачения священника, — я часто обсуждал с крестьянами различные духовные и человеческие проблемы и отвечал на их вопросы. В Римье, а также других селах, где мы останавливались на продолжительный срок, меня хорошо знали как своего рода проповедника и учителя. Наверное, мне действительно удавалась такая деятельность, иначе крестьяне не приходили бы ко мне и не потерпели бы поучений от мальчишки 9—12 лет. Что до меня самого, то я обожал это занятие. Хотелось бы мне знать сейчас секрет популярности моих первых «лекций и проповедей»! Возможно, это был первый синдром моей будущей профессии, или безусловный рефлекс, или просто определенная склонность характера, которая позднее полностью проявилась в том, что я стал университетским профессором, педагогом.

Писание икон и изготовление риз развило во мне чувство линии, цвета и композиции. Таинства Христовы: непорочное зачатие,

воплощение Бога в образ человеческий, распятие на кресте, Воскресение Христа и его Вознесение так, как они развертываются в молитве во время обедни, открыли мне таинственную и загадочную реальность и трагические моменты жизни. Они заронили семена сохраняющегося до сих пор отвращения к мещанскому восприятию жизни, как череды удовольствий и развлечений, а также неприятия той поверхностной концепции, что все сущее — есть материя, данная нам в ощущениях. Если в моих теориях содержатся элементы мистицизма, как утверждают некоторые ученые, такие мистические и трагические их черты были заложены именно в мои детские годы.

Моральные заповеди христианства, особенно Нагорная проповедь и Блаженства Евангельские[11], решающим образом обусловили мои нравственные ценности не только в молодости, но и на всю жизнь. Корни Гарвардского исследовательского центра по созидательному альтруизму, основанного мной в 1949 году, восходят именно к этим заповедям Иисуса, затверженным в детстве. В соединении с моим странствующим образом жизни и социальным устройством коми народа религиозная атмосфера ранних лет сыграла важную роль в становлении моей личности, целостной системы ценностей и кристаллизации ранних философских взглядов. Так или иначе, но я придерживался идеалистического мировоззрения, в котором такие ценности, как Бог и природа, правда, добродетель и красота, религия, наука, искусство и этика были объединены в одно гармоничное целое. Ни острые конфликты с внешним миром, ни внутренние противоречия между данными ценностями не нарушали моего душевного равновесия. Несмотря на материальные трудности, печали и испытания духа, присущие каждой человеческой жизни, мир казался мне прекрасным для жизни и борьбы за утверждение великих жизненных ценностей.

Тогда я не предполагал, что в ближайшем будущем эта бесконфликтная и упорядоченная реальность, существующая в моем гармоничном мировоззрении, будет грубо разбита при соприкосновении с урбанистической цивилизацией, ввергнутой в хаос русско-японской войной и революцией 1905 года.

Глава третья.

ПЕРВЫЙ КРИЗИС И БУНТ

ИЗ ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ В ТЮРЬМУ

В 1903 году в 14 лет я окончил Гамскую второклассную школу[1]. Учитывая мои впечатляющие результаты, учителя и губернские школьные власти настоятельно советовали мне продолжить занятия и выделили для меня скромную стипендию в Хреновской учительской семинарии в Костромской губернии[2]. Я с огромным

желанием принял предложение и в августе 1903 года[3] отправился в дальнюю дорогу — в новую школу. Впервые в жизни я ехал поездом и плыл пароходом, увидел большие города и промышленные регионы, с провинциальной застенчивостью смотрел на разного типа городских жителей. Все это возбуждало, смущало и подавляло меня. Я чувствовал себя чужаком в этой незнакомой суматошной среде.

Ощущение чужеродности сохранялось некоторое время по приезде в Хреновскую школу. Хотя студенты и персонал никоим образом не были белой костью, тем не менее я, одетый в домотканые веіци, с манерами, лишенными городского лоска, выглядел и чувствовал себя деревенщиной, что давало повод некоторым людям в школе относиться ко мне соответственно моему имиджу. К счастью, такое ощущение и такое отношение ко мне вскоре по большей части исчезли; я быстро приобрел кое-какие городские манеры, купил новый костюм и, наконец, в разговорах с соучениками и учителями, а также на экзаменах показал, что я вовсе не наивный, неотесанный мужлан, каковым казался. Очень скоро я приспособился к новым условиям и чувствовал себя в школе как дома. (Позднее всю жизнь я должен был доказывать снова и снова, что внешность может быть обманчива и что меня следует принимать более серьезно, чем это делали некоторые люди, судившие по первому впечатлению.)

Церковно-учительская школа находилась под юрисдикцией Священного Синода Русской Православной Церкви. Она готовила учителей для церковноприходских (начальных) школ. Расположена она была в селе Хреново, рядом с несколькими ткацкими фабриками, недалеко от довольно крупных промышленных городов. Трехлетняя программа обучения в этой школе была намного более продвинута, студенты и учителя более сильны, библиотека и учебное оборудование лучше, чем в начальной и второклассной школах, которую я посещал ранее. Я был вполне счастлив в течение двух лет занятий в церковно-учительской школе. За малым исключением, лекции и учебники были интересны и содержательны; мои занятия шли успешно, и за несколько месяцев я завоевал репутацию лучшего студента в классе, был лидером в литературной, научной и политической деятельности студентов. Мои отношения и с учащимися и с преподавателями складывались отлично, а школьная жизнь текла весело и была содержательна и многообещающа. Там началась, помимо прочего, и моя неразрывная дружба со студентом на год младше меня — Николаем Кондратьевым[4]. Впоследствии он стал выдающимся экономистом и признанным в мире авторитетом в области экономических циклов. В конце концов он сгинул в ссылке при сталинском режиме[5].

Кроме студентов и преподавателей я встречался с самыми разными людьми: крестьянами, фабричными рабочими, служащими, духовенством, правительственными чиновниками, врачами, писателями, журналистами, предпринимателями, руководителями мест-

ных кооперативов и представителями различных политических партий — социалистами-революционерами, социал-демократами (большевиками и меньшевиками), монархистами, анархистами, либералами и консерваторами всех оттенков. Контактируя с этими людьми, я впитал много новых идей и ценностей, узнал состояние общества. Новое окружение, новые знакомства и особенно интенсивное чтение доселе незнакомых мне книг, журналов и газет быстро расширили и углубили мои взгляды. Новая идейная позиция, занятая мной, укрепилась в результате русско-японской войны 1904 года и особенно бури народного гнева, вылившейся в революцию 1905 года.

Суммарное воздействие всех этих сил на меня было так велико, что всего за два года учебы бо́льшая часть моих предыдущих религиозных, философских, политических, экономических и социальных установок была разрушена. Религиозность уступила место полуатеистическому отрицанию теологии и обрядов русской православной церкви. Обязательное присутствие на церковных службах, введенное в школе, только усиливало это отрицательное отношение к религии. Мое старое мировоззрение и система ценностей были заменены научной теорией эволюции и естественнонаучной философией. Приверженность монархической системе правления и «капиталистической» экономике сменилась республиканскими, демократическими и социалистическими взглядами. Политическая индифферентность уступила революционному порыву. Я превратился в активного агитатора за свержение царизма и руководителя отделения социалистов-революционеров в школе и округе. В отличие от социал-демократов эсеры были партией всех трудящихся — крестьян, рабочих и людей умственного труда. В противоположность марксистскому материализму и взглядам на человека и историю общества сквозь призму первичности экономических интересов философия и социология социал-революционной партии были намного более идеалистичны или, точнее, целостны. Эсеровские взгляды отводили большую роль в социальных процессах и человеческом поведении таким важным неэкономическим факторам, как созидательные идеи, личностные усилия, *борьба за индивидуальность* вместо марксистской *борьбы за существование*. Мое прежнее мироощущение было более созвучно этому, чем *пролетарской, материалистичной, экономической* идеологии марксистских социал-демократов. Духовной близостью и объясняется, почему я выбрал именно партию социалистов-революционеров и почему на протяжении всей последующей жизни не имел ничего общего с марксизмом[6].

Став ревностным социалистом-революционером, я принялся распространять революционные идеи среди студентов, рабочих и крестьян близлежащих деревень.

Вечером первого дня рождественских каникул 1906 года[7] я отправился на запланированную встречу с одной из моих рабоче-крестьянских групп. Добравшись до дома, где должна была про-

изойти сходка, я обнаружил его тихим и темным. Несмотря на определенные сомнения, я осторожно открыл дверь... и был немедленно скручен и арестован несколькими полицейскими. Хотя я ожидал, что рано или поздно меня схватят за революционную деятельность, все же первый арест поверг меня в шоковое состояние. Пока жандармы вели новоиспеченного арестанта к саням, которые должны были доставить его в тюрьму города Кинешмы, последствия данного события как вспышкой озарили мое сознание: неизбежное исключение из школы, долгое тюремное заключение, возможная ссылка в Сибирь, неопределенность будущего и другие далеко не радужные перспективы.

Меня бросили в грязную камеру, где деревянные нары кишели вшами. Я преодолел это неудобство с оптимизмом и энергичностью юности. Выпросив большой чугунок кипятка у охранника, я ошпарил койку, вымел мусор из камеры и постарался приспособиться к новым условиям, насколько это было возможно. На следующий день меня ждало несколько приятных сюрпризов: начальником тюрьмы я был переведен в лучшую, чем моя, камеру, и он же предложил мне пользоваться телефоном в его кабинете. Политические заключенные приветствовали меня в своей компании и устроили так, что дверь камеры днем не закрывалась и я мог свободно общаться с ними. Товарищи по школе пришли навестить меня и принесли книгу, еду, сигареты, чтобы скрасить мое пребывание в тюрьме. (Эти сигареты выработали у меня привычку курить — порок, от которого я прежде был свободен.)

Короче говоря, политическое заключение оказалось далеко не так болезненно и пугающе, как я воображал. В последние свои часы шатающийся царский режим становился довольно гуманным. Фактически мы, политические заключенные, превратили тюрьму в безопасное место для хранения революционной литературы и за плату пересылали с охранниками на волю письма другим революционерам, свободно навещали друг друга в своих камерах и ежедневно беспрепятственно собирались для обсуждения политических, социальных и философских проблем. (Когда политический режим начинает рассыпаться, «вирус дезинтеграции» быстро распространяется всюду, заражая все институты власти, проникая во все щели. Падение режима — обычно это результат не столько усилий революционеров, сколько одряхления, бессилия и неспособности к созидательной работе самого режима. В случае с нашей тюрьмой мы имели типичную иллюстрацию действия этого принципа. Если революцию нельзя искусственно начать и экспортировать, еще менее возможно ее искусственно остановить. Революции для своего полного осуществления на самом-то деле вовсе не нужны какие-то особенные великие люди. В своем естественном развитии революция просто создает таких лидеров из самых обычных людей. Хорошо бы это знали все политики и особенно защитники устаревших режимов! Они не могут оживить такой отмирающий режим, как, впрочем, и другие не могут начать

революцию без достаточного количества взрывчатого материала в обществе.)

Ежедневные дискуссии и напряженное чтение работ Михайловского[8], Лаврова[9], Маркса, Энгельса, Бакунина, Кропоткина[10], Толстого[11], Плеханова, Чернова[12], Ленина и других революционных классиков, познакомили меня с различными теориями переустройства общества, идеологиями и социальными проблемами. Знакомясь с трудами Чарльза Дарвина, Герберта Спенсера[13], других «эволюционистов» и вообще с самыми разными научными работами и философскими трактатами, я расширял свои знания о науке, эволюции и философии. В течение четырех месяцев, проведенных за решеткой, я, по-видимому, узнал больше, чем мог бы дать мне пропущенный семестр в церковно-учительской школе. Это относится и к моим будущим тюремным заключениям при царизме (но не при коммунистах), так же, впрочем, как и к тюремным заключениям многих русских ученых и мыслителей. Некоторые из их лучших работ были задуманы и выполнены вчерне в царских тюрьмах. В академических кругах тогдашней России бытовала фраза: «В тюрьму, что ли, сесть, там хоть спокойно поработаю». Мой опыт это вполне подтверждает.

В заключении я каждый день виделся и разговаривал с множеством обычных преступников — убийцами, грабителями, ворами, насильниками и другими незадачливыми «лицами девиантного поведения»[14], и таким образом познакомился с уголовным миром. Этот опыт подсказал мне тему моей первой книги «Преступление и кара, подвиг и награда», вышедшей в 1913 году[15] и привел к выбору криминологии и пенологии[16] в качестве области моей первой специализации в университете Санкт-Петербурга.

Проведя четыре месяца за решеткой[17] я был освобожден под гласный надзор полиции, куда должен был регулярно сообщать о роде занятий, местожительстве и любых его изменениях. Из тюрьмы я первым делом пошел в школу попрощаться с товарищами, учителями и соседями. Несмотря на автоматическое отчисление из школы, меня сердечно встретили и приняли скорее как героя, чем преступника, поскольку большинство студенческо-преподавательского состава симпатизировало революции и людям, агитировавшим за нее. После нескольких дней в Хренове я решил уехать. Но куда? Этот вопрос неотступно мучил меня. Положение было действительно не из легких. Ни одна школа или фирма не пожелала бы взять меня на учебу или работу, поскольку прием революционеров запрещался правительством. Более того, в своем революционном пылу я не хотел теперь снова становиться благонадежным студентом или старательным служащим в какой-нибудь конторе.

Тщательно взвесив ситуацию, я выбрал единственное решение, способное удовлетворить мои революционные настроения. Я решил стать ходоком-агитатором среди фабричных рабочих и селян — распространять эсеровские идеи и организовывать революционные ячейки и группы.

В один из дней сразу после полудня я ушел из школы, не поставив в известность полицию и кого бы то ни было, кроме двух-трех близких друзей и соратников по партии. Пунктом моего назначения был Иваново-Вознесенск, большой промышленный город примерно в 25 верстах от школы. Если приезд в школу был радостным днем для меня, то уход — мрачным. Небо хмурилось и как нельзя лучше соответствовало моему угрюмому настроению. Вскоре пошел снег. Удрученный и одинокий, я шел обратно по той дороге, которой приехал в школу, грустно размышляя об опасности и трудностях моих новых «каникул» да еще об иронии судьбы, благодаря чему после пяти лет упорядоченной жизни в двух школах я вновь возвращаюсь к прежнему положению бродяги с до боли знакомой жизнью перекати-поля. Будучи изгнан из школы, я чувствовал себя выбитым из моей прежней безопасной жизненной колеи, по которой шел к получению образования.

Дорога становилась все менее и менее различима из-за падающего снега и подступающей ночной темноты. Казалось, что она ведет в никуда и уж во всяком случае не к желанному успеху и комфорту. В таком меланхоличном состоянии я наконец добрался до Иваново-Вознесенска и нашел квартиру знакомого преподавателя, члена местного отделения партии эсеров. Так закончилась упорядоченная фаза моей жизни и начались новые опасности и испытания.

БРОДЯЧИЙ МИССИОНЕР РЕВОЛЮЦИИ

В отличие от миссионеров солидных религий подпольные пропагандисты революционных идей в то время и в этом регионе не имели ни учения в виде четкого набора догматов, ни денег, ни иерархии, ни даже тесно спаянной организации[18]. Вместо этого в городах и селах были кружки социалистов-революционеров, которые слабо знали друг друга и не поддерживали тесных связей. Однако к ним примыкало немало так называемых «попутчиков» и наконец было много симпатизирующих нашей партии рабочих и крестьян. Профессиональные революционеры время от времени навещали этот регион, чтобы выступить на больших политических митингах, демонстрациях, помочь в организации партийных ячеек, поспорить с представителями других партий и посовещаться с местными эсерами. Их либо приглашали местные ячейки, либо присылали центральный или губернский комитеты партии. За исключением нескольких основных руководителей большинство этих разъездных эмиссаров не получали никакого денежного содержания и вынуждены были рассчитывать только на гостеприимство местных членов партии или «попутчиков» в том, что касалось крова, еды и других надобностей. Пребывая в каком-либо месте, они постоянно сопровождались этими членами или симпатизирующими, будучи в любой момент готовы сняться с места при намеке на

опасность ареста или слежки. Их жизнь походила на жизнь первых миссионеров новых, еще не устоявшихся религий, которые господствующие духовные и светские власти рассматривают как подрывные и соответственно преследуют. За революционерами шла постоянная охота полиции, они никогда не имели своего угла, рисковали быть убитыми на митингах, проходили через опасности, трудности и страдания, в общем, они были похожи на первых апостолов христианства.

На следующий день после прихода в Иваново-Вознесенск началась моя пропагандистская деятельность. Для всего мира, а особенно для агентов правительства, Сорокин исчез. Вместо него появился анонимный товарищ Иван, который выступал на революционных митингах, организовывал и инструктировал партийные ячейки среди интеллигенции, фабричных рабочих и сельских жителей, участвовал в дебатах и диспутах между представителями различных партий, писал политические листовки, которые размножались и распространялись среди населения. Незаконная и наказуемая эта деятельность должна была вестись втайне от полиции. Большинство важных революционных митингов проходило за городом в лесистых местностях, вокруг места сбора выставлялись доверенные наблюдатели, предупреждавшие о появлении жандармов или казаков. Как только они давали соответствующий сигнал, собрание прекращалось, и его участники торопливо расходились, исчезая в окрестных лесах.

Большинство митингов, где присутствовал и выступал товарищ Иван, проходили без таких происшествий. Только несколько из них были прерваны из-за неожиданного нападения полиции. Однако один крупный митинг закончился трагически: погибли двое рабочих и полицейский, многие были ранены. Он проходил весенним солнечным днем на лесистом берегу Волги недалеко от города Кинешмы. Толпа насчитывала сотни рабочих с близлежащих фабрик. Большинство из них люто ненавидели царский режим, а особенно полицию и казаков, которые из всех держиморд, угнетателей и палачей народа были самыми худшими. Стоя на большом пне, товарищ Иван бросал во внимательно слушавшую толпу слова яростного обличения царизма и восхваления будущего строя, в котором власть будет принадлежать народу, земля — крестьянам, ее обрабатывающим, а заводы — рабочим, и в котором свобода и справедливость будут обеспечены каждому.

К несчастью, ни дозорные, ни кто-либо из собравшихся не заметили, что подразделение конных жандармов и казаков скрытно сосредоточилось в близлежащей балке. В самый напряженный момент речи товарища Ивана они внезапно появились из укрытия и окружили митингующих. «Арестовываем всех до тех пор, пока не выдадите зачинщиков», — предъявил ультиматум офицер, командовавший отрядом. Зловещее молчание длилось несколько мгновений и было разорвано товарищем Иваном, который с крайним возмущением обозвал нападавших злейшими врагами народа. Винто-

вочный выстрел из цепи жандармов прервал его. Был ли выстрел предупредительным, или «фараон» целил в оратора, осталось неизвестным, но Ивана тут же стащили с пня революционеры, охранявшие его, и он исчез за их спинами.

Жандармы и казаки сразу же обрушили на людей град ударов нагайками и саблями. Часть толпы бросилась в панике бежать и столкнулась с цепью атакующих, другая же часть людей, по-видимому более смелых, контратаковала с применением ножей, камней, дубинок, ссаживая казаков с коней и избивая их.

Ошеломленные яростным сопротивлением «фараоны» начали отступать. В свалке некоторые казаки стреляли в людей, то ли в целях самозащиты, то ли в припадке гнева. В ответ разъяренные рабочие удвоили усилия, и вскоре «фараоны», спасая свои жизни, обратились в бегство.

Часом позже длинная траурная процессия медленно двинулась от места побоища к фабрикам. Убитых и раненых товарищей молча несли на наспех сооруженных носилках. Красные с черным флаги показывали, что это за процессия. Печальное шествие, освещаемое косыми лучами клонящегося к закату солнца, резко контрастировало с цветущей вокруг природой. Песня «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» вырывалась из тысячи глоток, летела в голубое небо с выражением протеста и скорби.

Позднее в своей жизни товарищ Иван не раз слышал великие реквиемы, написанные Моцартом, Керубини, Берлиозом, Брамсом, Верди и Форé, похоронные марши Бетховена, Шопена и Вагнера. Но ни один из этих шедевров не наполнял его душу такой глубокой скорбью, состраданием и жаждой справедливости, как эта простая и незатейливая песня.

После нескольких недель пропагандистской деятельности кличка «товарищ Иван» стала хорошо известна в данном районе, в том числе и агентам охранки, которые усилили попытки обнаружить, кто скрывается за этим псевдонимом, и арестовать неуловимого «товарища». Несколько раз Ивану едва удавалось ускользать от них. Его не столько спасала собственная осторожность и ловкость, сколько помощь симпатизирующих рабочих, крестьян и интеллигентов, которые сообщали ему о всех подозрительных субъектах, шпиках и соглядатаях, прятали в опасных ситуациях, сопровождали во всех перемещениях с места на место. Только благодаря их дружескому участию Иван остался на свободе и не попал под суд за все три месяца, проведенных на Волге.

К концу этого периода постоянные опасности, напряжение и трудности такого образа жизни начали сказываться на Иване. Его здоровье стало ухудшаться, энергия ослабла, ушло душевное равновесие. Усилившийся полицейский сыск делал его арест практически неизбежным в случае дальнейшего пребывания в этом районе. Под давлением таких обстоятельств и настойчивых рекомендаций своих товарищей он с неохотой покинул опасные места и

без особых трудностей добрался до дома тети Анисьи в Римье, где о его революционной деятельности еще никто не знал.

Жизнь в Римье между тем шла своим чередом, на который мало повлияла революционная буря, пронесшаяся над промышленными городами России. Там, в деревне, в кругу друзей, я пробыл около двух месяцев, помогая тете и Прокопию в сельских трудах, навещая своих учителей в Гамской школе и быстро восстанавливая жизненный тонус и душевное равновесие. Поскольку в Коми крае у меня не было перспектив ни на хорошую работу, ни на продолжение образования, осенью 1907 года я решил уехать в Санкт-Петербург.

ЧАСТЬ II

Глава четвертая.

ЖИЗНЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ

«ЗАЙЦЕМ» НА ПОЕЗДЕ

Решиться переехать в Санкт-Петербург было легко, но гораздо более трудным оказалось осуществить это решение. Самая маленькая плата за проезд, включая билет на пароход от Римьи до Вологды и плацкарту от Вологды до Санкт-Петербурга, была не менее шестнадцати рублей. Весь мой капитал в то время составлял всего один рубль. Я покрасил кое-что в двух крестьянских домах и тем самым увеличил его до девяти рублей. Эта сумма все же была недостаточна для такого путешествия, но поскольку прибыльной работы в тот период не находилось, с оптимизмом юности как-то ярким сентябрьским утром я попрощался с Анисьей, Прокопием и друзьями, сел на «Купчик» — маленький примитивный пароход — и начал свое паломничество в Российскую метрополию. С самым дешевым билетом в кармане, корзинкой еды, собранной Анисьей и пополненной дядей Михаилом и тетей Анной в Великом Устюге, все шесть дней плавания я наслаждался медленно проплывающими видами реки, сельскими пейзажами и немудреной компанией моих попутчиков. Еще большее удовольствие я испытывал от грез и мечтаний, которым предавался на борту парохода. Хотя обслуживание по третьему классу было весьма бедным, а сокращающиеся запасы моей продуктовой корзины заставляли меня урезать дневной рацион, эти детали не слишком влияли на энергичного парня, душа которого была спокойна, умиротворенна и окрылена надеждой.

К несчастью, душевное равновесие нарушилось в Вологде по весьма прозаической финансовой причине. Самый дешевый билет до столицы стоил около восьми рублей, в то время как остаток моих финансов сократился до трех рублей. Не имея выбора, я купил билет до одной из станций недалеко от Вологды и сел на поезд в надежде проехать остальной путь «зайцем». Первую проверку билетов я прошел законным образом, а от нескольких последующих прятался на подножке вагона. Однако меня все же обнаружили, втащили обратно в вагон и допросили. Я вполне честно ответил проводнику, что направляюсь в Санкт-Петербург искать работу и возможность получить образование, что мои наличные

деньги позволили купить билет только до станции, уже оставшейся позади, и что я намеревался проехать остальной путь «зайцем». То ли проводник был очень хорошим человеком, то ли мой честный рассказ оказал на него благоприятное впечатление, но он позволил мне ехать дальше с условием, что свой проезд я отработаю, убирая вагон, в частности туалеты, и присматривая за титаном. С радостью приняв его предложение, я благополучно добрался до столицы. Когда ноги вынесли меня на перрон Николаевского вокзала Санкт-Петербурга, в моем кармане оставалось еще около пятидесяти копеек.

УДАЧНОЕ НАЧАЛО В СТОЛИЦЕ

Единственным человеком, которого я знал в Санкт-Петербурге, был Павел Коковкин[1], один из моих друзей по Римье, переехавший в столицу Российской империи около двух лет назад. Зная его адрес, я пешком прошел от Николаевского вокзала до нужного дома, где и нашел его. Он жил в комнате в старом многоквартирном доме, где вместе с кроватью и скудными пожитками занимал один угол. Три других угла комнаты снимали пожилая женщина, молодая девушка и товарищ Павла, работавший вместе с ним на заводе. Несмотря на явную нищету обстановки, в комнате царили чистота и порядок. Такими же хорошими были и отношения между соседями, как выяснилось позже. Все жильцы сердечно приняли меня и пригласили за стол ужинать. За едой Павел сказал, что я могу остаться у него на несколько дней, пока не найду работу, и вся комната принялась обсуждать, какую и где я мог бы найти работу. Они обещали поспрашивать у своих начальников и коллег об этом.

В числе прочего Павел дал мне совет повесить объявление на парадном входе в здание с предложением моих репетиторских и секретарских услуг по очень низкой цене. Эта мысль, реализованная в тот же вечер, оказалась удачной: на следующий день после обеда пришел конторский служащий центральной электростанции и, расспросив, нанял меня репетитором к двум своим сыновьям, ученикам первого класса гимназии. В качестве платы за уроки я получил возможность жить в комнате со своими учениками, завтракая и обедая вместе с ними. Мы договорились, что я перееду к ним на квартиру на следующий же день. Вечером, когда мои друзья вернулись с работы, я радостно сообщил им об этой удаче. Имея угол и гарантированное двухразовое питание, я счел, что неотложные проблемы решены вполне удовлетворительно. Репетиторские обязанности, похоже, должны были отнимать лишь небольшую часть времени, оставляя достаточно как для самообразования, так и для заработков на дополнительные расходы, удовлетворяющие мои скромные потребности.

Следующим утром до переезда в квартиру моего работодателя

я решил взяться за проблему образования. Моей целью было поступить в университет. Поскольку меня исключили из церковно-учительской школы и я не посещал ни одного года гимназию, существовал единственный путь стать студентом университета, а именно: сдать жесткий экзамен на аттестат зрелости за все восемь классов гимназии, включая некоторые дополнительные знания, требуемые от экстернов, которые не получили классического образования. В тот момент я не был подготовлен к этому экзамену, в частности не имел требуемого знания латинского или древнегреческого, французского или немецкого языка, а также математики. Чтобы получить такую подготовку мне хотелось поступить в одну из вечерних школ, которые, помимо прочего, обучали способных студентов этим предметам. Поскольку у меня не было денег оплатить довольно большую стоимость обучения, я решил использовать возможность бесплатно поступить на Черняевские курсы[2], одну из лучших школ такого типа. Еще раньше я узнал, что основатель курсов господин Черняев был выходцем из Вологодской губернии и симпатизировал эсерам, а одним из преподавателей курсов являлся близкий друг Черняева К. Ф. Жаков[3], первый из коми, получивший звание университетского профессора.

Поэтому тем утром я прошел около десяти верст до квартиры профессора. Его не было дома, но госпожа Жакова[4], сама преподаватель частной школы, приветливо приняла меня и самым дружеским образом расспросила о том, что привело меня к ним. Несколько лет спустя, когда я стал известным профессором, она любила юмористически описывать нашим друзьям эту первую встречу. Ее рассказ звучал примерно так: «Открываю я дверь и вижу: стоит передо мной деревенский парень, в косоворотке, с небольшой котомкой в руках. На мой вопрос, кого ему угодно видеть, он ответил, что он приехал от коми народа и хотел бы видеть коми профессора. Когда я спросила, где он оставил багаж, юноша показал на котомку и сказал: «Все здесь». На вопрос, есть ли у него деньги на жизнь, он жизнерадостно ответил: «Да, у меня еще осталось пятьдесят копеек, уже есть где жить и двухразовое питание ежедневно. О деньгах я не беспокоюсь. Если будет нужно, заработаю». Пока госпожа Жакова изучала мою биографию с помощью техники фокусированного интервью[5] (как мои коллеги-социологи называют это), появился профессор Жаков и, коротко справившись о госте, присоединился к разговору.

Он был замечательным человеком во многих отношениях. Его происхождение и биография в чем-то напоминали мои[6]. Ему также пришлось карабкаться вверх из коми крестьянских детей до положения профессора философии и известного писателя, автора романов и эпосов о жизни коми народа в стиле, напоминающем «Гайавату» Лонгфелло и финскую «Калевалу». Но прежде всего это была чрезвычайно богатая личность, оригинальная и интеллектуально независимая от всех модных тогда направлений мысли и творчества. Возможно, что эта «высоколобость» и была причи-

ной недооценки его трудов до революции 1917 года и его эмиграции[7] из коммунистической России в Латвию, где он умер в 1920-х годах.

Наша долгая и живая беседа окончилась его обещанием устроить мне через господина Черняева бесплатное обучение на курсах и приглашением бывать в доме Жаковых, а также посещать ежемесячные литературные вечера, проводившиеся у них на квартире[8]. Этот первый визит положил начало длительной и тесной дружбе, длившейся до самой смерти Жаковых. Они очень помогли мне на протяжении первого года жизни в Санкт-Петербурге. Они также ввели меня в круг философов, литераторов и людей искусства. Позже мы с Жаковым провели несколько экспедиций, изучая антропологию и экономику коми народа[9]. Помимо всего прочего именно на одном из литературных вечеров у Жаковых я встретил свою жену[10], юную и красивую студентку Бестужевских высших женских курсов.

Счастливый и окрыленный, я и не заметил, как прошагал десять верст до дома Павла[11], и, попрощавшись с ним и его соседями, в тот же вечер перебрался на квартиру моих учеников. Поскольку все мои пожитки свободно умещались в котомке, переезд не составил труда, я просто прошелся пешком до нового места жительства, держа узелок с вещами в руках. Латинская поговорка «Все свое ношу с собой», которую узнал позднее, точно описывала уровень моей мобильности[12], как говорят социологи. Я чувствовал, что мне действительно повезло. Всего за два дня удалось найти жилье, хлеб насущный, поступить в вечернюю школу, чтобы продолжить образование. В эти дни непостижимым образом госпожа Удача, кажется, улыбалась мне.

ГОДЫ УЧЕБЫ В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ

Мне повезло также и с семьей, где я состоял репетитором. Это были скромные, умеренно консервативные, но очень порядочные люди. Несмотря на разницу в политических убеждениях, наши отношения быстро превратились в дружеские и оставались таковыми весь год, что я провел у них в доме. Возможно, по американским стандартам мой завтрак, состоявший из стакана чая и булочки, и обед, включавший суп, кашу или мясо и чай, могут показаться бедными, мое проживание в одной комнате с учениками — тесным, но для меня и моих финансовых ресурсов это было вполне приемлемо и удобно. Подходящим было и расстояние до вечерней школы — около 15 верст, — которое мне приходилось покрывать пешком туда и обратно шесть раз в неделю[13]. Такие прогулки были хорошей разминкой для молодого человека, и, что еще важнее, во время этих вечерних и полночных променадов я очень многое узнал о теневой стороне ночной жизни большого города.

Вскоре по рекомендации Жакова я получил дополнительную

репетиторскую нагрузку и вместе с ней несколько лишних рублей на мои незатейливые нужды: я вполне довольствовался спартанскими условиями. Решив эти мелкие проблемы, я полностью посвятил себя задаче умственного, нравственного и культурного развития. Держа в голове эту цель, я усердно занимался в вечерней школе, читая и размышляя о вещах вне программы, участвовал в различных диспутах и впитывал в себя как можно больше культуры, т. е. все, что было доступно мне в столице.

Три семестра вечерней школы значительно облегчили достижение моей цели. Большинство преподавателей школы были институтскими профессорами, и их лекции мало отличались от тех, что читают на первых двух курсах высших учебных заведений[14]. Посещение лекций и уроков было свободным. Контрольных работ и экзаменов оказалось немного, но знания оценивались строго и требовательно. Эта система обучения, весьма близкая к той, что существовала в русских университетах до революции, была свободна от нудистики гимназических занятий, так же как от скуки обязательного посещения уроков и выполнения других, по большей части бесполезных требований. Мне нравилась такая свободная система учебы как лучше всего подходящая моим способностям.

Учениками вечерней школы были в основном юноши и девушки с самыми разными возможностями и подготовкой. Рядом с туповатыми, посредственными учениками занимались и те, у кого были блестящие головы. Впоследствии некоторые из них прославились в науке, литературе и искусствах, политике. Общность интересов, включая антисамодержавные политические взгляды, дала мне возможность подружиться с некоторыми из этих блестящих учеников. Мы вместе обсуждали различные проблемы, участвовали в «подрывной» деятельности и частенько собирались за бутылочкой пива или рюмочкой водки. Эта дружба продолжалась много лет до тех пор, пока многие из нас не были убиты или разбросаны по всему миру первой мировой войной и коммунистической революцией 1917 года.

Ближайшим моим другом был Кондратьев. Как я уже упоминал, мы вместе учились еще в церковно-учительской школе. Несколько месяцев спустя после моего исключения Кондратьева тоже вышибли из нее за революционную деятельность[15]. Зная о том, что я посещаю Черняевские курсы, он также приехал в Санкт-Петербург и был принят в школу с весеннего семестра 1908 года. Осенью того же года мы сняли комнату (вместе с еще одним коми студентом курсов — Кузьбожевым)[16], и с тех пор мы с ним жили вместе на протяжении нескольких лет нашей учебы, в том числе и в университете. Впоследствии он стал известным и заслуженным профессором экономики и руководителем высокого ранга в министерстве сельского хозяйства как в правительстве Керенского, так и при коммунистах[17]. В советское время его несколько раз пересаживали из высокого кресла в тюрьму и обратно[18]. Последний

раз мы встретились в университете штата Миннесота (США) в 1927 году во время его научной командировки по главным университетам Соединенных Штатов[19]. В тот раз он гостил у нас около десяти дней. Мы с удовольствием рассказывали друг другу, что происходило с нами за то время, пока мы не виделись, обменивались соображениями по основным интересующим нас обоих проблемам, в частности о России и коммунистической революции. Этот визит оказался последним. Несколько лет спустя Кондратьев был обвинен Сталиным в подстрекательстве и проведении антикоммунистической аграрной политики. Его включили в списки фракционеров, якобы выступавших против Сталина, и вычистили вместе с ними после известных фальсифицированных процессов 1931—1932 годов. Его выслали в Туркестан или Сибирь, и там он погиб при обстоятельствах, неизвестных ни мне, ни другим его друзьям[20]. Еще раз я хочу сказать «*Вечная память!*» моему самому дорогому другу и чудесному человеку.

Мое умственное и духовное развитие шло не только за счет занятий на курсах, но и благодаря приобщению к великим ценностям, собранным в Санкт-Петербурге. В те годы я как губка жадно впитывал бессмертные достижения человеческого гения в науке и технике, философии и изящных искусствах, этике и праве, политике и экономике. Любой большой город накапливает не только пустые и ядовитые псевдоценности, но и огромное богатство универсальных, вечных и бессмертных ценностей мысли и духа, хранимых школами и лабораториями, храмами и библиотеками, музеями и художественными галереями, театрами и концертными залами, величественными зданиями и историческими памятниками. В этом смысле любой большой город дает человеку возможности и для развития, и для деградации, и для облагораживания, и для сведения на нет его созидательных возможностей. К несчастью, многие горожане, особенно сейчас, в век коммерциализованной и вульгарной псевдокультуры, не делают различия между образцами культуры, которые они воспринимают. Широкие массы, стадо «образованных варваров», берут из городской культуры, в основном через печать, радио, телевидение, рекламу и другие средства коммуникации, — только пустые банальности, яркие и вредные забавы и сиюминутные ценности.

В результате они большей частью остаются «холеными цивилизованными манекенами»[21] и едва ли превосходят умом, нравственным поведением и способностью к созиданию нецивилизованных дикарей.

То ли из-за моего прежнего опыта преодоления трудностей, который не позволял отвлекаться на мелочи, то ли из-за революционного умонастроения, неважно, в общем-то, по какой причине, ложные ценности не привлекали, да и сейчас не привлекают меня.

Я никогда не находил интереса в быстрых переходах этих лжеценностей из одной модной, но ничего не содержащей формы в другую такую же. Даже сейчас, если книга, или пластинка, или

фильм тиражируются миллионами копий, то для меня это достаточная причина не затруднять себя такого рода умственной или культурной жвачкой[22]. Есть, конечно, некоторые исключения из данного правила, но, как я показал в книге «Социальная и культурная динамика» (том 4, глава 5), исключения только подтверждают правило: подавляющее большинство хитов[23] — однодневок, непрочных «успехов» и бестселлеров на час, — представляют собой совершенно вульгарную интеллектуальную пищу.

Вместо того чтобы забивать мозги такой кашей, я поглощал бессмертные шедевры литературы, музыки, изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, религии и философии, науки и техники и гуманистической мысли. Подобное общее образование я получал, читая классические труды, посещая, насколько позволяли время и деньги, музеи, участвуя в работе различных литературных, художественных, философских и политических кружков и обществ. Через Жакова и других профессоров я вскоре познакомился с несколькими российскими знаменитостями в этих областях культуры. У меня также установились личные взаимоотношения с некоторыми лидерами эсеров, социал-демократов и кадетов, и я вновь начал культурно-просветительную работу среди рабочих Путиловского и других заводов. В действительно демократическом обществе такая деятельность рассматривалась бы как обычная работа на ниве образования для взрослых и популяризации позитивистских, прогрессивных и социалистических взглядов. Для загнивающего самодержавия все это было революционной и подрывной активностью. До 1911 года, однако, арест и тюремное заключение миновали меня.

Усваивая новые знания и ценности, я одновременно старался соединить мои взгляды в целостное, единое мировоззрение. Есть люди, которые не испытывают нужды привести мешанину в своей голове в некое подобие упорядоченной системы. Их ментальность напоминает мусорную кучу, в которой свалены вместе разнообразные и противоречивые обрывки знаний, философий, идеологий, несопоставимых ценностей и стремлений к ним. Эти легкомысленные, пустые люди часто бывают по-своему довольны жизнью, которая течет без кризисов и трагедий.

В противоположность людям этого типа есть и такие, у кого сильно стремление к упорядочению и согласованию своих идей, ценностей и устремлений. Такие личности не могут не объединять их в более или менее согласованную систему. Я, похоже, принадлежу к этому целостному типу. После того как мои ранние взгляды на жизнь рассыпались, как карточный домик, в начале учебы в церковно-учительской школе, я ощущал некий душевный дискомфорт и самопроизвольно начал поиски новой философии, чтобы восстановить единство и целостность моего Я[24]. Накопленные естественнонаучные знания, более близкое знакомство с позитивистской философией[25] и революционно-социалистическими доктринами показали мне направление, в каком следует строить новое

мировоззрение. Значительно продвинуться в решении этой задачи я смог благодаря вечерней школе. Но и тогда новая система идей, ценностей и жизненных устремлений была создана лишь наполовину. Ее завершение пришлось на годы учебы в Психоневрологическом институте и Санкт-Петербургском университете.

* * *

Как бы там ни было, но два года занятий на Черняевских курсах в столице оказались весьма продуктивными с точки зрения моего нравственного и умственного развития. К концу этого периода я почувствовал, что уже в основном готов к экзамену на аттестат зрелости, достаточно разбираюсь в основных областях культуры и заметно продвинулся в деле создания новой мировоззренческой системы. Интеллектуальное развитие шло параллельно эмоциональному созреванию и становлению характера. Я был доволен результатами и, чувствуя себя молодым, здоровым и собранным, надеялся на дальнейшие успехи.

С таким настроением в феврале 1909 года я решил ехать в Великий Устюг, чтобы подготовиться к выпускному экзамену за гимназический курс в мае того же года. Там, в Устюге, я мог посвящать все свое время занятиям, живя с тетей Анной и дядей Михаилом, что обошлось бы мне дешевле, чем жизнь в Санкт-Петербурге. В Устюге я пробыл несколько месяцев до и после экзамена, который сдал в мае 1909 года на все пятерки[26]. Аттестат открыл мне двери к университетскому образованию, ранее полностью для меня закрытому. Он позволял поступать в любой русский университет на выбор, но одно препятствие все еще оставалось — это было «свидетельство о благонадежности», предоставляемое властями. Однако это не слишком беспокоило меня: я был совершенно уверен, что, несмотря на официально установленную мою подрывную деятельность и политическую неблагонадежность, тем или иным путем смогу получить требуемое свидетельство от чиновников рушащегося самодержавного режима. В конце концов я действительно получил такую бумажку из канцелярии Санкт-Петербургского губернатора.

Время, проведенное в Устюге до и особенно после экзамена, оказалось полезным и интересным. Дядя и тетя были простыми, но очень хорошими людьми. Они зарабатывали на хлеб хлебом, т. е. выпекая и продавая хлеб и пирожные в своей палатке на городском рынке. Их доходы были весьма ограничены, но достаточны для удовлетворения скромных потребностей. Оба они были традиционно религиозными, честными и добрыми людьми в лучшем смысле этих слов. Из их небольшого домика на Красной горе на окраине Устюга открывался красивый вид города и долины за ним. Дом был непритязателен, но замечательно удобен внутри. Маленький палисадник и огород на заднем дворе делали его еще более симпатичным. Доброта, согласие и гармония во взаимоотно-

шениях моих родственников каким-то образом передались и всей атмосфере дома.

Во время пребывания в Устюге я установил тесную дружбу со многими учениками и взрослыми горожанами. Некоторые из учеников гимназии, например: Петр Зепалов[27], Василий Богатырев и другие, стали моими друзьями на всю жизнь, до тех пор, пока одни из них не погибли, а другие не исчезли во время коммунистической революции. После первого длительного посещения Устюга я приезжал туда несколько раз в последующие годы. Как и Римья, Великий Устюг стал одним из главных мест, где я отдыхал, учился и занимался революционной деятельностью. В конце концов он оказался тем местом, где меня посадили за решетку и приговорили к смерти захватившие власть коммунисты.

Однако тогда, во время первого приезда в Устюг, один Бог знал, что случится со мной в будущем. После экзамена я был окрылен открывшейся дорогой в университет, кипел энергией и надеждами, и жил, весело проводя время с друзьями. Госпожа Удача продолжала улыбаться мне. В сентябре 1909 года я вернулся в Санкт-Петербург.

Глава пятая.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Вернувшись в столицу, я решил, после некоторых колебаний, поступить не в Санкт-Петербургский университет, а в недавно открытый Психоневрологический институт[1]. Программа обучения в нем казалась мне более гибкой, чем в университете, притом что профессорско-преподавательский состав в институте был не хуже. Помимо прочего, институт предлагал курсы лекций по социологии, читаемые двумя учеными с мировой известностью, — М. М. Ковалевским[2] и Е. Де Роберти[3], тогда как в университете этой дисциплине не обучали. В то время из всех областей науки более всего меня интересовали химия и социология. Несмотря на весьма разнородный характер этих наук, я очень долго сомневался, какой из них отдать предпочтение. В конце концов вопрос был решен в пользу социологии. Студенты института, в отличие от университетских, казались мне более активными и революционно настроенными и в основном были, так же как и я, выходцами из низших, рабоче-крестьянских сословий. Это и определило мой выбор, так что осенью 1909 года я стал студентом Психоневрологического института[4].

В противоположность американским университетам и колледжам в русских университетах и институтах в то время не требовалось обязательного присутствия на лекциях, семинарах или зачетах. Это было личным делом каждого студента. Точно так же

и в институте практически не было зачетов в течение всего академического года; вместо этого устраивался один, но очень обстоятельный экзамен в конце семестра. Обычно май и часть июня специально предназначались для сдачи экзаменов по всем предметам, изучаемым в течение года. Студенты, получившие неудовлетворительные оценки, автоматически отчислялись из университетов. Высшие учебные заведения не интересовало, как студенты приобретают знания, необходимые для сдачи строгих экзаменов в конце семестров, т. е. у администрации и преподавателей не было мнения, что эти знания можно получать, лишь присутствуя на лекциях, семинарах и зачетах. Вполне резонно считалось, что для этого есть и другие пути, если они удобнее для самого студента. Также вполне справедливо полагалось, что собственное желание студента учиться, подкрепленное одним жестким экзаменом в конце семестра или академического года, является более эффективным стимулом, чем множество контрольных работ и зачетов, сопровождаемых стрессами, которые нарушают систематический ход занятий и излишне обременяют как студентов, так и профессоров. Такая система была более свободной, плодотворной и творческой, нежели современная система с обязательным посещением лекций и частыми, но поверхностными тестами. По моему мнению, наша американская система особенно вредна для способных студентов и аспирантов.

Я сам не укладывался даже в такую свободную систему, характерную для русских университетов. После поступления в Психоневрологический институт я решил посещать только те лекционные курсы, в которых: а) профессор читает нечто оригинальное; б) эта оригинальная теория или система знаний важна и значительна; в) то, что читается на лекциях, нигде не опубликовано. Следуя этому правилу, я ходил только на половину лекционных курсов и в институте, и за все четыре года в университете. Все остальные дисциплины я изучал, с огромной экономией времени и сил, по трудам известных профессоров или по заслуживающим доверия учебникам. Преимущества моей системы занятий совершенно очевидны. В книгах ученые формулировали свои теории более точно, чем в лекциях; я мог изучать их труды более внимательно, перечитывая при необходимости неясные или трудные места, чего нельзя сделать на лекции; затем, читая книги, я мог делать по тексту самые разные заметки и выписки, что было бы невозможно в процессе слушания лекции. Более того, программа моих занятий могла быть гибкой, тогда как дни и часы лекций устанавливались жестко и часто весьма неудобно для меня. Наконец, чтобы посещать лекции, мне приходилось тратить по крайней мере два часа на дорогу пешком от нашей квартиры[5] до института и обратно. Следуя своему правилу, я управлялся с учебными курсами намного быстрее и с меньшими усилиями, чем если бы регулярно посещал лекции и семинары. Например, знаменитый курс профессора Петражицкого[6] «Общая теория морали и права»,

читавшийся им трижды в неделю целый год, я досконально проштудировал за две недели по трем томам, в которых была изложена его теория и введение к ней. Примерно так же я учил и другие предметы. На основе своего опыта я настоятельно рекомендую этот метод занятий всем способным студентам: он более эффективен, экономичен и производителен, чем система обязательного посещения, поскольку в большинстве лекционных курсов не содержится чего-либо нового и оригинального, которое нельзя найти в хороших книгах по этой проблеме.

Один значительный недостаток моей системы занятий заключался в нехватке личного общения с профессорами. Однако я легко преодолевал его, проявляя активность на семинарах и консультируясь непосредственно с известными преподавателями. Как и большинство настоящих ученых, они с радостью приветствовали способных студентов на своих семинарах и поощряли их на обсуждение персональных научных проблем. Именно изучением трудов, работой на семинарах, личными дискуссиями с такими профессорами, как Е. Де Роберти, М. М. Ковалевский и В. М. Бехтерев в институте, Леон Петражицкий, М. И. Ростовцев[7], И. П. Павлов[8], Н. Розин[9] и другие в университете, я добился репутации выдающегося студента и многообещающего молодого ученого, был избран председателем на семинарах этих профессоров, меня приглашали публиковать некоторые из моих работ в научных журналах. Я даже получил должность ассистента и секретаря М. М. Ковалевского, будучи еще студентом; и, наконец, в первый же год подготовки к профессорству стал сам читать лекции по социологии в Психоневрологическом институте и институте Лесгафта.

Помимо этих преимуществ моя «укороченная» система занятий оставляла больше свободного времени для заработков на жизнь и давала большую свободу во внеучебной научной, культурной и политической деятельности.

Поступив в институт, я по-прежнему был вынужден зарабатывать на жизнь репетиторством и случайными статьями для нескольких периодических изданий. Доходы от этого были весьма скромными, но душа в теле кое-как держалась. Вместе с Н. Д. Кондратьевым и его младшим братом мы снимали комнату в старой квартире. Три другие комнаты занимали трое юношей-студентов, две курсистки с Бестужевских курсов и хористка Народного дома. Плата за жилье составляла всего несколько рублей в месяц. Обычной едой у нас были чай с булкой и куском колбасы или сыра. Пища обходилась нам не более, чем в 10—12 рублей в месяц. На все про все вполне хватало 25—30 рублей. Конечно, этот уровень жизни нельзя назвать богатым, но он обеспечивал наше существование и, кроме всего прочего, не давал нам толстеть и расслабляться. Конечно, мы с Кондратьевым могли бы зарабатывать больше, но предпочитали тратить бóльшую часть времени и энергии на интересную творческую деятельность, чем на доходную, но скучную работу, которая, как мы полагали, ничего не дает на-

шему умственному, нравственному и культурному развитию. Уделяя внимание в первую очередь самому для нас главному — учебе и руководствуясь правилом, что средства достижения цели никогда не должны подменять саму цель, мы в итоге не оставались внакладе: год от года наши доходы увеличивались, а материальные обстоятельства улучшались. На следующий же год мы получили очень солидную стипендию в университете, затем стали ассистентами, затем начали читать лекции и получали более чем достаточные доходы. Скромный уровень жизни в тот первый год учебы никоим образом не помешал нам, наслаждаясь жизнью во всем ее богатстве, ощущать себя молодыми и полными сил.

Мы жили напряженной интеллектуальной жизнью, погруженные в занятия наукой, в дискуссии с преподавателями, студентами, друзьями, в написание первых научных работ. Наша совесть успокаивалась тем, что мы старались не предаваться слишком многим порокам, но и не иметь излишних добродетелей. Свои политические обязательства мы выполняли в виде подрывной просветительской работы среди рабочих, студентов и других социальных групп. Такую работу, за которую не получали ни копейки, а лишь рисковали быть арестованными и приговоренными к тюремному заключению царскими властями, мы считали важным нравственным и политическим долгом каждой «критически мыслящей и морально ответственной личности», используя популярное выражение П. Лаврова, одного из главных идеологов партии социалистов-революционеров. Помимо знакомства с шедеврами литературного творчества мы удовлетворяли свои эстетические запросы посещением время от времени симфонических концертов, опер и литературных чтений, музеев, картинных галерей и выставок, участием в студенческих литературных и музыкальных кружках и вечерах, в работе различных поэтических, литературных, музыкальных, художественных и актерских объединений, наконец, исполнением собственных стихов и скетчей на дружеских вечеринках и флиртом с хорошенькими студентками.

Несмотря на скромные материальные возможности, наша жизнь была наполнена смыслом, энергией и счастьем творческих занятий и надежд. Конечно, рядом с радостями и достижениями у нас были свои печали и разочарования, но они только помогали почувствовать прелесть нашей жизни.

Среди ведущих студентов института, с которыми я дружил, было несколько человек, вскоре ставших известными в качестве либо литературных критиков, как, например, В. Полонский[10] и В. Спиридонов, либо коммунистических публицистов и руководителей, как Кольцов[11], Смилга[12], Элиава[13], либо способных психологов и психиатров, как Г. Зильбург (которого мы называли «директор кордебалета» за его увлечение организацией различных танцевальных вечеров для студенток) и многие другие.

В тот первый год учебы я установил очень хорошие отношения с основателем института, всемирно известным психологом и пси-

хиатром В. Бехтеревым и с признанными лидерами мировой науки М. М. Ковалевским и Е. Де Роберти, специалистами в области социологии, антропологии, философии и экономической истории. Эти дружеские отношения окрепли в последующие годы и привели к тесному научному сотрудничеству между ними и мной — сотрудничеству, длившемуся до самой смерти выдающихся ученых.

Несмотря на плодотворные занятия в Психоневрологическом институте, в конце первого года учебы я решил покинуть его и поступить в Санкт-Петербургский университет. Основной причиной служило мое глубокое нежелание быть призванным в царскую армию[14]. Студенты всех государственных университетов были освобождены от призыва, а студенты недавно созданных частных институтов, вроде Психоневрологического, не имели такой привилегии, особенно те из них, кто был замечен в подрывной деятельности. Останься я в институте, меня бы, наверняка, призвали со второго курса. Считая принудительную воинскую повинность наихудшей формой насильственного порабощения свободного человека самодержавной властью, а военную службу — обучением искусству массового убийства, я не имел никакого желания попасть на нее и не рассматривал эту повинность как свой нравственный долг. В подобном отношении к призыву меня всецело поддерживали товарищи и педагоги. Они потихоньку советовали мне избежать призыва, поступив в университет. Следуя своему убеждению и советам, в конце весны 1910 года я подал документы в университет[15]. К моему удивлению, вскоре из университета пришел ответ, что меня не только принимают, но и выделяют стипендию за отличные оценки в аттестате зрелости и на экзаменах в институте[16]. Этой стипендии хватало не только на покрытие платы за обучение, но и на жизненные расходы[17]. Госпожа Удача продолжала улыбаться мне.

Окрыленный, с легким сердцем я поехал в Устюг и Римью на летние каникулы. Там, вместе с друзьями и родственниками, я отдыхал, помогал тете Анисье на сенокосе и уборке хлеба и начал полевые исследования форм брака и семейной жизни коми народа. Для выполнения этого исследования я должен был посетить несколько сел, где работал прежде с отцом и братом. Знакомый пейзаж все еще не испорченной природы, теплая компания старых друзей, сельскохозяйственный и научный труд — все это хорошо освежило меня, уставшего от городской жизни. То лето было действительно счастливым и плодотворным. В конце августа я вернулся в Санкт-Петербург.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

До революции 1917 года в университете не было ни факультета социологии, ни курса каких-либо лекций по социологии на других факультетах. Несмотря на отсутствие официального при-

знания социологии как науки, многие социологические проблемы обстоятельно рассматривались в лекционных курсах, посвященных праву, экономике, теории и философии истории, политическим наукам, криминологии, этнографии и т. д. Большинство таких курсов читалось на юридическом факультете, что и определило мой выбор этого факультета для продолжения образования и специализации. Среди профессоров факультета, помимо М. М. Ковалевского, были Леон Петражицкий[18], вероятно, самый великий ученый в области морали и права двадцатого столетия; М. И. Туган-Барановский[19], всемирно известный экономист, особенно много занимавшийся циклами деловой активности, проблемами социализма и теорией стоимости; Н. Розин и А. Жижиленко[20], выдающиеся криминологи и специалисты в области теории наказаний; Н. Покровский и Д. Гримм[21], заслуженные профессора в области римского права. Под дружеским руководством этих ученых, особенно Л. Петражицкого и М. Ковалевского на юридическом факультете, Е. Де Роберти в Психоневрологическом институте, М. И. Ростовцева и Н. О. Лосского[22] на факультете философии, шли мои занятия в университете. Мне просто повезло, что составляющие такое чудесное созвездие ученые были моими учителями, а позже и друзьями. Эти выдающиеся профессора не требовали, чтобы мы сильно принимали на веру их теории: именно этим они и отличались от ученых среднего уровня. Напротив, мэтры скорее даже поощряли обоснованно критическое отношение к их точке зрения и всей душой приветствовали проявление творческой оригинальности у студентов.

Высказываемые мной на семинарах высокие оценки научного вклада моих учителей, так же как и критика слабостей их теорий, и некоторые собственные конструктивные идеи, похоже, производили на мэтров благоприятное впечатление. Оно только усилилось благодаря нескольким антропологическим, социологическим, юридическим и философским исследованиям, опубликованным мной в солидных научных журналах в студенческие годы, и изданию моего первого основательного труда «Преступление и кара, подвиги и награда», когда я был еще третьекурсником (1913)[23]. В результате незаслуженно высокой оценки моих скромных научных достижений на втором и третьем курсах университета М. М. Ковалевский предложил мне должность своего приватного секретаря и ассистента в исследовательской работе, а Де Роберти — ассистента на его курсе и соредактора серии «Новые идеи в социологии». В то же время Петражицкий и Бехтерев пригласили меня быть соредактором «Новых идей в правоведении» и «Вестника психологии и криминальной антропологии»*[24].

---

* В книге «Pitirim A. Sorokin in Review» (Duke Univ. Press, 1963) под редакцией профессора Филиппа Оллена, посвященной анализу, оценке и критике моих социологических, психологических, философских, этических и юридических теорий известными учеными Америки, Европы и Азии, дана замечательно полная хронологическая библиография моих научных публикаций, включая наиболее важ-

В общем и целом, студенческие годы в университете были временем интенсивных и полезных научных занятий. В этот период я приобрел солидные знания в философии, психологии, этики, истории и естественных науках, не говоря уже о социологии и праве[25]. В двух последних науках я изучил все сколь-нибудь важные теории права, русского и европейского, историю русского, римского и европейского права, конституционное, гражданское и уголовное право по кодексам и сводам законов и наиболее важным западным и русским трудам в этой области. Еще более тщательно я изучил большинство классических трудов по социологии, философии истории и связанным с ними дисциплинам, включая последние западные работы таких авторов, как Э. Дюркгейм, Г. Тард[26], Г. Зиммель[27], Макс Вебер[28], В. Парето[29] и Вестермарк[30] и многих других.

Вместе с накоплением знаний в этих областях я продолжал строить целостную, более или менее единую систему мировоззрения. С философской точки зрения возникающая система взглядов была разновидностью эмпирического неопозитивизма или критического реализма, основывающаяся на логических и эмпирических научных методах познания. Социологически — это был некий синтез социологии Конта и взглядов Спенсера на эволюционное развитие, скорректированный и подкрепленный теориями Н. Михайловского, П. Лаврова, Е. Де Роберти, Л. Петражицкого, М. Ковалевского, М. Ростовцева, П. Кропоткина — из русских мыслителей, и Г. Тарда, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, М. Вебера, Р. Штаммлера[31], К. Маркса, В. Парето и других — из числа западных ученых. Политически — мое мировоззрение представляло из себя форму социалистической идеологии, основанной на этике солидарности, взаимопомощи и свободы. В целом это было оптимистическое мировоззрение, весьма схожее со взглядами большинства русских и западных мыслителей предреволюционного времени. Я и не предполагал, что мое «научное, позитивистское и прогрессивно оптимистическое» мировоззрение вскоре подвергнется жестокому испытанию историческими событиями, и, претерпев второй кризис, будет во второй раз пересмотрено и заново интегрировано. Этот второй кризис еще скрыт в потемках будущего. Тогда, в студенческие годы, я был полностью удовлетворен своим мировоззрением, не осознавая еще, что подобен «теленку, видящему мир сквозь розовые очки».

Чтобы закончить эту краткую хронику моей студенческой жизни, необходимо упомянуть: в 1914 году я окончил Санкт-Петербургский университет, имея диплом первой степени. По окончании университета мне предложили остаться при кафедре

ные работы, изданные в студенческие годы. Подобная библиография дана и Э. Тириакианом в книге «Sociological Theory. Essays in Honor of Pitirim A. Sorokin» (The Free Press of Glencoe, 1963). — *Здесь и далее звездочкой обозначены примечания самого автора, П. А. Сорокина.*

для подготовки к профессорскому званию. Я с радостью принял предложение, так как оно полностью устраивало меня и соответствовало моему выбору науки в качестве дела всей жизни. Очень хорошая стипендия, предоставленная мне по меньшей мере на четыре года подготовки к степени магистра и званию приват-доцента, обеспечивала мою жизнь и давала возможность все время посвящать науке[32]. Поскольку социологии не было в списке дисциплин, одобренных администрацией, я вынужден был выбрать одну из тех, что преподавались в университете. После некоторых колебаний я остановился на уголовном праве и пенологии, в качестве основной, и конституционном праве, в качестве вспомогательной областей специализации. Этим дисциплинам я отдавал большую часть времени в течение двух следующих лет моей аспирантуры. Углубленные занятия правом никоим образом не препятствовали моим социологическим трудам, которым я посвящал много времени в рамках выбранного поля специализации.

Своим обучением в университете я был доволен, заработав не только диплом и право быть «оставленным при университете для приготовления к профессорскому званию», но и репутацию способного молодого школяра, обещающего вырасти в выдающегося и творчески мыслящего ученого в ближайшие годы.

ПОЛИТИКА

Предшествующее изложение моих студенческих занятий не должно вызывать ложного чувства, что моя жизнь, как и жизнь многих студентов, была ограничена рамками тихого и скромного академического образования. Социально-политические условия в России между 1910—1914 годами не позволяли отгородиться от них наукой. Хотя революция 1905—1906 годов закончилась, ее последствия все еще сказывались и продолжали подрывать устои самодержавия и готовить новый режим ему на смену. Вся культурная, общественная и политическая жизнь страны находилась в состоянии сильного возбуждения, что проявлялось в возникновении и расцвете новых направлений в искусстве, в напряженной пульсации философской, социальной и гуманистической мысли, в распространении самых разных политических течений, как легальных, так и нелегальных. Интересуясь культурой во всех ее проявлениях и областях, я, естественно, был в курсе всех этих новых направлений и течений как член различных групп и объединений, как слушатель и участник приватных и публичных дискуссий. Такая деятельность дала мне контакты с целым рядом ведущих поэтов, писателей, музыкантов, художников, философов, публицистов и других знаменитостей.

Еще более активно я участвовал в политической жизни страны. Через Ковалевского, который был влиятельным членом Государственного Совета и лидером либеральной партии, и Петражиц-

кого, который являлся одним из руководителей конституционных демократов, я познакомился со многими государственными деятелями, членами Думы и руководителями консервативных и прогрессивных политических партий. Ковалевский, Петражицкий, Де Роберти и другие профессора знали о моей принадлежности к эсерам... Однако это никак не отражалось на наших добрых взаимоотношениях. Скорее они даже одобряли мои политические взгляды как нечто, вполне свойственное молодому человеку моего происхождения. Ковалевский часто полушутя представлял меня политикам как «молодого Жан Жака Руссо»[33], а Петражицкий, Де Роберти и другие комментировали это представление в том смысле, что «идеалистически-реалистический» характер моей политической идеологии имел, по крайней мере, одно достоинство — был свободен от узкого фанатизма и нетерпимости.

Мои отношения с эсерами и другими социалистами стали еще более тесными. «Подрывные» лекции, политические дискуссии и общественная работа среди заводских рабочих, студентов и интеллигенции, политические статьи, которые я начал печатать как в элитарных, так и популярных проэсеровских периодических изданиях, работа по организации ячеек и групп социал-революционеров — все это создало мне репутацию заметного идеолога и молодого лидера эсеровского толка.

Эта деятельность, естественно, связала меня с лидерами партии в Думе (Керенским[34] и другими) и иных государственных учреждениях, с издателями и редакторами сочувствующих эсерам журналов (вроде «Русского богатства» и «Заветов») и газет (легальных и нелегальных), не говоря уже о сотрудничестве с множеством простых членов партии и попутчиков.

Политическая активность и совместное обучение в университете были причиной завязавшихся дружеских отношений и сотрудничества с лидерами и членами социал-демократической партии, народными социалистами и другими радикалами. Дружба не мешала нам горячо спорить по поводу основных теоретических различий между идеологиями эсеров, большевиков и меньшевиков. Но эти дискуссии, за исключением нескольких публичных диспутов, проходили в основном дома, за столом, в неформальной и дружеской атмосфере товарищеских пирушек. Несмотря на нерегулярность таких дебатов, они были более полезны для нас, чем многие публичные диспуты и лекции. На неформальных встречах мы глубже проникали в предмет дискуссии, больше узнавали о проблеме и лучше оттачивали аргументы «за» и «против». Участвуя в таких сборищах, на семинарах у Петражицкого, Ковалевского, Туган-Барановского, в общей революционной работе, я подружился с несколькими студентами социал-демократами — Пятаковым, Караханом и другими, которые позже стали руководителями коммунистов и членами первого Совета народных комиссаров, возглавляемого Лениным. (Карахан[35] был комиссаром иностранных дел, Пятаков[36] — комиссаром промышленности и торговли.)

Тогда мы не предполагали, что несколькими годами позднее будем сражаться по разные стороны баррикад гражданской войны, и уж совсем я не догадывался, что эта дружба и моя работа среди заводских рабочих однажды спасут меня от расстрела коммунистами.

Этот эпизод часто напоминает мне мудрость библейской притчи о хлебе, брошенном в воду[37]. Человек редко представляет себе последствия своих действий, но в конечном счете хорошие дела приносят человеку добро, тогда как злые дела возвращаются ему страданиями. Вероятно, какой-то закон сохранения энергии человеческих деяний, подобно физическому закону, действует в мире людей. Возможно, что ни одно наше действие не исчезает бесследно и все поступки продолжают свое бытие в форме близких и отдаленных последствий.

НОВЫЕ АРЕСТЫ

Моя политическая работа привлекала все возрастающее внимание не только антисамодержавных сил, но и со стороны царской охранки и ее тайных агентов. Их «око недреманное» за моей деятельностью вскоре доставило новые неприятности. Уже на первом курсе университета полиция застукала меня с приятелями во время чисто дружеской вечеринки в моей комнате, арестовала и препроводила всех в ближайший участок. Будучи в приподнятом настроении (частично благодаря пиву и водке, выпитым на вечеринке) и не питая никакого уважения к представителям загнивающей власти, мы решительно отказались отвечать на вопросы полиции и начали петь и плясать так шумно, что полицейский начальник вскоре заорал на нас: «Вон из участка, вон отсюда!», что мы тут же и сделали, продолжая распевать во весь голос.

Это вряд ли бы стало возможно при сильной, уверенной в себе власти, но для рушащегося царского режима было не таким уж редким делом. Отжившие ценности больше не дают представителям власти чувства уверенности в себе, самоуважения и глубокой убежденности в правильности их официальных обязанностей и бюрократического порядка. Распад умирающего режима обычно деморализует их. Сталкиваясь с энтузиастами, приверженцами новых утверждающихся ценностей, агенты режима начинают сомневаться, теряются и часто не могут выполнять свои официальные обязанности. Я уже видел нечто подобное на примере части охранников в тюрьме города Кинешмы и наблюдал множество раз, встречаясь с чиновниками царского правительства. Похожая деморализация имеет место почти в каждом «загнивающем режиме» накануне его реформационного или революционного ниспровержения, начиная с самых ранних данных о восстаниях в Древнем Египте (примерно 3000—2500 г. до н. э.) и кончая недавними[38] революциями или перестройками таких больных

режимов, как кубинский, корейский, южновьетнамский, японский и некоторые латиноамериканские. Подобно России, антиправительственным выступлениям там тоже предшествовали студенческие демонстрации и схватки с полицией, и точно так же полиция часто была не в состоянии справиться с этими демонстрациями. Так что эпизод с нашим арестом и освобождением был довольно типичен.

В годы учебы такие аресты и освобождения меня самого и других революционно настроенных студентов случались столь часто, что мы относились к этому, как к совершенно обычным и неизбежным неприятностям, и даже не особенно беспокоились за последствия.

Помимо этих мелких помех, молодые и старые революционеры время от времени сталкивались с другими мерами наказаний, такими, как длительное заключение и ссылки. Угроза такого рода нависла надо мной в бытность студентом первого года обучения в университете. Угроза возникла в связи со студенческими демонстрациями по всей стране, вызванными смертью Льва Толстого 7(20) ноября 1910 года. В напряженной политической атмосфере России уход Толстого от семьи из своего имения перед смертью и затем сама его смерть послужили искрой для серьезных антиправительственных студенческих беспорядков и выступлений преподавателей университетов и институтов. Беспорядки продолжались несколько недель и нарушили обычную академическую жизнь многих высших учебных заведений. Царское правительство пыталось их подавить жесткими мерами: массовыми арестами, тюрьмами, ссылками, применявшимися особенно к зачинщикам. Будучи одним из них, я, естественно, ожидал попыток арестовать и посадить в тюрьму, если, конечно, удастся схватить меня. Не имея никакого желания снова идти под суд, я принял необходимые меры, чтобы избежать этой опасности, и ночевал у друзей, приходя к себе в комнату только на несколько минут, когда условный знак показывал мне, что за квартирой нет слежки и что меня не ждет засада.

В январе 1911 года жандармы — «архангелы» — явились за мной. Не найдя меня дома, обыскав тщательно комнату и не обнаружив никаких обличающих свидетельств, они ушли арестовывать других зачинщиков. Узнав об их визите, я удвоил меры предосторожности. Около недели мне удавалось успешно избегать «архангелов» и «фараонов», усиливших сыск и активно интересовавшихся моим участием в студенческих волнениях[39].

Не знаю, арестовали бы меня или нет, останься я в Санкт-Петербурге, но непредвиденное обстоятельство спасло меня от такого нежелательного исхода. Один из моих друзей, инженер, тяжело болел туберкулезом. В числе прочих средств лечения доктора прописали ему путешествие на итальянскую Ривьеру в сопровождении сиделки или друга для помощи в пути. Подыскивая такого компаньона, инженеру и его друзьям пришла в голову идея пред-

ложить мне эту роль. Больной товарищ сказал мне, что мое общество будет ему приятнее, чем чье бы то ни было, и тем самым я убью двух зайцев: избегу ареста и помогу другу. Сначала я возражал против этого плана, так как не обладал необходимыми познаниями в ухаживании за больными. Друзья, сам инженер и доктора отвечали на возражение уверениями, что с помощью лекарств и инструкций по их применению, а также правильного питания я смогу обслужить больного не хуже любой сиделки. Как только я принял предложение, товарищи достали мне фальшивый паспорт, форму курсанта Военно-медицинской академии и все необходимые для успешного перевоплощения удостоверения и принадлежности. Они даже обучили меня, как правильно отдавать честь, обращаться с саблей и другим навыкам и выражениям, приличествующим курсанту академии. План был реализован без сучка и задоринки. За все путешествие мы ни разу не попали под подозрение, включая и моменты переезда границ России, Австрии, Швейцарии, где мы подвергались поверхностным расспросам и проверке багажа и паспортов. После нескольких дней поездки в комфортабельном купе международного спального вагона мы благополучно достигли Сан-Ремо. Там мой товарищ поселился в предписанном докторами санатории, а я жил в местных гостиницах около двух недель.

Это нежданное-негаданное путешествие было моей первой поездкой в Западную Европу и дало первое впечатление о «высоко цивилизованных» (как я тогда думал) странах[40]. В целом эти впечатления были приятными. Фермы, сельская местность, города казались мне весьма привлекательными, процветающими и аккуратными. Жизненные стандарты там были намного выше, чем в России, а люди более свободны, удовлетворены и отмечены чувством собственного достоинства. Солнечная Ривьера, Средиземноморье, горы, курортные города — все выглядело красивым и восхитительным. Русские и иностранцы, которых я встречал в отеле, были приятными и готовыми помочь людьми. Они показывали мне Ниццу и Монте-Карло, где, по их предложению я даже рискнул сыграть в казино и за несколько минут выиграл две-три сотни франков. После двух недель приятных каникул я попрощался с больным другом и отправился обратно в Россию. Один вечер я провел в Вене, где помимо прочего приобрел недавно опубликованую книгу Г. Зиммеля «Социология». Благополучно добравшись до Санкт-Петербурга, я снова повел свой обычный образ жизни.

Пик студенческих волнений уже прошел. С их завершением упала и активность полиции в поисках подрывных и революционных элементов. Началась обычная академическая жизнь, но некоторые глупые студенты, оставшиеся верными прежней линии поведения, направленной на отказ от занятий и экзаменов, до тех пор пока университетам не будет обеспечен требуемый минимум свобод, продолжали упорствовать. Я был одним из этих глупцов.

В конце академического года, будучи хорошо подготовлен к экзаменам, я не стал сдавать их в знак протеста против самодержавия и подавления академических свобод[41]. Эта глупость стоила мне стипендии на следующий год: независимо от желания университетская администрация вынуждена была лишить меня стипендии за отказ от экзаменов как неаттестованного. Я воспринял это наказание легко, как малую цену за выполнение обязательств и сохранение самоуважения. Впоследствии стипендия была вновь предоставлена мне на третьем и четвертом курсах.

Последнее мое тюремное заключение при царском режиме имело место в 1913 году, т. е. в год трехсотлетия династии Романовых в России. По предложению партии эсеров я согласился написать критический памфлет о преступлениях, ошибках и упущениях в управлении страной этой династии. К несчастью, один из членов партии, знавший о нашем плане, оказался агентом-провокатором царской охранки. (В это время в эсеровскую и социал-демократическую партию удачно проникли агенты охранного отделения. Некоторые из шпиков смогли стать руководящими деятелями этих партий, как, например, Азеф[42] у эсеров, и Черномазов[43], близкий друг Ленина и главный редактор ленинской «Правды», у социал-демократов.) Провокатор тут же проинформировал охранное отделение о задуманном памфлете и его авторе. Возвращаясь домой поздним мартовским вечером 1913 года, я обнаружил «архангелов», поджидавших меня[44]. Я был арестован и посажен в предварилку, которую знал, так как навещал сидевших здесь ранее профессоров, студентов и революционеров (аресты и краткосрочные заключения ученых и студентов происходили очень часто в те годы). Жандармы посадили меня в чистую и весьма комфортабельную камеру, если вообще тюремная камера может быть таковой. После обычных допросов я обвыкся и стал работать в тюрьме, насколько это было возможно.

Из очень хорошей тюремной библиотеки я взял несколько книг, в том числе «Жизнь на Миссисипи» Марка Твена, которую не читал прежде. Я был покорен книгой моего любимого писателя и даже не представлял, что когда-нибудь в будущем стану жить на берегах этой реки (в Миннеаполисе) и увижу ее от истоков у озера Итаска (штат Миннесота) до устья в штате Луизиана.

Нам редко дано предвидеть важные последствия наших поступков и события, которым суждено случиться в нашей жизни. Царские власти продержали меня в тюрьме около трех недель[44]. Не имея доказательств, что именно я написал памфлет, под нажимом М. Ковалевского и других влиятельных персон, депутатов Государственной Думы и членов Государственного Совета, полиция была вынуждена выпустить меня.

Это заключение стало последним при царе. Во всех моих отсидках со мной обращались прилично и гуманно, чего не могу сказать о методах коммунистов, которые я испытал на себе несколькими годами позже. Их методы были действительно жестоки и не-

гуманны. Они просто уничтожали всех подряд: и заключенных, и родственников, и друзей, и целые социальные группы, к которым они принадлежали. Царские тюрьмы можно назвать чистилищем в сравнении с адом коммунистических тюрем и лагерей.

К моему счастью, в 1913 году прелести заключений при коммунистах были в далеком будущем. Когда я вышел из ворот следственной тюрьмы, меня захлестнула радость вновь обретенной свободы. Счастливый и полный энергии, я вернулся к прежним занятиям на следующий же день.

В целом моя жизнь (да и жизнь моих друзей) в эти годы была полна событий, впечатлений и значения. Ни скука, ни опустошенность, ни чувство бесцельного существования, ни страхи не были нам знакомы. В общем, это была полновесная жизнь — *per aspera ad astra*[46].

Глава шестая.

ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССОРСТВУ: 1914—1916 ГОДЫ

ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕПЕНИ МАГИСТРА*

«Приготовление к профессорскому званию» в русских университетах примерно соответствовало аспирантуре в американских учебных заведениях. Однако схожих черт между ними было едва ли больше, чем различий. От молодых ученых, оставленных для подготовки к профессорскому званию, не требовалось ходить на лекции и семинары, сдавать какие-либо экзамены или выполнять курсовые работы. Им было необходимо лишь сдать устный экзамен на степень магистра. По меньшей мере 99 процентов всех кандидатов на звание профессора должны были вначале сдать этот устный экзамен, а затем представить и успешно защитить магистерскую диссертацию, после того как специальная комиссия уважаемых специалистов-профессоров нескольких университетов допускала их к защите. Только в очень редких случаях, когда выходящий на защиту магистерской диссертации ученый уже был хорошо известен, ему иногда присваивали сразу степень доктора, руководствуясь его значительными достижениями и выдающимися результатами и важностью его диссертационной работы. Так случилось с великим русским философом Владимиром Соловьевым[1], со знаменитым статистиком и методологом науки А. А. Чупровым[2] и с выдающимся специалистом по экономической истории Петром Бернгардовичем Струве[3]. За этим небольшим исключением все остальные соискатели профессорства должны были успешно выполнить означенные требования на степень магистра.

Получив степень, любой магистр мог поступить в любой уни-

---

* Требования на степень магистра в российских университетах были значительно выше, чем требования на степень доктора философии в американских и немецких университетах.

верситет в качестве приват-доцента и вести любой лекционный курс или семинар в своей области, в том числе и конкурирующий или дублирующий курсы, читаемые ординарными профессорами.

Зарплата лекторов из числа приват-доцентов была много ниже, чем у ординарных профессоров. Но если приват-доцент был выдающимся ученым и популярным лектором, он часто имел больше студентов, записывающихся на его курс, и, соответственно, больший доход, чем у менее знаменитого полного (ординарного) профессора. Точно так получилось с приват-доцентом М. Туган-Барановским и профессором Георгиевским в Санкт-Петербургском университете. Оба они читали параллельные курсы по политической экономии, но число студентов, записывавшихся на курс Туган-Барановского, было во много раз больше, чем у Георгиевского. Их доходы также разнились соответственно. В конце концов талантливый приват-доцент получил должность то ли экстраординарного, то ли ординарного профессора. И вообще, честная конкуренция в научном творчестве играла более важную роль в российских, нежели в американских университетах.

Из-за более жестких требований к кандидатам на степень магистра, чем требования к будущим докторам философии в Америке, большинство русских профессоров имели только магистерскую степень. Степень доктора присуждалась лишь выдающимся профессорам, чьи диссертации имели гораздо большее научное значение, чем рядовые магистерские тезисы. Диссертации на обе степени обязательно представлялись в виде значительных по объему опубликованных работ. Устный экзамен не предусматривался для докторской степени.

После моего назначения на подготовку к профессорству преподаватель криминального права Н. Розин дал мне список около 500 названий русских и зарубежных трудов по криминологии. Профессор А. Жижиленко вручил мне подобный список из 250 работ по уголовно-процессуальному законодательству, профессор Н. Лазаревский добавил примерно 150 названий по конституционному праву. Некоторые из этих трудов, как, например, немецкий «Vergleichende Darstellung» по криминальному праву и процессу (подготовленный известными немецкими профессорами для нового проекта уголовного кодекса Германии) состояли из почти сотни солидных томов. Передавая мне списки литературы, профессора говорили, что я должен показать хорошее знание этих работ, чтобы успешно сдать экзамен на магистра. Их не интересовало, как я буду овладевать этой массой знаний, но овладеть ими я должен. Если время от времени мне понадобятся консультации с ними или другими преподавателями, я могу рассчитывать на их помощь. Вот эти-то списки с такой очень короткой инструкцией и представляли собой все требования к устному испытанию на степень магистра.

До первой мировой войны подготовка к этим экзаменам занимала четыре года и даже более того. В течение такого срока

соискатели обычно на год-два уезжали за границу поработать с зарубежными знаменитостями в своей области. Но моя подготовка проходила в годы войны, в период, когда поездка за рубеж и работа с иностранными учеными стали невозможны[4]. Поэтому я был вынужден заниматься в России, без преимуществ занятий и консультаций с зарубежными специалистами. Некоторые из их работ военного времени продолжали каким-то образом поступать в университетскую библиотеку. Например, уже в декабре 1916 года мне удалось разыскать там трактат по общей социологии В. Парето, только что опубликованный в Италии.

Другие кандидаты в профессора были в сходном положении в годы войны. Несмотря на изоляцию от западной науки и зарубежного ученого сообщества во время первой мировой войны и еще большую изоляцию сразу после коммунистической революции, из нашей группы кандидатов вышло несколько всемирно известных ученых. Среди них были доктор Георг Гурвич, сейчас преподает в Сорбонне, Н. С. Тимашев, заслуженный социолог Гарвардского и Фордхэмского университетов, Макс Лазерсон, профессор конституционного права в Рижском университете и в университете Тель-Авива, а также научный сотрудник Фонда Карнеги. К ним следует добавить уже упомянутых профессоров Н. Кондратьева, Т. Райнова и нескольких других. Из нашей группы вышли также некоторые политики: доктор Пийп, первый премьер-министр Латвии[5], первые государственные деятели Эстонии и коммунистические лидеры Пятаков, Карахан и др.

Несмотря на большие препятствия, многие кандидаты в магистры из нашей группы, едва насчитывавшей около двадцати человек, сумели стать известными учеными и политиками. Это показывает, что отбор кандидатов для будущего профессорства был очень тщательным. Это также может означать, что полная свобода, предоставленная кандидатам в процессе их приготовления к высокой степени, является намного лучшим методом, чем американская жестко заданная система аспирантской подготовки, совершенно школярская по характеру, где все требуемые знания расписаны по лекционным курсам. Если в плодотворности нашей «принудительной» системы обучения сомневаются даже младшекурсники, то мне она представляется просто вредоносной для творческой оригинальности, если речь идет об аспирантах. Чем скорее американские университеты откажутся от школярства при подготовке аспирантов, тем лучше будет для всех: талантливых студентов, самих университетов и нации в целом.

Освобожденный от денежных забот, благодаря приличной стипендии, в течение 1914—1916 годов я мог отдавать все свое время подготовке к магистерскому экзамену и социологическим исследованиям. С молодым задором отдавшись этим двум занятиям, я в рекордный срок — за два года вместо обычных четырех или более лет — подготовился и успешно сдал устный экзамен на степень магистра в октябре—ноябре 1916 года.

Еще раз подчеркну, что такой экзамен был сложнее, чем испытание на степень доктора философии в американских университетах. Во-первых, экзамен занимал четыре дня: день — на уголовное право, день — на судопроизводство, день — на государственное право и последний — на написание обстоятельного эссе по теме, которую предлагала экзаменационная комиссия. Каждый день экзамена длился от трех до пяти часов. Во-вторых, в состав экзаменаторов входили не только члены специальной комиссии, создаваемой именно для этих целей, но и большинство профессоров всего юридического факультета, объединявшего специалистов в областях права, экономики и политических наук. Поэтому круг вопросов, которые задавали профессора, был шире, а сами вопросы сложнее, чем на экзаменах в американских университетах, где в комиссию входят всего три-четыре члена.

После экзамена я получил звание «магистранта уголовного права», что позволяло мне стать приват-доцентом Санкт-Петербургского университета. Что касается степени магистра уголовного права, то я должен был представить одобренную университетской комиссией диссертацию и защитить ее в весьма напряженном диспуте с официальными оппонентами, назначенными университетом, неофициальными оппонентами и любым желающим высказаться из числа публики. День защиты магистерской или докторской диссертации был праздничным событием, более важным, чем даже день игры университетской команды по американскому футболу или встреча выпускников прошлых лет в США. Дата диспута заранее объявлялась в университетских изданиях и всех солидных газетах. Для диспута специально резервировали одну из самых больших аудиторий университета. На диспуте, который проводился под председательством ректора или проректора, присутствовали все преподаватели соответствующего факультета, некоторые профессора с других факультетов, желавшие послушать защиту, много специалистов извне университета, многие студенты и большое количество заинтересованной публики.

При таком стечении народа диспут открывался, и зачитывалась Curriculum vitae[6] соискателя и список его основных публикаций и научных достижений. Затем каждый официальный оппонент высказывал критику работы, особо выделяя слабые или сомнительные места в ней. На высказанные критические замечания соискатель отвечал по пунктам каждому из выступавших. Вслед за официальными выступали неофициальные оппоненты — факультетские преподаватели, желавшие участвовать в обсуждении, внешние эксперты и, наконец, любой человек из числа присутствующих. На каждое из критических замечаний опять-таки диссертант должен был сразу же отвечать. Весь диспут обычно продолжался от пяти до семи часов.

По завершении проводилось тайное голосование между всеми преподавателями факультета, пришедшими на диспут, по поводу

присвоения соискателю степени доктора или магистра. Вопрос решался простым большинством.

Обмен критикой и ответами на нее представлял собой одно из наиболее волнующих и возбуждающих зрелищ, которым я когда-либо был свидетелем. В этих научных дебатах стороны обнаруживали глубочайшее знание предмета, отличную логику, юмор, мудрость и блестящую оригинальность мысли. Это в самом деле была чудесная баталия зрелых и компетентных умов, столкнувшихся в совместном поиске истины и достоверных знаний. Как для участников диспута, так и для всех присутствующих на нем, она была ярчайшей демонстрацией творческих потенций и настоящим интеллектуальным наслаждением. Понятно, что каждый такой диспут подробно освещался в прессе и служил темой для дискуссий в интеллектуальных кругах еще некоторое время после самого диспута. Я могу только глубоко сожалеть, что в американских университетах не бывает таких праздников мысли.

Из-за этого, так же как и из-за раздачи степеней влиятельным финансистам и политикам, не сделавшим никакого вклада в науку, наши университеты серьезно отклонились от своего предназначения и уронили достоинство научной степени и свой научный престиж в целом.

Получив степень магистранта уголовного права, я рассчитывал в качестве диссертационной работы представить мой солидный труд «Преступление и кара, подвиг и награда», опубликованный в 1913 году. Предварительные отзывы профессоров Санкт-Петербургского и некоторых других университетов были большей частью благоприятными. Для защиты была создана комиссия в феврале 1917 года. Мои планы, однако, были нарушены произошедшими случаями насилия и беспорядков и начавшейся вслед за ними русской революцией в феврале 1917 года. Беспорядки и воспоследовавший революционный взрыв полностью прервали нормальную университетскую жизнь, включая и процедуру присвоения научных степеней. Коммунистическая революция в октябре 1917 года и начавшаяся вскоре гражданская война продлили паралич практически всех функций университета до 1918 года. В 1918 году правительство коммунистов выпустило декрет, полностью отменяющий научные степени и звания во всех вузах. Эти революционные обстоятельства объясняют, почему мое намерение выйти на защиту магистерской диссертации провалилось и почему мне пришлось ждать до 22 апреля 1922 года, чтобы получить степень доктора социологии[7], защитив диссертацию, в качестве которой я представил два тома моей «Системы социологии», опубликованных в 1920 году.

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА МОЕЙ ДИССЕРТАЦИИ

Находясь в очень зависимом, приниженном и далеком от нормального состояния, университеты начали постепенно оживать в

1919—1921 годах. По мере возобновления университетских функций старые преподаватели, т. е. дореволюционные ученые, в противоположность «красным профессорам»[8], назначенным коммунистическим правительством, потихоньку, если и не официально, то по крайней мере на практике, восстановили научные степени в форме, близкой к дореволюционной. Новые требования к соискателям были все-таки несколько менее суровые, чем раньше. Преподаватели университетов знали по собственному опыту, что в условиях голода, нехватки предметов первой необходимости, постоянных эпидемий и мерзости запустения, вызванных гражданской войной, в атмосфере постоянного преследования ученых некоммунистических убеждений, жесткого правительственного террора и полной личной незащищенности ученых невозможно вести какую-то серьезную научную работу. В эти годы только малая часть некоммунистических ученых смогла сделать что-либо значительное. Большинство же занималось обычной преподавательской деятельностью. В таких условиях ослабление требований для защиты было вполне понятным и простительным. Другим новшеством было то, что из-за правительственного запрета научных степеней в конце публичной защиты диссертации профессора не могли голосовать „за" или „против" присвоения соответствующей степени соискателю, вместо этого они голосовали за формулировку «считать (или не считать) диссертацию успешно защищенной». Этот вердикт формально не противоречил запрету, но фактически подтверждал присвоение или неприсвоение научной степени диссертанту.

Несмотря на очень сложные и суровые условия моей личной жизни в 1918—1920 годах (их я опишу в последующих главах), мне удалось каким-то образом написать кроме двух учебников по общей теории права и социологии два объемных тома «Системы социологии». Мне удалось не только написать, но и, что намного труднее, опубликовать эти «подрывные» тома нелегально. Это чрезвычайно сложное, незаконное издание в то время, когда без визы коммунистической цензуры нельзя было напечатать простой визитной карточки или таблички с надписью «Выход», осуществилось лишь благодаря героическим усилиям моих друзей — Ф. И. Седенко-Витязева[9], руководителя издательства «Колос» и его сотрудников[10], а также работников двух национализированных (Второй и Десятой государственных) типографий в Санкт-Петербурге.

Будучи моими личными друзьями и сочувствуя моим политическим взглядам и общественной позиции, они тайно осуществили набор книги, подделали разрешение цензуры и, поставив на титульных листах необходимый штамп — Р.В.Ц. (разрешено военной цензурой), отпечатали по десять тысяч экземпляров каждого тома[11], а затем быстро распространили и распродали весь тираж за две-три недели. Когда коммунистические власти узнали об издании, они распорядились конфисковать все отпечатанные экземп-

ляры. Однако их агенты едва ли нашли и уничтожили хотя бы одну книгу. Конечно, чекисты пытались арестовать меня и Седенко, но мы, ожидая этого, ушли в подполье и оставались там, пока не утихли страсти. (В те годы чекистам приходилось арестовывать так много людей, что они не могли себе позволить тратить слишком много времени и сил на поиски одного человека. Если его не удавалось взять за несколько дней, они были вынуждены прекратить поиски, чтобы заняться другими жертвами.)

После фактического восстановления научных степеней и системы их присвоения в конце 1921 года, деканы факультетов и профессора Санкт-Петербургского университета убедили меня представить два тома «Системы социологии» в качестве докторской диссертации[12]. (Социология вошла в число изучаемых в университете дисциплин при Временном правительстве Керенского в 1917 году, а в 1919—1922 годах была образована специальная кафедра социологии, руководителем которой избрали меня.) После некоторых раздумий я последовал их совету и представил на юридический факультет свои два тома. Специальная университетская комиссия одобрила мою диссертационную работу и назначила 22 апреля 1922 года днем публичной защиты.

По счастливой случайности я сумел сохранить обзорную статью из журнала «Экономист» (№ 4—5, 1922 г.), озаглавленную «Диспут профессора П. А. Сорокина». Статья содержит детальный отчет о публичной защите моей диссертации. В ней сказано, что диспут под председательством декана факультета профессора И. М. Гревса[13], известного специалиста по истории средних веков, состоялся в большой физической аудитории, до отказа заполненной преподавателями, студентами, учеными извне университета, журналистами и заинтересованной публикой. В начале этого памятного заседания ученый секретарь факультета огласил биографические сведения о диссертанте и список его трудов. Затем последовало вступительное слово П. А. Сорокина, открывшее диспут. В своем выступлении он отметил основные принципы, преемственность, методы и цели двух томов его работы. После этого выступили официальные оппоненты, назначенные университетом: известный профессор социологии К. М. Тахтарев[14], заслуженный ученый, историк и социолог профессор Н. И. Кареев[15] и знаменитый профессор философии И. И. Лапшин[16]. Каждый из них, дав общую высокую оценку труда Сорокина, подвергал далее детальной критике его слабые и сомнительные стороны. Диссертант энергично защищался по всем пунктам предъявленных ему критических замечаний. Вслед за официальными оппонентами в диспуте выступили несколько других ученых, например, бывший вице-президент I Государственной Думы, профессор Н. А. Гредескул и профессор экономики С. Н. Тхоржевский[17]. Дебаты продолжались в общей сложности шесть часов и закончились тайным голосованием профессоров факультета. Статья в «Экономисте» отмечает в конце, что «ввиду отмены в настоящее время ученых

степеней диспут закончился заявлением проф. Н. М. Гревса о единогласном признании работы удовлетворительной. Многочисленная публика наградила диспутанта долго несмолкаемыми аплодисментами»[18].

В тот вечер я устал, но был счастлив, что удачно прошел сквозь огонь и воду. Последующие события показали, что дата публичного диспута также была выбрана удачно. Если бы ее перенесли на два-три месяца позже, защита никогда не состоялась бы, поскольку вскоре правительство коммунистов возобновило свои попытки арестовать меня, и в сентябре 1922 года я был выслан за пределы России, в которую с тех пор не возвращался.

С момента опубликования «Системы социологии» прошло почти 44 года. Я редко без настоятельной необходимости перечитываю свои книги после того, как они изданы. За эти 44 года такая необходимость возникала несколько раз во время работы над «Социальной и культурной динамикой» (1937—1941), «Социальной мобильностью» (1927), «Современными социологическими теориями» (1928) и «Обществом, культурой и личностью» (1947). В результате я обнаружил, что, несмотря на отдельные недостатки, «Система социологии» дает, как мне кажется, первую логически систематизированную и эмпирически детализированную теорию социальных структур: «Строение простейших социальных систем» в томе первом и «Строение сложных социальных систем»[19], развернутое в томе втором. Если в этих более поздних работах я и повторял в краткой форме теоретические положения, разработанные в «Системе социологии», то только по той причине, что в мировой литературе по социологии и социальным наукам не находил другую теорию, которая была бы более научна, логически последовательна и лучше объясняла эмпирические данные, чем моя собственная теория. Вместе с учением о социальных структурах в «Системе социологии» уже содержался набросок теории социальной мобильности, позднее впервые разработанной мною в монографии «Социальная мобильность»[20].

Учитывая, что эти позднейшие публикации моих трудов были переведены на множество языков, служили учебниками в университетах многих стран Запада и Востока, открыли новые области социологических исследований и породили большое количество литературы, посвященной моим теориям, можно уверенно сказать, что вердикт, вынесенный голосованием на том диспуте в университете Санкт-Петербурга, был справедлив. Моя диссертация действительно полностью отвечала требованиям к такого рода работам и была успешно защищена диссертантом от критики официальных и неофициальных оппонентов на диспуте, так же, впрочем, как и от других критиков моей теории, нападавших на нее за прошедшие со дня публикации сорок четыре года.

Этим я закончу рассказ о публичной защите «Системы социологии». В нем шла речь о событиях, случившихся в 1922 году, а не в 1914—1916 годах, т. е. в период времени, с которого начи-

налась глава. Я вставил его в данную главу, чтобы повествование о моем соискательстве ученой степени в России было полным. Далее я снова могу вернуться к сжатому изложению иных аспектов моей жизни в 1914—1916 годах.

ЖИЗНЬ СРЕДИ УЖАСОВ ВОЙНЫ И ГРОМОВЫХ РАСКАТОВ ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ РЕВОЛЮЦИИ

Предшествовавшее изложение моей научной судьбы в 1914—1916 годах не должно создавать ложного впечатления, что моя деятельность была ограничена строго академическими рамками. Это касается и других русских ученых. Полностью посвятить себя наукам и искусствам во время пожара мировой войны и в предгрозовой атмосфере приближающейся революции было невозможно. В царской России университетская профессура и студенты освобождались от призыва в вооруженные силы (очень мудрое правило, решающее для благосостояния любой нации). Несмотря на это, они добровольно участвовали в обороне Отечества — каждый ученый или студент, работая в той области, где его специальные знания были более всего полезны. Подобно многим другим ученым-обществоведам, я работал в разных комитетах по организации и мобилизации экономических ресурсов науки, по обеспечению армии, по предоставлению инвалидам и ветеранам, а также действующим военнослужащим армии и флота возможностей для отдыха и образования. Кроме участия в различных комитетах, я интенсивно читал лекции на общественных началах различным военным и гражданским аудиториям.

Наряду с такой патриотической деятельностью многие из нас проводили не менее нужную работу, разрабатывая планы, намечая пути и средства действий (наших и нации в целом) в случае приближающегося падения самодержавия и поражения России от германской армии. Если в начале войны царское правительство поддержала вся нация, то его неготовность и растущая неспособность успешно вести оборону страны быстро подорвали патриотическую поддержку, доверие к правительству и его престиж. Уже в 1915 году многие из нас были уверены, что дни режима сочтены и необходимо строить какие-то планы основательной перестройки общества и принимать решения, позволяющие справиться с усиливающейся разрухой и проникновением врага в глубь русской территории.

В конце 1916 и январе 1917 года общая ситуация в стране стала критической. Несколько строк из моей книги «Листки русского дневника» живописуют ее:

«Ясно, что мы на пороге революционной бури. Авторитет царя, царицы и правительства ужасно низок. Поражение русских армий, нищета, недовольство масс неминуемо вызовут новый революционный взрыв. Речи Шульгина[21], Милюкова[22] и Керенского в Думе и особенно обвинение правительства в «глупости и измене»[23], брошенное Милюковым, вызвали опасное эхо по всей стране.

...Университетская жизнь приходит во все большее и большее расстройство. На стенах туалетов можно уже прочитать: «Долой царя!», «Смерть царице Распутина!» ...Газеты стали дерзко нападать на правительство. Цены пугающе растут. Хлебные очереди все длиннее и длиннее. Горькие жалобы бедных людей, часами выстаивающих в этих очередях, превращаются во все более мятежные разговоры... Солдаты, возвращающиеся с фронта, отзываются о правительстве с ненавистью и исключительной враждебностью.

...Уличные демонстрации женщин и детей бедняков, требующих «хлеба и селедки», становятся все более многочисленными и шумными. Бунтующая толпа сегодня остановила трамвайное движение, перевернув несколько вагонов, разгромив множество магазинов и даже нападая на полицейских. Многие рабочие присоединились к женщинам; стачки и беспорядки быстро распространяются. ...Русскую революцию начали голодные женщины и дети, требующие «хлеба и селедки», начали с разрушения уличного транспорта и грабежа небольших лавок. И только позже вместе с рабочими и политиками они замахнулись на разрушение такого мощного сооружения, как русское самодержавие. Обычный порядок жизни сломан. Магазины и учреждения закрыты. В университете вместо лекций идут политические митинги. На пороге моей страны стоит Революция. ...Полиция пребывает в бездействии и нерешительности. Даже казаки отказываются разгонять толпу. Это означает, что правительство беспомощно и его аппарат сломлен. Бунтовщики начали убивать полицейских. ...Конец близок... или это только начало?

...Политики всех партий, интеллектуалы всех направлений мысли, умственно и нравственно обанкротившаяся знать заняты бесконечными политическими дискуссиями и проектами.

...На вчерашнем митинге депутатов, политиков, ученых и литераторов в доме Шубина-Поздеева даже наиболее консервативные из них говорили о приближающейся революции как о несомненном факте. Князья и графы, помещики и предприниматели дружно рукоплескали жесткой критике правительства и приветствовали наступающую революцию. Видеть их, томных, изнеженных, привыкших к жизни в комфорте, призывающими к революции было забавно. Я словно бы увидел представителей французской правящей элиты накануне Великой французской революции. Подобно русской, французская изнеженная аристократия радостно приветствовала бурю, не понимая, что она может отнять у нее не только имущество, но и саму жизнь».

Будучи идеологом социал-революционеров, я активно участвовал в дискуссиях и строил планы нового конституционного устройства России, основных социальных реформ, необходимых после падения режима, и наиболее разумных действий в связи с мировой войной. Этот последний вопрос резко расколол все социалистические партии на «социал-патриотов» и «интернационалистов».

Обе фракции желали скорейшего окончания войны, но социал-патриоты были против сепаратного мира с немцами и за продолжение боевых действий до того, как западные союзники не будут готовы заключить мир с врагом.

Выступая с противоположных позиций, интернационалисты предпочитали сепаратный мир с Германией, безотносительно к политике наших союзников: если те желают закончить войну — хорошо, нет — тогда интернационалисты хотели безотлагательно прекратить боевые действия и заключить мир с германской коалицией. Большая часть эсеров, эсдеков (меньшевиков) и других социалистов поддержали позицию социал-патриотов. Подавляющее большинство большевиков и левых эсеров были интернационалистами. Возглавляемые Лениным, они стремились заменить войну между нациями глобальной «классовой войной». «Мир — хижинам, война — дворцам!» — было их лозунгом.

Прав я был или нет, не знаю, но я одобрял позицию социал-патриотов. В то время я еще питал идеалистические иллюзии по поводу союзнических правительств Запада. Я еще верил в честность, демократичность и нравственность их политики, политики немакиавеллевского толка, верил, что они останутся верны договорам и обязательствам, в их готовность помочь России в трудный час, как она помогала — и спасала их — в час смертельной опасности. Я должен напомнить западному читателю, что как в первую, так и во вторую мировые войны Россия одна сражалась с бóльшими вражескими силами, чем все ее союзники, вместе взятые, что она взяла на себя основные тяготы войны, заплатив за это ужасную цену человеческими жизнями, опустошенными городами и весями, разрушенной экономикой и истощенными природными ресурсами — цену стократ большую, чем совокупные издержки, понесенные всеми ее союзниками. Этой жертвой Россия без сомнения спасла союзников от вероятного поражения и разрухи, не говоря уже о спасении миллионов жизней союзнических армий, которым бы самим пришлось сражаться с германской коалицией, не будь России.

Позднее мои иллюзии относительно западных правительств развеялись. Вместо помощи России, когда она нуждалась в этом, они старались ослабить ее, ввергнуть в гражданскую войну, расчленить ее, отторгнув поелику возможно и захватив ее территории. Они нарушили свои обязательства и после второй мировой войны, начав все виды «холодной» и «горячей» войн против нее. И даже сейчас, когда я пишу эту книгу, они вместе с бывшим врагом все еще пытаются уничтожить не только русскую империю и советское правительство, но и сломать хребет самóй русской нации. Даже в моей личной схватке с коммунистами и их властью двуличие командования союзных экспедиционных сил в Архангельске едва не стоило мне жизни: нарушив обещания, торжественно данные нашей группе[24], устроившей свержение коммунистической власти в Архангельске, они весьма способствовали моему

аресту, заключению и смертному приговору, вынесенному мне коммунистами в Великом Устюге.

Если бы в 1915—1917 годах я придерживался мнения, что западные правительства так же циничны, хищны, по-макиавеллевски лживы, недальновидны и эгоистичны, как и все остальные, включая и советское, я, вероятно, присоединился бы к интернационалистам. Но случилось иначе, я оказался в стане социал-патриотов вместе с правительством Керенского и большинством лидеров и простых членов социалистических и либеральных партий, вместе с «бабушкой» и «дедушкой» русской революции — Е. Брешковской[25] и Н. Чайковским[26], наиболее заслуженными членами партии эсеров, Г. Плехановым[27] и даже с одним из величайших лидеров анархистов — П. Кропоткиным. Я отстаивал эту позицию как член Временного правительства Керенского, член Совета Российской республики[28], депутат Учредительного собрания, Российского крестьянского совета и как один из основных редакторов эсеровских газет «Дело народа» и «Воля народа», как ученый, оратор, лектор. Эту позицию я отстаивал до самой своей высылки из России.

Написанное выше может привести читателя к мысли, что мне некогда было заниматься наукой. Это не совсем так. Жизнь в 1914—1916 годах не очень изобиловала удобствами, но была действительно полна эмоций. В круговерти событий оказывалось невозможным ограничиваться чисто академическими рамками. С началом революции это стало еще очевиднее.

Среди важных лично для меня событий тех лет необходимо упомянуть смерть моих учителей и друзей — М. Ковалевского[29] и Е. Де Роберти. Именно поэтому никто из них не был на моем устном магистерском экзамене и на защите диссертации. Мой третий великий учитель, профессор Л. Петражицкий оставался в России до сентября 1917 года. Поскольку университетская жизнь почти полностью заглохла, а приход к власти коммунистов был практически неизбежен, я помог ему выехать в Варшаву (как секретарь министра-председателя Керенского я еще мог составить протекцию в таких вопросах). Он благополучно уехал из России в Польшу. Как известному ученому, ему предложили профессорство в Варшавском университете, однако по ряду причин он не был там счастлив, и чрезвычайно националистические круги только что родившейся независимой Польши не ценили его так же высоко, как в России. Угнетаемый эпохой войн и революций, уничтожением всего хорошего и проявлением всего низменного и жестокого в человеческих душах, он в конце концов покончил с собой, вскрыв вены. Смерть этих великий людей оказалась огромной личной потерей для меня, так же как и для всего человечества. Их гибель была первым звеном в длинной цепи других смертей целого легиона творческих личностей, уничтоженных гигантскими войнами и революциями нашего самого кровавого и бесчеловечного двадцатого столетия.

ЧАСТЬ III

Глава седьмая.

КАТАСТРОФА: РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

В своем полном развитии все великие революции, похоже, проходят три типические фазы. Первая из них — короткая — отмечена радостью освобождения от тирании старого режима и большими ожиданиями реформ, которые обещает каждая революция. Эта начальная стадия лучезарна, правительство гуманное и мягкое, полиция умеренна, нерешительна и совершенно ни на что не способна. В человеке начинает просыпаться зверь. Короткая увертюра обычно сменяется второй, деструктивной фазой. Великая революция теперь превращается в яростный вихрь, сметающий на своем пути все без разбора. Он безжалостно разрушает не только отжившие институты общества, но и вполне жизнеспособные заодно с первыми, уничтожает не только исчерпавшую себя элиту, стоявшую у власти при старом режиме, но и множество людей и социальных групп, способных к созидательной работе. Революционное правительство на этой стадии является грубым, тираничным, кровожадным. Его политика в основном разрушительна, насильственна и террористична. Если ураганная фаза не полностью превращает нацию в руины, революция постепенно вступает в третью фазу своего развития — конструктивную. Уничтожив все контрреволюционные силы, она начинает строить новый социальный и культурный порядок и новую систему личностных ценностей. Этот порядок создается на основе не только новых, революционных идеалов, но и включает восстановленные, наиболее жизнеспособные дореволюционные общественные институты, ценности, образы жизни, временно порушенные на второй стадии революции, но которые выжили и вновь утвердились, независимо от желания новой власти. Послереволюционное устройство общества, таким образом, обычно являет собой некую смесь новых образцов и моделей жизненного поведения со старыми. Грубо говоря, с конца 20-х годов русская революция начала входить в свою конструктивную фазу, которая в настоящее время находится в полном развитии. Советская внутренняя и внешняя политика сейчас более конструктивна и созидательна, чем политика многих западных и восточных стран. Весьма жаль, что эта важная перемена все еще не замечается политиками и правящей

элитой этих государств (см. детальный анализ деструктивной и конструктивной фаз великих революций в моих «Социальной и культурной динамике», т. III, «Социологии революции», «Обществе, культуре и личности», главы 31—33). Мне довелось непосредственно наблюдать последовательное прохождение всех трех фаз в революции 1905—1907 годов. В 1917 году я испытал на себе лишь первую и вторую стадии жизненного цикла той эпохальной революции. Последующие параграфы, состоящие из моих дневниковых записей, не только дадут конкретные примеры событий ранней деструктивной фазы, но и расскажут о том, что происходило со мной на протяжении наиболее разрушительной стадии русской революции в 1917—1922 годах.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 27 ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА

Вот он и наступил, наконец, этот день. В два часа ночи, только что вернувшись из Думы, я спешно стал записывать в дневник волнующие события этого дня. Поскольку я чувствовал себя неважно, а лекции в университете были практически отменены, я решил остаться дома и заняться чтением нового труда Вильфредо Парето «Трактат по общей социологии». Время от времени меня отвлекали от книги друзья, звонившие, чтобы обменяться новостями.

«Толпы на Невском сегодня больше, чем когда-либо».

«Рабочие Путиловского завода вышли на улицы.»

В полдень телефонная связь прервалась. Около трех часов дня один из моих студентов ворвался ко мне с сообщением, что два полка при оружии и с красными флагами покинули казармы[1] и движутся к зданию Государственной Думы.

Поспешно выйдя из дому, мы направились к Троицкому мосту. Там нам встретилась большая, но спокойная толпа, прислушивавшаяся к стрельбе и жадно впитывавшая каждую новость. Никто не знал ничего определенного.

Не без трудностей мы перебрались через реку и дошли до Экономического комитета Союза городов и земств. Мне пришло в голову, что, если оба полка дойдут до Думы, их следовало бы накормить. Поэтому я сказал друзьям, членам комитета: «Постарайтесь раздобыть еды и отправьте ее с моей запиской к Думе». В этот момент к нам присоединился старый знакомый, господин Кузьмин, и мы отправились дальше. На Невском проспекте возле Екатерининского канала все еще было спокойно, но, повернув на Литейный, мы обнаружили, что толпа увеличивается, а стрельба усиливается. Слабые попытки полиции разогнать людей ни к чему не приводили.

— Эй, фараоны! Конец вам! — кричали из толпы.

Осторожно пробираясь вперед вдоль Литейного, мы обнаружили свежие пятна крови и два трупа на тротуаре. Умело находя лазейки, мы наконец добрались до Таврического дворца, окружен-

ного крестьянами, рабочими и солдатами. Никаких попыток ворваться в здание Российского парламента еще не было, но везде, куда ни кинь взгляд, стояли орудия и пулеметы.

Зал заседаний Думы являл резкий контраст смятению, царившему за стенами. Здесь, на первый взгляд, по-прежнему комфортно и покойно. Лишь там и тут по углам собирались группы депутатов, обсуждая ситуацию. Дума была фактически распущена, но Исполнительный комитет выполнял фактические обязанности Временного правительства[2].

Смятение и неуверенность явно сквозили в разговорах депутатов. Капитаны, ведущие государственный корабль прямо в «пасть» урагана, все же плохо представляли себе, куда следует плыть. Я вернулся во двор Думы и объяснил группе солдат, что попытаюсь привезти им провизию. Они нашли автомобиль с красным флагом на кабине, и мы двинулись сквозь толпу.

— Этого достаточно, чтобы всех нас повесить, если революция не победит, — насмешливо сказал я своим провожатым.

— Не бойся. Все будет как надо, — ответили мне.

Возле Думы жил адвокат Грузенберг[3]. Его телефон работал, и я связался с товарищами, обещавшими, что провиант для войск вскоре будет. Вернувшись в Думу, я обнаружил, что толпа подступила как никогда близко. Во дворе и на всех прилегающих улицах возбужденные группы людей окружали ораторов — членов Думы, солдат, рабочих, — единодушно указывавших на значение событий этого дня, прославлявших революцию и падение самодержавного деспотизма. Каждый из них превозносил растущую силу народа и призывал всех граждан к поддержке революции.

Зал и коридоры Думы были заполнены людьми. Солдаты стояли с винтовками и пулеметами. Но порядок все еще сохранялся, уличная стихия еще не разрушила его.

— Вот, товарищ Сорокин, наконец-то революция! Наконец и на нашей улице праздник! — крикнул один из моих студентов-рабочих, подбежав ко мне с товарищами. Лица молодых людей светились радостью и надеждой.

Войдя в комнату исполкома Думы, я нашел там нескольких депутатов от социал-демократов и около дюжины рабочих, ядро будущего Совета. Они сразу же пригласили меня стать членом, но я тогда не ощущал в себе позывов войти в Совет и ушел от них на собрание литераторов, образовавших официальный пресс-комитет революции.

«Кто уполномочил их представлять прессу?» — задал я самому себе вопрос. Вот они, самозванные цензоры, рвущиеся к власти, чтобы давить все, что по их мнению является нежелательным, готовящиеся задушить свободу слова и печати. Внезапно вспомнилась фраза Флобера: «В каждом революционере прячется жандарм»[4].

— Какие новости? — спросил я депутата, прокладывающего путь сквозь толпу.

— Родзянко пытается связаться с императором по телеграфу. Исполком обсуждает создание нового кабинета министров, ответственного как перед царем, так и перед Думой.

— Кто начал и кто отвечает за происходящее?

— Никто. Революция развивается самопроизвольно.

Принесли еду, устроили буфет, девушки-студентки принялись кормить солдат. Это создало временное затишье. Но на улице, как удалось узнать, дела шли плохо. Продолжали вспыхивать перестрелки. Люди впадали в истерику от возбуждения. Полиция отступала. Около полуночи я смог уйти оттуда.

Поскольку трамвай не ходил, а извозчиков не было, я пошел пешком к Петроградской стороне, расположенной очень далеко от Думы. Стрельба все еще не прекращалась, на улицах не горели фонари и было темно. На Литейном увидал бушующее пламя: чудесное здание Окружного суда яростно полыхало.

Кто-то воскликнул: «Зачем было поджигать? Неужели здание суда не нужно новой России?». Вопрос остался без ответа[5]. Мы видели, что другие правительственные здания, в том числе и полицейские участки, также охвачены огнем, и никто не прилагал ни малейших усилий, чтобы погасить его. Лица смеющихся, танцующих и кричащих зевак выглядели демонически в красных отсветах пламени. Тут и там валялись резные деревянные изображения российского двуглавого орла, сорванные с правительственных зданий, и эти эмблемы империи летели в огонь по мере возбуждения толпы. Старая власть исчезала, превращаясь в прах, и никто не жалел о ней. Никого не волновало даже то, что огонь перекинулся и на частные дома по соседству. «А, пусть горят, — вызывающе сказал кто-то. — Лес рубят — щепки летят».

Дважды я натыкался на группы солдат и уличных бродяг, громивших винные магазины. Никто не пытался остановить их.

В два часа ночи я добрался до дома и сел записать наскоро свои впечатления. Рад я или нет? Трудно сказать, но мрачные предчувствия и опасения преследуют меня.

Я взглянул на свои книги и рукописи, подумал, что придется отложить их на время в сторону. Сейчас не до занятий. Надо действовать.

Снова послышалась стрельба.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Наутро я с двумя друзьями снова отправился пешком к Думе. Улицы были полны возбужденных людей. Все магазины закрыты, и деловая жизнь в городе прекратилась. Звуки пальбы доносились с разных сторон. Автомобили, набитые солдатами и вооруженными юнцами, ощетинившись винтовками и пулеметами, носились взад-вперед по улицам города, выискивая полицию или контрреволюционеров.

Государственная Дума сегодня являла собой зрелище, совер-

шенно отличное от вчерашнего. Солдаты, рабочие, студенты, обыватели, стар и млад заполнили здание. Порядка, чистоты и эмоциональной сдержанности не было и в помине. Его Величество Народ был хозяином положения. В каждой комнате, в каждом углу спонтанно возникали импровизированные митинги, где произносилось много громких слов: «Долой царя!», «Смерть врагам народа!», «Да здравствует революция и демократическая республика!». Можно было устать от бесконечного повторения этих заклинаний. Сегодня стало очевидным существование двух центров власти. Первый — Исполнительный комитет Думы во главе с Родзянко, второй — Совет рабочих и солдат[6], заседавший в другом крыле здания российского парламента. С группой моих студентов из числа рабочих я вошел в комнату Совета. Вместо вчерашних двенадцати человек сегодня присутствовало три или четыре сотни. Было похоже, что стать членом Совета мог любой, изъявивший желание, в результате весьма неформальных выборов. В зале, полном табачного дыма, шло дикое разглагольствование, выступало сразу по нескольку ораторов. Основным вопросом, обсуждавшимся когда мы вошли, было арестовывать или нет, как контрреволюционера, председателя Думы Родзянко.

Меня это просто сразило. Неужели эти люди за одну ночь выжили из ума? Я попросил слова и получил возможность выступить.

— Глупцы, — обратился я к ним, — революция только начинается, и для победы нам необходимо полное единство и совместные усилия всех, кто выступает против царизма. Не должно быть никакой анархии. Сейчас вы, жалкая кучка людей, дебатирующих арест Родзянко, просто теряете время.

Максим Горький выступил вслед за мной, в том же ключе, и вопрос ареста Родзянко на какое-то время ушел в сторону. Однако было совершенно очевидно, что ментальность черни уже заявила о себе, и в человеке просыпается не только зверь, но и дурак, готовый взять верх над всем и вся.

По пути к комнате, где находился Исполнительный комитет Думы, я встретил одного из его членов, господина Ефремова, от которого узнал, что борьба между комитетом и Советом началась сразу же после их создания, и сейчас они спорят за право контроля над революцией.

— Но что мы можем сделать? — в отчаянии спросил он.

— Кто действует от имени Совета?

— Суханов[7], Нахамкес[8], Чхеидзе[9] и несколько других, — ответил он.

— Нельзя ли отдать приказ солдатам об аресте этих людей и разгоне Совета? — спросил я.

— Такой агрессивности и конфликтности не должно быть в первые дни революции, — последовал ответ.

— Тогда будьте готовы к тому, что очень скоро разгонят вас самих, — предупредил его я. — Будь я членом вашего коми-

тета, действовал бы незамедлительно. Дума — все еще высшая власть в России.

Тут к нам присоединился профессор Гронский.

— Можете ли вы написать декларацию будущего правительства? — спросил он меня.

— Почему я? Набоков[10] — специалист в таких вопросах. Идите к нему.

В середине разговора в комнату ворвался офицер, и потребовал, чтобы его связали с исполкомом Думы. «Что случилось?» — спросили мы.

— Солдаты и матросы убивают всех офицеров Балтийского флота, — кричал он. — Комитет обязан вмешаться.

Во мне все похолодело. Но было бы сумасшествием ожидать, что революция обойдется без кровопролития. Домой я добрался очень поздно, ночью. Никакой радости в душе не было, но все же я утешал себя надеждой, что завтра дела могут пойти лучше.

НАЗАВТРА

Назавтра дела лучше не стали. Улицы были во власти тех же неуправляемых толп, тех же авто, набитых беспорядочно стреляющими людьми, так же охотящимися за полицией и контрреволюционерами. В Думе мы узнали, что царь должен отречься от престола в пользу царевича Алексея.

Сегодня вышел первый номер газеты «Известия».

Совет вырос до четырех-пяти сотен членов. Думские комитеты и Совет создают Временное правительство[11]. Керенский выступает посредником и связующим звеном между двумя органами власти. Он — заместитель председателя Совета и министр юстиции. Я встретился с ним. Керенский был совершенно изнурен.

— Пожалуйста, разошли телеграммы во все тюрьмы России, чтобы освободили всех политических заключенных, — попросил он.

Когда я написал текст телеграммы, он подписал его: «Министр юстиции, гражданин Керенский». Это «гражданин» ново, немного театрально, но, вероятно, вполне приемлемо. Я не уверен, насколько велики оказались посреднические способности Керенского, и боюсь, что это двоевластие Временного (и очень непрактичного) правительства и экстремистов из Совета не сможет продлиться долго. Кто-то обязательно сожрет другого. Кто кого? Конечно, Совет победит. Монархия пала. Настроения людей — твердо республиканские. Даже простая буржуазная республика недостаточно радикальна для многих. Я боюсь этих экстремистов и глупости черни.

Ужасные новости! Начинается резня офицеров. В Кронштадте убиты адмирал Вирен и множество офицеров флота. Говорят, что офицеры уничтожаются по спискам, подготовленным немцами.

Я только что прочитал «Приказ № 1», отданный Советом, суть которого сводится к благословению неподчинения солдатов

приказам своих командиров. Какой псих сочинил и опубликовал это?

В думской библиотеке среди прочих я встретил господина Набокова, который показал мне свой проект Декларации Временного правительства. Все мыслимые свободы и гарантии прав обещались не только гражданам, но и солдатам. Россия, судя по проекту, должна была стать самой демократической и свободной страной в мире.

— Как вы находите проект? — с гордостью спросил он.

— Это восхитительный документ, но...

— Что «но»?

— Боюсь, он слишком хорош для революционного времени и разгара мировой войны, — я был вынужден предостеречь его.

— У меня тоже есть некоторые опасения, — сказал он, — но надеюсь, все будет хорошо.

— Мне остается надеяться вслед за вами.

— Сейчас я собираюсь писать декларацию об отмене смертной казни, — сказал Набоков.

— Что?! И даже в армии, в военное время?

— Да.

— Это же сумасшествие! — вскричал один из присутствовавших. — Только лунатик может думать о таком, в тот час, когда офицеров режут как овец. Я ненавижу царизм так же сильно, как любой человек, но мне жаль, что он пал именно сейчас. По-своему, но он знал, как управлять, и управлял лучше, чем все эти «временные» дураки.

Соглашаться с ним не хотелось, но я чувствовал, что он прав.

Старая власть, без сомнения, погибла. И в Москве и в Петербурге население радуется и веселится, как на Пасху. Все буквально приветствуют новый режим и Республику. «Свобода! Священная свобода!» — кричат повсюду и везде поют песни. «Чудесная революция! Революция без крови, чистая, как одеяние безгрешных ангелов!» Последнее сравнение я слышал в толпе студентов, демонстрирующих по улицам.

Это, конечно, правда. Кровопролитие не было серьезным[12]. Если и дальше число жертв фанатиков не увеличится, наша революция даже имеет шанс войти в историю как «бескровная».

СВОБОДА: ВСЕ ПОЗВОЛЕНО

Старый режим рухнул по всей России, и мало кто сожалеет о нем. Вся страна рада этому. Царь отрекся сам и за своего сына. Великий князь Михаил отказался от трона[13]. Избрали Временное правительство, и его манифест стал одним из самых либеральных и демократических документов, когда-либо издававшихся. Все царские служащие от министра до полицейского смещены и заменены людьми, преданными республике, чтобы

ни у кого не возникло и тени сомнения в нашем республиканском будущем. Большинство народа надеется и ожидает, что войну теперь будут вести более успешно. Солдаты, госчиновники, студенты, горожане и крестьяне — все проявляют огромную энергию. Крестьяне везут зерно в города и в действующую армию, иногда бесплатно. Армейские полки и группы рабочих выступают под знаменами, на которых начертано: «Да здравствует революция!», «Крестьяне — к плугу, рабочие — к станкам и прессам, солдаты — в окопы!», «Мы, свободный народ России, защитим страну и революцию».

— Погляди, какой замечательный народ! — восхищался некий мой приятель, указывая на одну такую демонстрацию.

— Конечно, похоже, что все прекрасно, — ответил я.

Однако, пытаясь убедить себя, что все действительно прекрасно, я не мог закрыть глаза на определенные реальности. Рабочие несли такие лозунги, как «К станкам и прессам!», а сами бросили работу и проводили почти все свое время на политических митингах. Они начали требовать восьмичасовой и даже шестичасовой рабочий день. Солдаты, точно так же, готовы сражаться, но вчера, когда один из полков должен был отправляться на фронт, люди отказались, мотивируя тем, что они необходимы в Петрограде для защиты революции. В эти дни мы также получили информацию, что крестьяне захватывают частные поместья, грабя и сжигая их. На улицах я видел много пьяных, матерившихся и кричавших: «Да здравствует свобода! Нынче все позволено!»

Проходя мимо здания недалеко от Бестужевских курсов, я видел толпу, хохочущую и непристойно жестикулирующую. В подворотне на глазах у зевак совокуплялись мужчина и женщина. «Ха, ха, — смеялись в толпе, — поскольку свобода, все позволено!»

Вчера вечером мы провели первое собрание старых членов партии социалистов-революционеров, пришло двадцать или тридцать проверенных и испытанных лидеров. Я выступил против предложений экстремистов и в конце концов сумел провести резолюцию о поддержке правительства. Ее приняли большинством голосов с характерной оговоркой: «При условии, что правительство будет твердо придерживаться своей программы».

Это собрание показало, что равновесие умов среди старых и надежных членов партии поколеблено. Если это произошло даже с такими людьми, что же происходит с толпой? Мы и в самом деле вступили в критический период, в худший даже кризис, чем я опасался.

Сегодня состоялась новая встреча лидеров эсеров для учреждения газеты и назначения ее редакторов. Дискуссия оказалась жаркой и ясно показала существование двух течений в партии — социал-патриотов и интернационалистов. После долгих и утомительных дебатов избрали пять редакторов газеты, названной

«Дело народа». В их числе: Русанов, Иванов-Разумник, Мстиславский, Гуковский и я. Мне не совсем ясно, как нам договориться о политической линии газеты, поскольку мы с Гуковским[14] — очень умеренные социал-патриоты, другие же — интернационалисты.

Увы! На первом же заседании редакционной коллегии, посвященном организации выпуска первого номера газеты, пять часов были впустую потрачены в спорах. Статьи, представленные на редколлегию интернационалистами, мы отклонили, а наши статьи пришлись не по вкусу им. Трижды мы покидали комнату заседания и трижды возвращались. В конце концов, все мы стали читать основные статьи, безжалостно вымарывая и правя синим карандашом наиболее важные места. В результате и умеренные, и радикальные статьи потеряли всякую ценность, хотя по-прежнему также противоречили друг другу. Хорошенькое начало! «Дело народа» с первых же выпусков[15] оказалось газетой, где на одной и той же странице появлялись две взаимно исключающие статьи. Так не могло долго продолжаться, и мы все понимали это. Монархические газеты были уже запрещены, и их типографские мощности конфискованы. Социалисты согласились с этим как с необходимостью, но увязывается ли такая постановка вопроса со свободой печати, которую они так горячо защищали ранее? Как только амбиции радикалов удовлетворены, они, похоже, становятся даже более деспотичны, чем реакционеры. Власть рождает тиранию.

На митингах рабочих я слышу все более настойчивые призывы к прекращению войны. Идеи о том, что правительство должно быть чисто социалистическим и что необходимо устроить всеобщую Варфоломеевскую ночь «эксплуататорам», быстро распространяются. Любая попытка инженеров и управляющих поддержать дисциплину на заводах и фабриках, сохранить объем производства, уволить лодырей рассматривается как контрреволюция. Среди солдат ситуация не лучше. Подчинение и дисциплина практически исчезли.

Что касается мужиков (крестьян), то даже они теряют терпение и могут вскоре пойти за Советами. Бог ты мой! Эти авантюристы, самозваные солдатские и рабочие депутаты, эти беспорточные умники, актерствующие в революционной драме, подражают французским революционерам. Вместе с бесконечными разговорами вся их энергия уходит на разрушительную работу против Временного правительства и подготовку к «диктатуре пролетариата». Советы вмешиваются во все. Их действия ведут только к дезорганизации власти правительства и высвобождению диких инстинктов у толпы черни.

А что же правительство? Лучше, наверное, было бы вообще не говорить о нем. Благородные идеалисты, эти люди не знают азбуки государственного управления. Они сами не ведают, чего хотят, а если бы и знали, то все равно не смогли бы этого добиться.

Сегодня проходили похороны тех, кто умер за революцию[16]. Какой потрясающий спектакль! Сотни тысяч людей несли тысячи красных с черным флагов с надписями: «Слава отдавшим жизнь за свободу». Похоронный марш сопровождался пением. Пока нескончаемая процессия часами шла по улицам, везде соблюдался образцовый порядок и дисциплина. Лица людей были торжественны и печальны. Вид этой толпы, человеческого горя потряс меня до глубины души.

Сегодня вечером была моя очередь выступать в качестве главного редактора «Дела народа». Газета ушла в печать около трех часов ночи, а я, как обычно, отправился домой пешком. Улицы не так переполнены ночью, и легче увидеть перемены, произошедшие в Петрограде за месяц революции. Картина не из приятных. Улицы загажены бумагой, грязью, экскрементами и шелухой семечек подсолнечника, русским эквивалентом скорлупы арахиса, выполняющего ту же роль в Америке. Разбитые пулями окна многих домов заклеены бумагой. По обеим сторонам улицы солдаты и проститутки вызывающе занимаются непотребством.

— Товарищ! Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Пошли ко мне домой, — обратилась ко мне раскрашенная девица. Очень оригинальное использование революционного лозунга!

Все политические заключенные освобождены и возвращаются из Сибири и из-за рубежа. Их с триумфом встречают правительственные комитеты, солдаты, рабочие, городская публика. Оркестры, флаги и речи встречают каждую новую группу прибывающих. Возвращающиеся ссыльные чувствуют себя героями-победителями, заслужившими, чтобы народ почитал их «освободителями» и «благодетелями». Здесь есть забавный момент, большинство этих людей никогда не были политическими осужденными, а представляли обычных воров, убийц и рядовых жуликов. Ко всем, однако, относятся как к жертвам царизма. Очевидно, что среди всех форм тщеславия есть и революционное тщеславие с неограниченными претензиями.

Многие из вернувшихся «политических» потеряли душевное равновесие. Проведя многие годы в тюрьмах и ссылках, занимаясь тяжелым и разрушающим личность трудом, они неизбежно привносят в общество способы взаимоотношений и жестокости, от которых сами же и страдали в заключении. Они питают ненависть, жестокую неприязнь и презрение к человеческой жизни и страданиям.

Советы, укомплектованные этими «героями», все более и более теряют чувство реальности. Они направляют свою энергию на противодействие правительству и славословия социализму и ничего не делают для переобучения и реорганизации русского общества.

Прокламации Советов адресованы «Всем, всем, всем» или «Всему миру». Речи и манеры поведения их лидеров напыщены

до абсурда. Похоже, они совершенно не обладают чувством юмора и неспособны увидеть, насколько комична их поза.

Что касается правительства, то оно оказалось хаотично и бессильно в своих действиях. Разделение власти сейчас полное, и правительство с каждым днем теряет почву под ногами.

СВЕТ И ТЕНЬ

Сегодня, 22 апреля 1917 года[17], состоялась Петроградская конференция партии эсеров. Сознание новых, «февральских» революционеров-социалистов радикализировано до предела. «Революционеры»-неофиты обращаются сегодня со старыми лидерами как со своими слугами. У них большинство на конференции, и этим большинством принята резолюция о немедленном окончании войны и создании социалистического правительства. Я заявил, что не могу принять их программу, ушел с конференции и сложил с себя обязанности редактора «Дела народа». Многие старые члены партии поступили так же, большинство представителей правого крыла отреклись от конференции. Раньше или позже это должно было случиться, и лучше раньше, чем позже.

Гуковский и я организуем правоэсеровскую газету «Воля народа». «Бабка» революции Брешковская, Миролюбов, Сталинский и Аргунов войдут в редколлегию вместе с нами как соредакторы[18]... Надеяться на успех в такое время невозможно, но мы все же должны делать то, что считаем правильным.

Политические эмигранты продолжают возвращаться. Из числа лидеров нашей партии приехали Чернов, Авксентьев, Бунаков, Сталинский, Аргунов, Лебедев и другие. Через несколько дней ожидается приезд большевистских лидеров Ленина, Троцкого, Зиновьева и прочих. Они едут через Германию с помощью немецкого правительства, предоставившего им специальный «опломбированный» вагон. Кое-кто из наших недоволен, что Временное правительство разрешило им вернуться. Ходит слух, что Ленин и его компания (около сорока человек) наняты немецким генеральным штабом, чтобы спровоцировать гражданскую войну в России и еще больше деморализовать русскую армию. Я убежден в необходимости образования Всероссийского крестьянского Совета в противовес Совету безработных и дезертирских депутатов в городе.

Ночь... Измотанный речами, митингами и сотней неприятностей, я возвратился домой, ощущая себя человеком, который голыми руками пытается остановить мчащуюся с гор лавину. Безнадежное дело.

Мы с друзьями начали подготовку к созыву Всероссийской крестьянской конференции.

Вчера я выехал из Петрограда в Великий Устюг, по просьбе крестьян и других жителей этого региона. Какое облегчение — уехать из столицы с ее постоянным движением людских толп,

беспорядками, грязью и истерией и снова оказаться в спокойном месте, которое я так люблю! Пароход быстро скользит по Сухоне. Надо мною синее небо, внизу и вокруг — сверкающие воды реки и чудные пейзажи. Как прекрасно спокойствие, которым они дышат! Как чист и неподвижен воздух, словно и нет никакой революции! Только постоянная болтовня пассажиров напоминает о ней.

В моем любимом Великом Устюге меня встретили друзья. С парохода меня отвезли на рыночную площадь, где собрались тысячи людей. Моя речь подняла патриотический энтузиазм. Сотни людей подписались на государственный займ «свободы», выпущенный правительством, чтобы поправить дела в экономике. Многие крестьяне, приехавшие в город продать зерно, бесплатно сдавали его на нужды армии. Похожий триумф ждал меня и на митинге учителей, и среди жителей трех соседних сел.

Вернувшись в нездоровую атмосферу столицы, я нашел, что беспорядки и необузданность нравов стали пугающими.

Ленин и его компаньоны приехали[19]. Их первые выступления на конференции большевиков смутили даже крайне левых членов собственной партии. Ленин и его группа сейчас очень богаты, и, как следствие, количество большевистских газет, памфлетов, прокламаций и т. п. значительно возросло. Троцкий занял очень дорогие апартаменты. Откуда эти деньги — вот в чем вопрос.

Началась «социализация». Большевики силой захватили дворец балерины Кшесинской, анархисты заняли виллу Дурново и другие дома; собственников полностью лишают имущества. Хотя владельцы обращаются в суды и к правительству, ничего не сделано, чтобы вернуть им собственность.

21 апреля 1917 года. Сегодня мы узнали настоящий вкус бунта черни. Нота министерства иностранных дел союзникам о том, что Временное правительство будет верно всем договорам и обязательствам, взятым на себя Россией, подверглась яростным нападкам Советов и большевиков. Сегодня, примерно в полдень, два полка в полном вооружении покинули казармы, чтобы поддержать бунтовщиков. Началась стрельба! Грабеж магазинов принял всеобщие масштабы. Ситуация напоминает первые дни восстания против царского режима. Но в те дни граждане сумели взять массы людей под контроль. Правительство объявило, что Милюков будет смещен[20].

Это означает, что правительство пало, поскольку эта первая уступка черни и большевикам — начало конца Временного правительства. Мы все живем в кратере вулкана, который в любой момент может взорваться. Ситуация неприятная, но мы сумели мало-помалу приспособиться к ней. Во всяком случае все это достаточно интересно.

Сегодня мы опубликовали первый номер «Воли народа». Организация Всероссийского крестьянского съезда идет удачно и приближается к завершению.

Вандервельде и Де Брукер[21], лидеры бельгийских социалистов, нанесли сегодня визит в нашу редакцию. «Вы — первые русские социалисты, не осудившие наш патриотизм и „буржуазную“ точку зрения», — сказал Вандервельде, прощаясь со мной за руку.

Сегодня вечером мы дали обед в честь Альбера Томá[22]. Он, как и Вандервельде, смотрит на положение дел довольно пессимистично, но воспринимает грубые действия Совета с юмором. «Они словно безответственные дети», — говорит он.

Мой стиль жизни стал регулярным в своей нерегулярности. Я обедаю, ложусь и встаю, работаю в разное время суток. День за днем я трачу силы на агитацию, переживания и выполнение прорвы дел. Иногда я ощущаю себя бездомным псом.

АГОНИЯ

Май — июнь 1917 года. Крестьянский съезд открылся[23], на нем присутствуют около тысячи представителей настоящих крестьян и лояльных солдат с фронта. Настроения крестьян более здоровые и взвешенные, чем у рабочих и солдатских масс. Патриотизм, действительное желание подавить беспорядки и даже согласие воздержаться от захвата земли, пока не будет достигнуто четкое решение этой проблемы, хорошая готовность поддерживать правительство и оппозиция большевикам — все эти чувства были ярко выражены съездом.

Интересный эпизод произошел, когда Ленин появился на съезде. Забравшись на трибуну, он драматическим жестом скинул плащ и начал говорить. В лице этого человека было нечто, напоминавшее религиозных фанатиков-староверов. Он плохой и скучный оратор. И его усилия поднять энтузиазм по отношению к большевикам оказались абсолютно никчемными. Его речь была принята холодно, сам он, его личность, вызывали враждебность аудитории, и после выступления он ушел в явном замешательстве. Большевистская «Правда» и другие газеты интернационалистов возобновили нападки на крестьянский съезд, называя его «цитаделью социал-патриотов и мелких буржуа». Ну что же, пусть лают дальше.

Крестьянский съезд был отложен после голосования по вопросу организации особого крестьянского совета, выборов депутатов, исполнительного комитета и представителей в разные общественные институты. Я был избран членом исполкома и делегатом в Комиссию по выработке закона о выборах в Учредительное собрание.

По пути в город я проходил мимо дворца Кшесинской, захваченного большевиками и используемого как штаб. День изо дня они обращались с балкона дворца к рабочим и солдатам, толпившимся внизу, с речами. Все попытки правительства выгнать захватчиков оттуда не имели успеха. Дворец Дурново, занятый анархистами, так же как и другие виллы, незаконно экспроприиро-

ванные уголовниками, называвшими себя анархистами или коммунистами, все еще во владении захватчиков. Напрасно суды предписывали освободить помещения, так же тщетно отдавал аналогичные приказы министр юстиции. Безрезультатно. Я остановился возле дворца Кшесинской послушать Ленина. Хотя он и был плохим оратором, мне казалось, что этот человек далеко пойдет. Почему? Да потому, что он был готов и настроен поощрять все то насилие, преступления и непристойности, которым чернь в этих безнравственных условиях готова была дать волю.

— Товарищи рабочие! — так повел речь Ленин. — Отбирайте заводы у эксплуататоров! Товарищи крестьяне, захватывайте землю у врагов своих, помещиков. Товарищи солдаты, кончайте воевать, идите по домам. Установите перемирие с немцами и объявите войну богачам! Бедняки, вы страдаете от голода, когда кругом вас плутократы и банкиры. Почему бы вам не забрать все их богатство? Грабь награбленное! Безжалостно разрушим все капиталистическое общество! Долой его! Долой правительство! Долой все войны! Да здравствует социальная революция! Да здравствует классовая война! Да здравствует диктатура пролетариата!

Такие речи всегда вызывали живой отклик у толпы. Зиновьев[24] выступал вслед за Лениным. Каким же отвратительным типом он был! Во всем его облике: в высоком женском голосе, лице, толстой фигуре было что-то отталкивающее и непристойное. Он являл выдающийся образец умственного и нравственного дегенерата. Ленин считал его своим любимым учеником.

Послушав примерно с час, я перешел Троицкий мост и подошел к редакции. День был чудесен. Солнце светило ярко, в Неве отражалось безоблачное небо. Но мою душу переполняли мрачные предчувствия. Я знал, что эти люди — предвестники ужасных бедствий. Будь я на месте правительства, я бы арестовал их без промедления.

Бедняга Керенский делал все, что в его силах. Он произносил одну за другой блестящие речи, но диких зверей не удержишь красноречием. Городам угрожал голод, поскольку работа практически прекратилась.

Должен сказать, что для пропагандистской газеты большевистская «Правда» очень умело редактировалась. Особенно великолепны были саркастические статьи Троцкого, в которых он бичевал и осмеивал своих оппонентов, в том числе и меня. Отличная сатира.

Крестьянский Совет — все еще наш оплот. Большинство мужиков, представителей крестьянского большинства населения, сохранили ясность ума.

26 мая 1917 года был днем моей свадьбы[25]. Она представляла собой действительно революционное бракосочетание. После церемонии венчания в церкви, на которую я явился прямиком с какого-то важного митинга, мы с женой и друзьями имели только полчаса на обед, а затем мне уже надо было потораппиваться

на другое окаянное мероприятие[26]. Наверное, такое может случиться только в войну или во время революции. Вечером я послал революцию к черту и вернулся домой к любимой. Катастрофа приближалась, но я благословлял тот день, несмотря ни на что.

Сегодня профессор Масарик[27] из Праги посетил меня в редакции. Разговаривать с этим рациональным, интеллигентным, серьезным и широкомыслящим человеком было одно удовольствие.

Мы обсуждали чешскую проблему, о которой мне доводилось писать. Без сомнения, с такими руководителями, как Масарик, Чехословакия завоюет свою независимость. В «Воле народа» мы поддерживали ее в этом.

Работа в крестьянском Совете шла удовлетворительно. Основные проблемы будущей России — аграрная реформа, конституция, создание правительства, оборона страны и т. д. — были уже предварительно решены. Заседания Советов — рабоче-солдатского и крестьянского — проводились раздельно. Старый Совет по началу пытался доминировать, но теперь вынужден признать равный статус за крестьянской организацией. В зале заседаний Думы наш крестьянский Совет занимает правую сторону, в то время как слева сидит немногочисленная группа большевиков, интернационалисты и левые эсеры. Когда в зале появляются члены нашей группы, эти «красные» встречают нас криками: «Мелкая буржуазия!». Мы отвечаем: «Предатели, изменники!»

Возник очень серьезный кризис[28]. Когда мы были на заседании исполкома крестьянского Совета, нас внезапно оповестили по телефону, что большевики организовали на завтра демонстрацию вооруженных солдат и рабочих с требованием: «Долой капиталистическое правительство!» Не было никакого сомнения, что такая демонстрация будет означать падение правительства и окончательный провал наступления на фронте. Это привело бы к гражданской войне, кровопролитию, смертям. В противовес их действиям мы приняли решение принять участие в мирной демонстрации на следующей неделе. Мы сорвали предпринятую попытку вооруженного выступления. На следующее утро «Правда» объявила, что большевики присоединятся к нашему мирному шествию. На этот раз мы победили, но боюсь, следующая победа будет за ними.

По вечерам происходят беспорядки и убийства на улицах. Белые одеяния революции покрываются все больше и больше пятнами крови. Усиливается голод.

Наше наступление на фронте началось блестяще[29], и сразу же значительно повысился дух народа. Патриотические демонстрации заполнили улицы, популярность Керенского возросла. Популярность большевиков в тот момент, наоборот, резко упала.

Но вот произошла катастрофа. Наша революционная армия потерпела поражение[30]. Она разбита и в панике отступает, сметая все на своем пути. Убийства, насилие, грабежи, опустошенные

поля, разрушенные села отмечают места, где прошли отступающие войска. Никакой дисциплины, никакой власти, никакого снисхождения к безвинно страдающему населению. Генерал Корнилов и Б. Савинков[31] требуют введения смертной казни для дезертиров[32]. Напрасно! Бессильное правительство и Советы даже в минуту опасности не имеют воли к действию. Опять верх берут большевики и анархисты[33].

Произошло знаменательное событие. Сегодня на митинге, где выступали «бабушка русской революции» Брешковская, Савинков, Плеханов, Чайковский и я, аудитория, состоявшая из солдат и рабочих, неожиданно стала оскорблять и нападать на нас. По отношению к таким страдальцам за дело революции, как Брешковская и Чайковский, раздавались эпитеты «предатели» и «контрреволюционеры». Вскочил Савинков и закричал: «Да кто вы такие, чтобы обращаться к нам подобным образом?! Что вы, бездельники, сделали для революции? Ничего. А эти люди, — указал он на нас, — сидели в тюрьмах, голодали и мерзли в Сибири, не раз рисковали жизнью. Это я, а не кто-нибудь из вас, бросил бомбу в царского министра[34]. Это я, а не вы, выслушал смертный приговор от царского правительства. Да как вы смеете обвинять меня в контрреволюции? Кто вы после этого? Толпа глупцов и бездельников, замысливших разрушить Россию, уничтожить революцию и самих себя!»

Эта вспышка повлияла на толпу. Но, очевидно, все великие революционеры сталкиваются с такой трагической ситуацией. Труды и жертвы их забываются. Их считают реакционными или, как минимум, несовременными.

— Думали ли вы когда-нибудь о себе как о реакционном контрреволюционере? — спросил я Плеханова.

— Если эти маньяки — революционеры, то я горжусь, что меня называют реакционером, — ответил основатель партии социал-демократов.

— Берегитесь, господин Плеханов, — сказал я, — в конце концов вас арестуют, как только эти люди, ваши же ученики, станут диктаторами.

— Эти люди стали даже бо́льшими реакционерами, чем царское правительство, так что чего еще мне ждать, кроме ареста? — с горечью ответил он.

Мне нравился Плеханов. Мне казалось, что он понимает суть происходящего лучше, чем его ученики в Совете, даже не включившие его в число членов. Все старые революционеры и отцы-основатели русского социализма числили себя «умеренными», или по терминологии большевиков, «контрреволюционерами». Я также видел: мой «консерватизм» идентичен тому, что толпа всегда называет «контрреволюцией». Все мы начали осознавать — революция и радикализм на практике весьма отличаются от теории.

Распад России начался всерьез.

Финляндия, Украина и Кавказ объявили о своей независимости[35]. Кронштадт, Шлиссельбург и множество районов в самой России также проголосовали за независимость.

Вчера я опубликовал статью о надвигающейся катастрофе под заголовком «Проклятие русской нации». Сегодня все газеты поместили комментарии по поводу этой статьи. Большевистские листки напечатали угрозы в мой адрес. Многие граждане, однако, звонили мне, чтобы поблагодарить за статью. Их симпатии не могут спасти положение, которое сейчас совершенно безнадежно. Что касается меня, то лично я страха не испытываю.

Жизнь в Петрограде становится все труднее. Беспорядки, убийства, голод и смерть стали обычными. Мы ждем новых потрясений, зная, что они непременно будут. Вчера я спорил на митинге с Троцким и госпожой Коллонтай. Что касается этой женщины, то, очевидно, ее революционный энтузиазм — не что иное, как опосредованное удовлетворение ее нимфомании[36].

Троцкий при благоприятных условиях обязательно вылезет на самый верх. Этот театральный бандит — настоящий авантюрист. Его друзья в социал-демократической партии (меньшевики) говорят о нем: «Троцкий меняет кресла на каждом заседании. Сегодня он сидит с этой партией, завтра — с другой». Сейчас он вместе с коммунистами. Большевики, вероятно, дадут ему все, чего он добивается[37].

ТРАГЕДИЯ

3—5 июля 1917 года. Началось. Днем третьего июля, когда крестьянский Совет заседал, нас вызвали в Таврический дворец по телефону на совместное заседание с Советом рабочих и солдатских депутатов. «Приезжайте как можно скорее, — настоятельно просили нас. — Большевики начали новый бунт». Мы немедленно выехали. Улицы, прилегающие к дворцу и площадь перед ним, были забиты матросами и солдатами. В кузове грузовика стоял Троцкий, разглагольствуя перед кронштадтскими отрядами:

— Вы, товарищи матросы, — гордость и слава русской революции! Вы ее лучшие защитники. Своими действиями, верностью коммунизму, вашей непримиримой ненавистью и уничтожением всех эксплуататоров и врагов пролетариата вы вписали бессмертные страницы в историю революции. Сейчас перед вами новая задача — довести революцию до конца, создать царство коммунизма, диктатуру пролетариата и начать мировую революцию. Великая драма началась. Победа и вечная слава ждет нас. Пусть дрожат наши враги! Никакой жалости, никакой пощады им! Соберите всю вашу ненависть. Уничтожьте их раз и навсегда!

Дикий звериный рев был ответом на эту речь.

С чрезвычайным трудом мы пробились во дворец, где в зале заседаний Думы нашли многих представителей Совета рабочих депутатов и социал-демократической партии. Атмосфера была

напряженная. «Ужасно! Это преступление против революции!» — кричали лидеры левых.

Под взрывы ружейной пальбы и демонические крики, доносившиеся с улицы, Чхеидзе открыл совместное заседание двух Советов — рабоче-солдатского и крестьянского.

— От имени руководства Советов, — сказал Дан[38], — я вношу предложение о следующем: все члены Совета, здесь присутствующие, должны присягнуть, что сделают все от них зависящее — даже ценой жизни, если понадобится, — чтобы подавить преступный бунт против Советов и революции. Тех, кто не желает давать такую клятву, немедленно вывести из нашего состава.

На какой-то момент после его слов воцарилась полная тишина, затем раздались оглушительные аплодисменты. Вокруг себя я видел бледные лица депутатов, слышал пылкие слова: «Да, мы готовы умереть». Какое-то трагическое и героическое ощущение захватило всех нас.

Окруженные разнузданной толпой, посреди пушечной и пулеметной стрельбы, охраняемые лишь двумя солдатами у дверей, члены Совета впервые поднялись до такого величия и благородства, когда человек на самом деле готов победить или умереть.

В следующий момент группы большевиков, интернационалистов и левых эсеров, предводительствуемые Троцким, Луначарским, Гиммером и Камковым, вскочили с мест и закричали в унисон: «Протестуем! Взгляните на море рабочих и солдат, окруживших это здание. От их имени мы требуем, чтобы Совет объявил Временное правительство низложенным. Мы требуем, чтобы война немедленно была окончена. Мы требуем установления диктатуры пролетариата и коммунистического государства. Если не примете требования по доброй воле, мы вобьем их вам в глотки. Время колебаний прошло. Подчиняйтесь революционному пролетариату».

Это суть их слов. Большевики, чувствуя себя победителями, более не утруждались обращениями к Совету — они просто приказывали. Совет слушал их в молчании, каждый пытался сдержать свои неприязнь и гнев.

— Так чего же вы все-таки хотите? — спросил председатель. — Диктатуры Совета или вашей собственной диктатуры над Советом? Если первого, тогда прекратите угрожать, садитесь, дождитесь решения Совета и подчиняйтесь ему. Если, напротив, вы добиваетесь диктата над Советом, то что вы здесь делаете? У всех в этом зале нет ни малейшего сомнения в ваших намерениях. Не «вся власть Советам», а «вся власть вам в Советах». Для этого вы разожгли темные и обманутые массы. Для этого вы провоцируете гражданскую войну. Ну что же, мы принимаем ваш вызов. Уходите и делайте свое подлое дело.

Таким был наш ответ большевикам. После нескольких минут колебаний они хлопнули дверью, и резолюция Дана была единогласно принята.

Яростные речи произносились одна за другой. Моя голова

раскалывалась от перевозбуждения в спертой атмосфере зала заседаний, и я вышел во двор. В серых сумерках июльской ночи передо мною предстало бурное море солдат, рабочих, матросов... Тут и там стояли пушки и пулеметы, направленные на Таврический дворец, везде реяли красные знамена, непрерывно звучала ружейная стрельба. Все смахивало на сумасшедший дом. Толпа, требующая: «Вся власть Советам!», в то же время наводила на Советы орудия, угрожая им смертью и уничтожением.

Как только меня узнали, я был окружен толпой и в лицо мне полетели опасные вопросы и яростные угрозы. Я старался объяснить толпе, что Советы не владеют всей полнотой власти и поэтому требования большевиков абсурдны. Я пытался сказать им, что в результате их невоздержанности могут случиться большие беды. Но я говорил не с толпой, а с чудовищем. Глухой ко всем резонам, помешавшийся от ненависти и слепой злобы этот монстр просто громко выкрикивал идиотские лозунги большевиков. Никогда мне не забыть лиц в этой сумасшедшей толпе. Они потеряли весь человеческий облик, превратившись в настоящие звериные морды. Толпа вопила, визжала и яростно грозила кулаками.

— Члены Совета продались капиталистам!

— Предатель Иуда!

— Враг народа!

— Смерть ему!

Я сумел перекричать шум:

— Что, моя смерть даст вам землю или наполнит пустые желудки?

Странно, но это вызвало у нескольких стоявших передо мной животных взрыв смеха. Так легко настроение толпы колебалось от одного к другому!

А в зале заседаний Думы продолжались речи, речи, речи... На рассвете некоторые члены Совета свалились и заснули от изнеможения. Другие, шатаясь от усталости, продолжали говорить. Толпа все еще стояла на улице, усилившись несколькими новыми воинскими подразделениями. Мятежные солдаты захватывали одну стратегическую позицию за другой. Стрельба звучала громче, чем ночью, и пули очень часто впивались в стены здания. Измученный бессонной ночью, я снова вышел в дворцовый сад. Там я увидел три броневика. За нас или против? Конечно, против. Солдаты и матросы с винтовками толпились в саду. Внезапно раздался громкий взрыв, и все эти доблестные вояки бросились ничком на землю. Панику вызвали сами большевики. Один из солдат уронил ручную гранату, убившую несколько человек. Вообразив, что их атакуют силы, поддерживающие правительство, большевистские пулеметчики открыли беспорядочный огонь, убив еще больше людей. После чего некоторые бунтовщики решили разойтись по домам.

В пять часов дня Совет собрался снова, пришли и большевики

со своими последователями. Они знали, что настал момент, когда они должны либо победить, либо быть побежденными. И для победы они были готовы прибегнуть к крайним средствам силового давления. Но когда один из них выкрикивал с трибуны кровавые угрозы, дверь распахнулась и три офицера в серой от пыли форме, со следами дорожной грязи на сапогах, вошли в зал и направились к Чхеидзе. Отдав ему честь, они повернулись и старший офицер обратился к большевикам с такими словами:

— В то время как русская армия кладет все силы на защиту страны от врага, вы, солдаты и матросы, никогда не видевшие войны, бездельники и предатели, специалисты по мыльным пузырям, авантюристы и ренегаты, что делаете вы здесь? Вместо того чтобы драться с врагом, как подобает мужчинам, вы убиваете мирных граждан, организуете заговоры, помогаете врагам и встречаете нас, воинов великой русской армии, пулеметами и пушками. Какая низость! Но все ваше предательство напрасно. Я, командир полка велосипедистов, докладываю, что мои подразделения вошли в Петроград. Бунтовщики рассеяны[39]. Их пулеметы в наших руках. Ваши бойцы, храбрые против невооруженных горожан, встретив настоящих солдат, бежали как трусы, каковыми, впрочем, и являются. И обещаю вам, что всех, кто сделает хотя бы попытку продолжить или начать заново этот бунт, мы перестреляем как собак.

Повернувшись к председателю и козырнув ему еще раз, он добавил: «Имею честь доложить, что мы находимся в распоряжении правительства и Совета и ждем указаний».

Взрыв бомбы вряд ли произвел бы такой эффект, как эта речь. Бешеные, радостные аплодисменты, с одной стороны, вопли, стоны, проклятия — с другой.

Троцкого, Луначарского, Гиммера, Каца и Зиновьева корежило, по выражению моего товарища, как чертей от святой воды. Один из них сделал попытку что-то сказать, но ему сразу же заткнули рот. «Вон отсюда! Убирайтесь!» — кричали члены Совета, и большевики со своими приспешниками ушли.

Полчаса спустя военная музыка зазвучала в залах и коридорах дворца, два полка в полном вооружении приняли под охрану Думу. Большевики определенно потерпели поражение, и силы порядка победили вновь. Когда толпы были быстро рассеяны, мятежных солдат арестовали и разоружили. Около двух часов утра я добрался домой, свалился на кровать и тотчас же заснул.

5—6 июля 1917 года. Сегодня газеты опубликовали документы подтверждающие, что перед возвращением в Россию большевистские лидеры получили большие суммы денег от немецкого генерального штаба[40]. Новость вызвала всеобщее и единодушное негодование.

— Изменники! Немецкие шпионы! Убийцы!

— Смерть им! Смерть большевикам!

Так рычала и вопила толпа, еще вчера точно так же требовав-

шая крови врагов большевиков. Настроение общественности полностью изменилось, так что теперь приходилось защищать большевистских лидеров от расправы. Кое-кто из них сам добивался ареста, чтобы спасти жизнь. Чтобы не допустить самосуда над кронштадтскими моряками, Чайковский и я вынуждены были проводить их из Петропавловской крепости на корабли. Понимая, что с ними случится, попади они в руки необузданной в ярости толпы, «гордость и слава революции», как Троцкий называл их пару дней назад, съежились от страха и как собаки «поджали хвосты», слыша улюлюкание и проклятия зевак.

«Ты жив? С тобой все в порядке?» — это телеграмма от моей жены, которая находилась в Самаре. Конечно, со мной все было в порядке.

Сегодня Троцкого, Коллонтай и некоторых других арестовали. Ленин и Зиновьев бежали. Сейчас вопрос в том, что делать дальше? Мы, умеренные, не жаждем крови, хотя для того, чтобы пресечь повторение таких бунтов, необходимо проявить бóльшую твердость. Совет склонен быть более терпимым. Я же считаю, что терпимость в этом случае — не что, иное как слабость.

С бунтом покончено, но ничего не сделано, чтобы заставить замолчать ораторов, подстрекавших к нему, и наказать мятежников. Арестованные коммунистические лидеры также вскоре были освобождены.

Мне предложили на выбор три поста при Временном правительстве: помощника министра внутренних дел, директора русской телеграфной службы и секретаря премьер-министра Керенского[41]. После тщательного раздумья я решил принять последнее предложение, хотя и сомневаюсь, что в нынешних обстоятельствах я буду полезен своей стране. Однако, как помощник Керенского, сделаю все от меня зависящее.

Выработка закона о выборах в Учредительное собрание практически закончена. Проект закона очень демократичен, предусматривает полное и пропорциональное представительство всего населения — но мне кажется, что он также годится для современной России, как вечернее платье для прогулки на лошади.

Несколькими днями ранее, перед тем как я приступил к обязанностям секретаря министра-председателя Керенского, произошло событие, которое глубоко потрясло всех нормальных русских людей, даже тех, кто годами был связан с делом революции. Я говорю о ссылке царя Николая Второго и его семьи в Тобольск[42]. Это было сделано тайно, но за несколько дней до того мой старый друг и соратник господин Панкратов[43] зашел в редакцию «Воли народа» и сообщил, что назначен руководителем охраны императора и увезет его в ссылку. Панкратов был старым революционером, проведшим двадцать лет своей жизни в тесном каземате Шлиссельбургской крепости. Несмотря на это, он был весьма гуманным человеком, без тени неприязни к царю или к старому режиму в целом. Так что я был рад тому, что его

выбрали для этой миссии, и чувствовал уверенность, что он сделает все возможное, дабы императорская семья была устроена с такими удобствами, какие только возможны в их положении. Мотивы ссылки никоим образом не были злонамеренными. Напротив, я знаю, что Керенский хотел выслать семью в Англию[44]. Его план не осуществился только потому, что Совет не согласился на это. Именно экстремисты из Совета несут ответственность за плохие условия заключения для царя в Царском Селе. Его положение там в конце концов стало опасным, и если бы июльский мятеж продлился на несколько дней дольше, его, я уверен, обязательно бы убили большевики. Было совершенно необходимо отослать семью куда-нибудь, где их жизни были бы в безопасности и где бы экстремисты не могли заявить, что царь представляет собой опасность для революции. В Тобольске в то время было мало революционных чувств и совсем не было фанатизма, и под охраной команды Панкратова царю не грозили покушения на его жизнь. «И все же, — сказал Панкратов, — если большевики когда-нибудь возьмут верх, один Бог знает, что может случиться».

НОВЫЙ КРИЗИС

Отчаянные телеграфные сообщения о стачках среди рабочих, мятежах солдат и анархических настроениях крестьян вперемежку с телеграммами, выражающими поддержку правительства, от городов, земств, крестьян и рабочих. Все это я прочитываю и наиболее важные сообщения реферирую для Керенского. Однако, все, что я делаю, не имеет смысла, поскольку Керенский почти не занимается конструктивными делами, а вместо этого погружен в составление резолюций, которые ничего не дают правительству. Колеса государственного механизма крутятся вхолостую.

Наконец колоссальный катаклизм, катастрофа наступила. 26 августа[45] генерал Корнилов начал ее, двинув армию на Петроград с намерением свергнуть Совет и правительство и стать диктатором. Такова, по крайней мере, была версия Керенского, но мне Корнилов представлялся не таким большим грешником, как министру-председателю.

Я хорошо знал взаимоотношения Керенского и Корнилова задолго до их окончательного разрыва. Группа прокорниловских несоциалистов находилась в полной оппозиции к правительству Керенского, которое они обвиняли в быстром развале России[46]. Керенский, со своей стороны, характеризовал Корнилова и его сторонников как государственных изменников[47]. Для защиты от большевиков после июльских событий были созданы новые силы, но вместо объединения перед лицом общего врага армия патриотов разделилась на три лагеря[48]. Большевики были вне себя от радости. Чего еще они могли просить у судьбы? В Совете шла лихорадочная деятельность. Верховный комитет по борьбе

4—712

с контрреволюцией из 22 членов был избран[49], и я вошел в его состав. Весьма характерно, что Совет включил в него и нескольких большевиков, и мы оказались в неестественном положении, будучи вынуждены работать вместе с «красными» против патриотов. Первое, что потребовали большевики — члены комитета, было освобождение из тюрем их товарищей: Троцкого, Коллонтай и других. Несмотря на мои энергичные протесты, требование выполнили.

Большевик Рязанов[50] был одним из самых загруженных работой членов Верховного Комитета, он писал прокламации и выпускал бюллетени о положении дел. Кто-то заметил: «Ну можно ли было поверить, что Рязанов и Сорокин когда-либо станут работать вместе? Лично я нахожу это забавным».

Но я не находил это особенно забавным. Революция, как и политика вообще, часто сводит вместе случайных людей.

Верховный Комитет получил информацию: наша пропаганда оказалась столь действенна, что войска Корнилова уже колеблются и выражают нежелание продолжать поход на Петроград. Два-три часа спустя пришло недвусмысленное подтверждение того, что армия Корнилова находится на грани мятежа. Следующим утром генерал Крымов, командующий «контрреволюционными» воинскими частями, явился к Керенскому и после короткого разговора вышел и застрелился[51]. По-моему, все корниловское дело было трагедией. Мотивы Корнилова и Крымова, его главного помощника, были абсолютно чистыми и патриотическими. Ни в коей мере это не было «контрреволюцией».

Теперь триумф большевизма — это лишь вопрос времени. Правительство, потеряв уважение всех несоциалистических групп, отныне висело на волоске и его падение стало неизбежным.

* * *

Я должен был ежедневно выносить вид моей жены и друзей, страдавших от голода. Никто не жаловался, наоборот за веселыми разговорами мы старались забыть о пустых желудках. Ну что же, будем считать это тренировкой характера.

Во всех полках большевики организовали Военно-революционные комитеты. Это семена новых мятежей. Я приобрел револьвер, но застрелю ли кого-нибудь? Вряд ли.

Люди бегут из Петрограда тысячами, и действительно, чего бы они оставались в городе, столкнувшись с голодом и убийствами, делом рук большевистских орд?

— Советую тебе тоже уехать, — сказал мне друг, которого я провожал на вокзал. — Уезжай как можно скорее, иначе скоро будет поздно.

Но уехать из Петрограда сейчас? Я не должен, да и не хочу этого.

Октябрь — декабрь 1917 года. Пучина наконец-то разверзлась. Большевизм победил. Это было очень просто. Временное правительство и первый Всероссийский Совет[52] были свержены так же легко, как и царский режим. Через свои военно-революционные комитеты большевики захватили контроль над воинскими частями. С помощью Петроградского Совета подчинили себе рабочий класс. Эти солдаты и петроградские рабочие захватили все автомобили на улицах, заняли Зимний дворец, Петропавловскую крепость, вокзалы, телефонные станции и почтамт. Чтобы уничтожить предыдущее правительство и образовать новое, потребовались всего лишь 24 часа[53].

25 октября, несмотря не болезнь, я отправился к Зимнему дворцу, узнать новости. Добравшись до него, я обнаружил Зимний окруженным большевистскими отрядами. Было бы непростительной глупостью идти прямо к ним в лапы, я повернулся и пошел в Мариинский дворец в Совет Республики[54]. Там я узнал, что, в то время, как Керенский бежал на фронт за военной поддержкой, Коновалов и другие министры вместе с губернатором Петрограда Пальчинским забаррикадировались в Зимнем под охраной лишь батальона женщин-солдат и трех сотен кадетов[55].

— Это возмутительно! — бушевал социал-демократический депутат. — Мы будем протестовать против такого насилия.

— Что? Мы собираемся родить еще одну резолюцию? — спросил я.

— Именем Петроградского Совета, Совета Республики и правительства мы обратимся к стране и мировой демократической общественности, — ответил он, обидевшись на мое «легкомыслие».

— И что это будет, как не еще одна резолюция? — поддразнил его я.

— Мы обратимся к вооруженным силам!

— Каким вооруженным силам?

— Офицеры и казаки еще верны правительству.

— То есть те, кого революционные демократы считали контрреволюционерами и реакционерами? — настаивал я. — Разве вы забыли, какой удар нанесли по ним, особенно после провала корниловского мятежа? После всего этого как вы представляете себе, хотят ли они защищать нас? Думаю, напротив, они даже будут весьма довольны, тем что должно произойти.

Осажденных в Зимнем министров после штурма дворца не убили, а бросили в Петропавловскую крепость к царским министрам[56]. Но судьба женского батальона была много хуже, чем мы можем себе представить. Большое количество защитниц Зимнего было убито, а тех, кто избежал смерти, зверски изнасиловали большевики. Некоторые не выдерживали этого и умирали в страшных мучениях. Некоторых чиновников Временного правительства также убили с садистской жестокостью[57].

В редакции моей газеты я написал свою первую статью о победителях, клеймя их как убийц, насильников, бандитов и грабителей, и подписал ее полным именем, невзирая на протесты моих коллег и даже наборщиков[58]. «Пусть стоит, — сказал я, имея в виду подпись. — Мы все сейчас так или иначе смотрим в лицо смерти». Моя статья имела такой успех, что тираж этого выпуска нам пришлось увеличить в три раза против обычного. Мои друзья попросили меня не ночевать дома, и я решил последовать их совету. Кроме того, я согласился изменить свою внешность и перестал бриться. Многие поступали так же, брившиеся отращивали бороды, бородатые начинали брить лица.

Керенский потерпел поражение. Большевики захватили банки, государственные и частные, и моего друга Пятакова назначили комиссаром финансов. С фронта приходят новые леденящие душу новости. Генералиссимус Духонин убит вместе с сотнями других офицеров[59]. Наша армия превратилась в дикую, беспорядочно бегущую толпу, сметающую все на своем пути. Германское вторжение неизбежно.

Сегодня мой коллега Аргунов[60], один из основателей партии эсеров, попался в лапы «кошке». Издание газеты теперь будет сопряжено с большими трудностями. Вторжения в редакционные помещения и типографии стали обычным делом. Большевистские солдаты уничтожают отпечатанные тиражи и даже печатные машины. Формально мы подчиняемся приказам о прекращении издания газеты, но каждый раз она немедленно появляется под несколько видоизмененным названием. «Воля народа», запрещенная вчера, сегодня появилась под названием «Воля», потом «Народ», затем «Желание народа» и т. д. Газета «День» появляется как «Утро», «Полдень», «Вечер», «Ночь», «Темная полночь», «Час ночи», «Два часа ночи». Важно то, что наши газеты продолжают выходить. Читатель, не доставший газету утром, прочитает ее вечером.

Сегодня опять я едва избежал ареста.

Наше домашнее меню стало, мягко говоря, экзотическим.

Нет хлеба, но вчера в маленькой лавке мы нашли несколько банок консервированных персиков. Вместо хлеба испекли «печенье» из картофельной кожуры, и оказалось, что это вполне можно прожевать. Да здравствует революция, стимулирующая изобретательность и заставляющая людей быть более скромными в своих аппетитах и желаниях!

Выборы в Учредительное собрание должны быть проведены по всей России. Эти выборы — ответ страны на большевистскую революцию. Если коммунисты правы, то они получат большинство голосов. Очень скоро мы узнаем вердикт России. Конечно, большевики делают все, что в их силах, чтобы помешать выборам, а все, на кого объявлена охота, делают все возможное, чтобы обмануть охотников и облегчить проведение выборов[61]. За последнюю неделю я выступал на двенадцати митингах[62].

Опубликованы предварительные результаты выборов. Большевики проиграли. Вместе с левыми эсерами они далеко позади правого крыла эсеровской партии по числу мест в Учредительном собрании[63]. Я со своими товарищами набрал на выборах в Вологодской губернии около 90 % голосов[64]. Вчера вечером мы отметили это в высшей степени экстравага́нтным банкетом. Каждый съел кусочек хлеба, половинку сосиски, консервированные персики и выпил чай с сахаром.

Большевики потерпели явное поражение. И все же мы знаем, что они не намерены смириться с этим вердиктом. Пока надеялись на благоприятный исход голосования, большевики не возражали против Учредительного собрания. Теперь они попытаются запретить и разогнать его.

Тем временем я продолжаю играть роль мышки, убегающей от кошки. По закону все депутаты имеют иммунитет против ареста, но закон — это одно, а большевистская практика — другое. Все дороги ведут сейчас не в Рим, а в тюрьму. Я устал и измучен, частью напряженной работой, частью голодом.

27 ноября 1917 года. По закону сегодня должно открыться Учредительное собрание[65]. День выдался отличный. Прекрасное голубое небо, белый снег; на их фоне отлично смотрятся огромные лозунги и плакаты: «Да здравствует Учредительное собрание, хозяин России!» Толпы людей, несущие эти лозунги, приветствуют высшую власть в стране, настоящий голос народов России. Когда депутаты подошли к Таврическому дворцу, тысячи людей оглушительными криками приветствовали их. Но когда депутаты толкнулись в ворота дворца, они обнаружили их запертыми и охраняемыми вооруженными до зубов латышскими стрелками.

Надо было что-то немедленно предпринимать. Вскарабкавшись на железную ограду дворца, я обратился к народу, а другие депутаты в это время перелезали через ограду во двор. Им удалось отпереть ворота, и толпа ворвалась во двор. Ошеломленные дерзостью маневра, латышские стрелки колебались, и в результате двери дворца открылись, и мы вошли внутрь, сопровождаемые множеством горожан. В дворцовом зале провели заседание и призвали на нем российскую нацию защитить свое Учредительное собрание. Была принята резолюция, что невзирая на препятствия Учредительное собрание откроется 5 января[66].

Чтобы оно не сорвалось, мы ежедневно проводили митинги на заводах и среди солдат. В то же время лидеры эсеров продолжали работать над подготовкой основных законов и декретов, процедур и т. д. Эти совещания обычно проходили у меня на квартире[67].

Печать разрушения тяжело легла на Петроград. Вся деловая жизнь замерла. И ночью и днем мы слышали шум стрельбы. Безумие опустошения и грабежей захлестнуло города и даже сельские районы. Армия больше не существовала, и немцы могли идти куда угодно.

Сегодня последний день 1917 года. Я вспоминаю прошедший год с чувством горечи и разочарования.

На Новый год мы собрались вместе, депутаты и руководители партии эсеров. Глухая тоска, смешанная с мрачной решимостью умереть, сражаясь за свободу, сквозила в наших разговорах.

Этот нездоровый энтузиазм достиг апогея после слов, произнесенных моим другом К.[68], когда мы слушали знаменитую арию из оперы Мусоргского «Хованщина»:

> Ох ты, родная матушка Русь, нет тебе покоя, нет пути,
> грудью крепко стала ты за нас, да тебя ж, родимую, гнетут.
> Что гнетет тебя не ворог, знай, чужой, непрошеный,
> а гнетут тебя, родимую, все ж твои робята удалые;
> в неурядицах да в правежах ты жила, жила, стонала,
> кто ж теперь тебя, родимую, кто утешит, успокоит?..[69]

Эта ария потрясла нас до глубины души. И тогда К. сказал: «Мы не знаем, кто спасет Россию. Но как бы ни была тяжела сейчас твоя доля, дорогая Россия, ты не погибнешь. Восстанешь из пепла великой страной и великой нацией, самой могучей из всех держав на земле. Если для этого потребуется положить наши жизни, мы готовы».

Новогодний праздник закончился. Перспективы на 1918 год не ясны, но я верю в мою страну и ее историческую миссию.

Глава восьмая.

ИЗ БЕЗДНЫ[1]: ГОД 1918-й

В КРЕПОСТИ СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА

Попался! Наконец-то большевистская «кошка» поймала свою мышь, и теперь у меня масса времени для отдыха. Я был арестован 2 января 1918 года[2]. После заседания комитета Учредительного собрания[3] мы с Аргуновым[4] пошли в редакцию «Воли народа». Поднявшись на третий этаж дома, где она находилась, мы не заметили ничего необычного, но, когда открыли дверь, обнаружили пять или шесть человек с направленными на нас револьверами.

— Руки вверх! — закричали они.

— В чем дело?

— Вы оба арестованы.

— Члены Учредительного собрания не подлежат аресту, — сказал я, прекрасно понимая бесполезность моих слов.

— Забудьте об этом. Нам приказано арестовать вас. Вот и все.

Час спустя нас на автомобиле доставили к месту назначения, и мы оказались за стенами Петропавловской крепости — петроградской Бастилии.

В кабинете коменданта крепости мы увидели шесть-семь

большевистских солдат, занятых пустой болтовней. Некоторое время они не обращали на нас внимания, но один тип, играя револьвером, раз или два направил его в нашу сторону. В конце концов мы нарушили свое молчание.

— Заключенным разрешается видеться с родными и получать от них еду, одеяла, книги и белье?

— Вообще да. Но вам — нет.

— Почему?

— Потому что вы заслуживаете не просто заключения, а немедленной казни.

— За какие же грехи?

— Попытку покушения на жизнь Ленина[5].

Эта новость была действительно очень интересной. Пока мы переваривали ее, комендант Павлов, известный своей патологической жестокостью, вошел в комнату и, холодно взглянув, приказал солдатам препроводить нас в камеру № 63. Через несколько минут двери камеры в Трубецком бастионе, лязгнув, закрылись за нами. Итак, теперь мы — заключенные Петра и Павла.

Шестьдесят третий номер этого знаменитого бастиона крепости представлял собой маленькую каморку с плотно зарешеченным окошком. В ней было грязно и холодно, по стенам текли полузамерзшие струйки воды. Койки или стульев не было. Вместо этого на полу просто валялся рваный соломенный матрац. Когда наши глаза привыкли к полутьме, мы различили силуэты двух человечков, нарисованные карандашом на стене, и краткую подпись: «В этой камере находились в заключении посол Румынии и атташе румынского посольства». Их арестовали несколькими днями раньше, и сейчас мы попали в камеру, куда их поместили вначале.

— По крайней мере, какое-то утешение — оказаться в столь аристократическом месте, — заметил Аргунов.

— Ладно, — сказал я, — в царских тюрьмах сидеть довелось, посидим и у коммунистов. Именно этот разнообразный опыт и сделал из меня практика и теоретика криминологии.

— Пожалуй, буду звать тебя рецидивистом, — пошутил Аргунов.

— Ладно, мы ведь в своей компании, — огрызнулся я.

Мы продолжали подтрунивать друг над другом, и, когда Аргунов упомянул о чувстве голода, я напомнил ему, что коммунисты самые умные и они лучше нас знают, хотим ли мы есть. Проведя около часа в зубоскальстве, легли спать, притулившись вдвоем на сыром и рваном соломенном мате. В тишине и темноте наши души боролись с тайными опасениями. Я думал о жене, напрасно ожидающей меня дома, ее страданиях, когда она узнает причину моего отсутствия, о трудностях, стоящих перед Учредительным собранием, о судьбе нашей газеты. Эти беспокойные мысли вместе с холодом, сыростью и голодом отогнали сон. Неожиданно мой товарищ по камере, также неспящий, начал смеяться.

— Предполагал ли кто из нас, готовивших и приветствовавших революцию, что его когда-нибудь арестует революционное правительство?

Мы посмеялись вместе, и я спросил Аргунова:

— Что общего у этой камеры и царской тюрьмы, где ты сидел?

— Ничего! Между ними такая же разница, как между постоялым двором и первоклассным отелем.

— Ага, это и доказывает, что ты контра.

Опять тишина, прерываемая звуками падающих капель воды, периодическим стаккато пулеметного огня и ежечасным боем крепостных курантов, вызванивающих «Сколь славен наш Господь...»[6]. Сколько сотен революционеров прошлого слушали этот колокольный звон! Какие трагедии разыгрывались под эти звуки! За два столетия эти толстые стены видели отчаяние, страх, смерть и казни. Внутри крепостных стен покоятся кости многих революционеров. Здесь в крепостном соборе лежат останки Романовых от Петра I до Александра III. Тени мятежников и самодержцев наблюдают за ураганом революции, яростно проносящимся над их прахом. Революция закончится, ее действующие лица исчезнут, но тени эти останутся в крепости дожидаться новых комедий и трагедий, разыгрывающихся на земле.

В семь утра дверь камеры отворилась, и охранник принес горячую воду, немного сахара и четверть фунта хлеба каждому из нас. «Вас скоро переведут в более удобную камеру, — сказал он ободряюще. — Я, по крайней мере, постараюсь». И достаточно быстро, примерно через час, он вернулся и бодро позвал нас: «На выход!»

Новая камера действительно была много лучше — суше и теплее, с двумя койками и подобием стола, прикрепленного к стене.

— Здравствуйте, как дела? — голос приветствовал нас сквозь глазок, маленькую дырку в двери. — Кто мог подумать, что мы когда-нибудь свидимся тут!

Взглянув в глазок, я увидел профессора Кокошкина и доктора Шингарева[7], бывших министров правительства Керенского.

— Представители суверенного народа приветствуют вас в этой гробнице свободы, — сказал Авксентьев[8], бывший министр внутренних дел.

Вскоре и другие подошли к нашей двери, поздравить с благополучным прибытием: министры Терещенко, Кишкин, Бернацкий[9], князь Долгорукий[10], руководитель партии конституционных демократов, Пальчинский[11], бывший военный комендант Петрограда, и Рутенберг, ставший впоследствии одним из отцов-основателей еврейского государства в Палестине. Они принесли нам хлеб, чай, сахар, несколько книг и тюремные новости. Арестованные сразу же после Октябрьской революции, они находились в крепости более двух месяцев и были старожилами, привилегированными жильцами, если так можно выразиться. Вместе с ними в самом

дружеском расположении духа подошли и представители царского режима: Пуришкевич, лидер монархистов в Думе, Щегловитов, бывший министр юстиции, и Сухомлинов, военный министр в царском правительстве. Они все познакомились с нами, и я представляю, какое удовольствие получили, видя членов нового правительства в тех же обстоятельствах, что и они сами.

В четыре часа дня нас вывели во двор тюрьмы на прогулку, и мы получили хорошую возможность встретиться с друзьями. Их внешность изменилась к худшему: Кокошкин и Шингарев выглядели по-настоящему больными. Терещенко, большой comme il faut[12], всегда чисто выбритый и изысканно одетый, превратился в бородатого мужчину в потрепанных брюках и свитере. Пуришкевич выглядел, как дворник, чьи обязанности, впрочем, он и в самом деле исполнял в тюрьме. У Кокошкина и Шингарева оказалась открытая форма туберкулеза, и их вскоре перевезли в Мариинскую больницу. Расхаживая туда и обратно по двору, товарищи предупреждали, что наше положение в крепости очень опасно. Охрана бастиона, меньшевики-интернационалисты, были приличными людьми, но гарнизоном крепости управляли большевики. В связи с якобы имевшей место попыткой покушения на Ленина они выпустили прокламацию, угрожавшую всем узникам крепости Варфоломеевской ночью и армянской резней. «Чем быстрее уничтожим всю „контру", тем будет лучше для дела революции», — говорилось в заключительных строках этого воззвания[13].

Позже мы узнаем правду об этой «попытке» покушения на Ленина. Шина его автомобиля лопнула, и Ленин испугался, приняв хлопок камеры за пистолетный выстрел. Вот и все, что стояло за этим[14].

Мало-помалу мы привыкли к жизни в тюрьме. В семь утра был подъем, и мы получали кипяток, немного сахара и четверть фунта хлеба на день. В полдень мы обедали горячей водой, в которой плавало несколько капустин и крошечный кусочек мяса. В четыре часа дня давали чай, т. е. просто горячую воду, и в семь вечера ужин — еще немного горячей воды.

Наша диета состояла из очень большого количества кипятка и почти ничего сверх этого. Но, поскольку друзья по несчастью давали нам дополнительно какую-то еду, мы не умирали от голода. Мрачность тюрьмы была едва выносима. В нашей камере с одним высоко расположенным окошком, выходящим на крепостную стену, читать было трудно даже в полдень. Утром и после обеда в камере становилось совсем темно. Иногда электрический свет включался между шестью и десятью часами вечера, часто не более, чем на один час. Бо́льшую часть своего времени нам приходилось проводить в тоскливом безделье. Трудности жизни в условиях революции, однако, развили в нас острое чувство юмора, которое помогало переносить испытания с определенной философской отрешенностью.

Разговаривая с друзьями во время получасовой ежедневной

прогулки, обмениваясь новостями, счищая снег и скалывая лед во дворе тюрьмы и рассматривая подолгу голубое небо над крепостью, мы поддерживали свое физическое состояние и дух. Часы предвечерней темноты и ночи тянулись очень медленно. Мы проводили их, лежа или меряя камеру шагами, в бесконечных мыслях о семье, друзьях и нашей несчастной стране. Только неделю спустя после ареста мы получили сведения о наших женах. Госпожа Аргунова была арестована одновременно с нами, и я боялся, что мою жену тоже могли взять. Где она сейчас? Если на свободе, то как ей живется? Существование в Петрограде было таким опасным, что я сходил с ума от беспокойства.

С большим волнением мы ждали приближающуюся дату открытия Учредительного собрания. Интенсивная стрельба около полудня 5 января обеспокоила нас, но мы старались уверить себя, что это всего лишь обычная «музыка» революции. В восемь вечера мы выяснили, частично через охранника, частично из вечерних газет, которые он принес, что Учредительное собрание открылось. Церемония открытия, выборы председателя[15], первые речи, буйство толпы на галерке и тихое, как бы с оглядкой, поведение депутатов, поставленных в ужасные условия, — все это мы и ожидали. Я был немало изумлен, прочитав в той же газете речь, которую собирался произнести на первом заседании. Она была весьма подробно изложена, и только те, кто был осведомлен о моем аресте, знали, что на самом деле моего выступления не было вовсе. Утренние газеты печатались заранее, и в них не могла попасть информация, что реальная ситуация вокруг Учредительного собрания была днем крайне критической. Тысячи людей вышли утром на улицы приветствовать его, но их встретили пулеметами большевики, убив и ранив много народа[16]. Улицы, как мы узнали позже, были усеяны телами тех, кого настигли пули. Таков был прием, оказанный большевиками Учредительному собранию России и невооруженным горожанам, которые вышли на улицы, чтобы своими глазами увидеть осуществление заветной мечты российского народа. Узнав эти ужасные новости, мы пришли к выводу, что разгон Учредительного собрания и арест депутатов неминуемо произойдет в ближайшие несколько часов.

На следующее утро, в день святой Епифании, нам разрешили присутствовать на службе в крепостном соборе св. Петра и Павла. Мы слушали, стоя среди саркофагов российских императоров, мирно спящих вечным сном.

«Учредительное собрание разогнано», — прочитали мы в тот день в газетах. Совершенно павшие духом, после обеда узники собрались в тюремном дворе, чтобы попрощаться с Кокошкиным и Шингаревым, которых в тот вечер должны были перевести в больницу.

Днем позже один из охранников, разносивший обед, сказал: «Слыхали что-нибудь о своих друзьях?»

— Нет. А что произошло?

— Вчера ночью их убили коммунисты, ворвавшиеся в больницу.

В ужасе мы выслушали этот рассказ. План убийства Кокошкина и Шингарева был замыслен еще когда они сидели в крепости, причем с полного одобрения коменданта Павлова[17]. «Я должен сказать вам, — добавил охранник, — что и вас могут попытаться убить. Мы постараемся помешать этому, но если их придет много, единственное, что мы сможем сделать, — открыть двери камер и ворота этого сектора двора. Только из тюремного двора все равно нет выхода».

— В крайнем случае, сделайте хоть это, — попросили мы. — Лучше умереть во дворе, чем в камерах, как крысам в ловушках.

Снова вернулись мучавшие нас мысли о Кокошкине и Шингареве. Было трудно представить себе что-либо более бессмысленно жестокое, чем это убийство. Оба этих человека посвятили свои жизни служению обществу и Отечеству, а сейчас, мертвые, превращены во врагов народа. Наступила ночь, но нам было не до сна.

Около 11 вечера мы услышали голоса, звуки отпираемых и закрываемых дверей, бренчание ключей. «Не тревожьтесь, — сказал охранник через дверь. — Это просто прибыли новые заключенные».

«Чертова перечница», антибольшевистский журнал, напечатала следующие «социальные заметки» о тех днях: «С блеском открылся зимний сезон на курорте Петропавловской крепости. Бывшие министры, государственные мужи, политики, народные избранники, писатели и другие почтенные господа царского и Временного правительства, депутаты Советов и Учредительного собрания, лидеры монархистов, кадетов, социал-демократов и социал-революционеров собрались на этом прославленном курорте, знаменитом своими методами лечения холодом, голодом и принудительным отдыхом, иногда прерываемыми хирургическими операциями, убийствами и прочими зверствами. Есть основания надеяться, что в ближайшем будущем избранный круг пациентов станет еще больше и еще более блистательным».

В некотором смысле условия нашего заключения стали лучше. Мы получали письма, и дважды в неделю разрешалось посещение близкими родственниками. Еженедельные встречи с женой и одним из дорогих друзей были моментами счастья в моей тюремной жизни. Однажды меня навестил крестьянин из Вологодской губернии[18], чем я был очень тронут.

— Антихристы! Что они делают с тобой? — яростно возмущался он.

— Осторожно, приятель, — предостерег я, — они могут арестовать тебя.

— Пусть арестуют. Мне шестьдесят семь лет. Что эти негодяи могут мне сделать? Ничего!

Моя жена и друзья прилагали все силы, чтобы добиться на-

шего освобождения. Пока их усилия были тщетны, но не безнадежны.

Нас подбодрило и известие о том, что убийство Кокошкина и Шингарева вызвало бурю негодования в Петрограде, что даже Ленин осознал преждевременность подобных зверств и временно приостановил их[19].

Ничто не вечно в этом мире, кончилось и наше заключение в Петропавловской крепости. Как-то вечером охранник зашел в мою камеру и неожиданно объявил: «Ваша жена и друг сейчас в конторе с ордером на освобождение. Собирайте вещи и на выход». Другом оказался человек, с которым я был мало знаком, — старый революционер по фамилии Крамаров[20]. Сейчас он был одним из интернационалистов и сотрудничал с большевиками. Тем не менее, он храбро выступал против методов ЧК и, услышав о моем аресте, активно включился в работу по моему освобождению. Сейчас, когда дело успешно завершилось, он лично пришел в крепость убедиться, что я покинул тюрьму без насилия со стороны охраны. Уходя, мы остановились у конторы, чтобы подписать пропуск, и Крамаров, обращаясь к звероподобному Павлову, с презрением сказал: «Ну, прохвост, как думаешь, когда тебя вздернут?» Эти слова, казалось, совсем не обидели коменданта, а, наоборот, были ему приятны. «Какой черт сумеет вздернуть меня?» — спросил он, смеясь. Крамаров ответил, что знает множество людей, которые бы с удовольствием сделали это, на что Павлов самодовольно сказал: «Я знаю, но большинство из них сейчас здесь, в крепости».

Через десять минут я покинул Петропавловскую крепость, где провел в заключении пятьдесят семь дней и ночей.

КОШКИ-МЫШКИ

Проведя около недели в Петрограде, мы с женой уехали в Москву. Город Петра Великого умирал, и вместе с ним уходила целая эра российской истории, период, который за два столетия превратил Московскую Русь в Российскую империю, добившуюся великих достижений в искусстве, литературе и науках. Теперь все это было в прошлом, даже правительство большевиков переезжало в Москву[21].

В первопрестольной продолжалась деятельность всех антибольшевистских групп. «Союз за возрождение России», «Союз за Отечество и революцию»[22], эсеры, меньшевики, конституционные демократы сообща работали над главной задачей: разрабатывали план общего восстания против большевиков и немецких оккупантов. В правительственном стане возникли трения, левые социал-революционеры возмутились из-за позорного малодушия большевиков перед германскими войсками. Начался также конфликт между большевиками и чехословацкими легионерами[23]. Одним словом, лидеры коммунистов так дискредитировали себя, что им оста-

лось только искать поддержку и опираться на военную силу: латышские части, отряды, созданные из немецких и австрийских военнопленных, китайцы и вообще все авантюристы и уголовники составляли ее костяк. Настоящее царство большевистского террора началось именно тогда, в условиях неблагоприятного для них общественного мнения.

Мы приступили к изданию газеты «Возрождение», но, как только был напечатан первый номер, большевистские агенты сделали налет на редакцию, пытаясь арестовать редакторов. Они уничтожили весь тираж, разбили формы и матрицы, сломали печатные станки. Тем не менее мы продолжали готовить газету и в течение месяца регулярно выпускали ее. Игра в кошки-мышки началась снова, но на этот раз гораздо более жестокая.

В Москве тогда я встретился с Керенским, которого не видел с большевистского переворота. Придя к нему на конспиративную квартиру, я увидел длинноволосого, бородатого мужчину в очках с толстыми синими стеклами, всей внешностью напоминавшего интеллектуала периода 60—70-х годов прошлого века. Непосвященный человек не поверил бы, что этот мужчина был еще несколько месяцев назад фактическим правителем России[24].

В конце мая многие депутаты Учредительного собрания и члены «Союза за возрождение России» начали покидать Москву для выполнения особых миссий в соответствии с разработанным планом освобождения России от коммунистической власти и германских войск. Я был послан в Великий Устюг, Вологду и Архангельск[25].

В Архангельске в это время была настоящая мясорубка. Большевистский комиссар Кедров[26] казнил людей сотнями и даже тысячами. Свои жертвы коммунисты расстреливали, топили или забивали до смерти. Чувствуя, как шатается почва под ногами, они пытались укрепить свои позиции безудержным террором.

В Вологодской губернии положение было несколько лучше, хотя красный террор ощущался и здесь. Я поэтому был вынужден пробираться в эти места с большой осторожностью, скрывая настоящий характер моей миссии, которая заключалась в организации поддержки в Устюге и Котласе планируемому свержению большевиков в Архангельске. Район Устюг — Котлас был важен для успеха задуманного. Расположенный между Вологдой и Архангельском, в устье трех рек — Вычегды, Сухоны и Двины, он был центром сосредоточения огромных запасов провианта для военных нужд[27]. Будучи связующим звеном между антибольшевистской Сибирью и европейской частью России, район этот должен был сыграть важную роль в деле восстановления восточного фронта против немцев, свержении большевиков и возвращении власти Учредительному собранию. Планировалось освободить русский Север — Архангельск, Устюг, Вологду и Ярославль, с одной стороны, и регионы Поволжья и Центральной России — с другой, чтобы взять в кольцо обе столицы, захваченные большевист-

скими силами. То, что район Устюг — Котлас был для меня родным, где я обычно проводил летнее время, весьма помогало в выполнении моей миссии.

В конце июня Николай Чайковский отбыл из Вологды на пароходе. Я изменил внешность и присоединился к нему в Устюге. Наш путь в Архангельск был опасным предприятием. Если бы коммунисты узнали, кто мы, нам пришлось бы по-настоящему туго. За три дня путешествия на пароходе мы несколько раз едва избегали опознания. Наши трудности усугублялись откладывавшейся высадкой британских экспедиционных сил и, соответственно, переносом даты свержения власти коммунистов в Архангельске. В конце концов мы решили, что Чайковский продолжит свой путь, а я вернусь в Устюг, чтобы закончить подготовку к свержению местных коммунистических властей в устюжско-котласском регионе. Несколько дней спустя большевики были изгнаны из Архангельска, и Чайковский стал там во главе новой демократической власти[28]. В Устюге все было готово к перевороту[29], но нарушение своих обещаний частью представителей командования английского экспедиционного корпуса радикально изменило ситуацию. После свержения коммунистов в Архангельске они в панике бежали пароходом на Котлас — Устюг и поездом на Вологду. Англичане и мы не встретили никакого сопротивления со стороны отступающего врага. Преследуя коммунистов более двухсот верст вдоль Северной Двины и значительное расстояние по железной дороге из Архангельска в Вологду, английское командование отдало приказ своим войскам остановиться, хотя большевики попрежнему панически и без какого-либо сопротивления отступали.

Когда коммунисты увидели, что преследования нет, они остановили отступление и подтянули крупные подкрепления из других частей России. Мы могли бы легко сбросить коммунистов и в Устюге, но одних наших сил оказалось недостаточно, чтобы справиться со вновь прибывшими большевистскими отрядами под командованием крупных военачальников. Вместо того чтобы присоединиться к демократическому правительству Архангельска, как было задумано изначально, я и другие борцы с коммунистами в устюжско-котласском регионе попали в рискованное положение: большевики начали на нас охоту, назначив цену за поимку живыми или мертвыми[30].

В БЕГАХ

Дальнейшее сопротивление с нашей стороны стало невозможным, поэтому мы скрылись в лесах под Устюгом. Теперь мы могли добраться до Архангельска только пешком. Готовясь к переходу, мы решили оставаться некоторое время близ Устюга, после чего, разделившись на несколько групп и условившись о способах связи, обнялись на прощание и разошлись в разные стороны.

Моей первой целью было село, где я провел пару дней у знакомого крестьянина. Затем отправился в другое село, начав таким образом долгие скитания в окрестностях Устюга. Это было очень трудно — скрываться в русских селах, где каждый чужак вызывает интерес и привлекает внимание. В разгар гражданской войны, когда кругом полно шпионов, никогда не знаешь, кто из сотни друзей, готовых дать тебе приют, готов в то же время предать тебя. Пользуясь случаем, мне хочется выразить искреннюю благодарность всем добрым и храбрым селянам, которые с великим риском для себя давали мне убежище и помогали перебираться с одного места на другое. Моя голова, за которую назначали награду, все еще на плечах лишь благодаря этим верным «Иванам». Они предупреждали меня о всех спасностях, делали все, что в их силах, облегчая мое существование, организовывали связь с женой, короче, всячески помогали.

Несколько раз едва избежав встречи с латышскими стрелками, искавшими меня, я скитался от села к селу, от одного убежища к другому в течение трех недель. (Детали моих похождений описаны в главе XI «Листков из русского дневника».)

Наконец, когда скрываться таким образом стало положительно невозможно, мы с товарищем решили уйти глубже в леса. Оттуда, если позволят обстоятельства, мы надеялись отправиться в Архангельск, покрыв расстояние в несколько сотен верст. Некоторые друзья по подполью, включая моего брата Василия, действительно попытались осуществить это. Насколько я знаю, все они были схвачены и расстреляны коммунистическими карательными командами.

В тридцати с лишним верстах от Устюга я встретился с товарищем по несчастью, вполне, впрочем, в хорошем настроении и готовым, как и я, ко всему. Мы с трудом купили муки, лука и картошки на пять дней пути, топор, винтовку с несколькими патронами, котелок, чайник, табаку, иголки и нитки. Все это вместе со сменой белья, двумя-тремя книгами и куском парусины для ночлега, было сложено в вещмешки. Мы провели ночь в стогу сена и поутру ушли в лес. Часть пути нас провожали два крестьянина. В тот же день после обеда конный отряд красных прискакал в село, откуда мы только что ушли, но к этому времени мы были уже далеко.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ

Леса! Бесконечные леса! Больше тридцати верст до ближайшего села. Чувство свободы после пережитых опасностей. Какое счастье! Веселье переполняло нас, и мы принимались то петь, то кричать во весь голос. Нам удалось найти хижину, сооруженную крестьянами, которые зимой приходят туда охотиться на медведей, бить белок и прочую дичь. В ней мы и поселились. Над головой была крыша, вокруг стены из неотесанных бревен, а под

ногами мох, сухая трава и парусина. На топку был припасен добрый штабель дров, а рядом протекал ручей с хорошей водой. Здоровый воздух и никаких революций, «охотников за головами», напоминаний о проклятом безумии коммунизма. Постоянные осенние дожди подпортили нам комфорт, но, надо признать, ненамного. Время летело незаметно. Заготавливая дрова, охотясь, собирая грибы и ягоды, читая, ведя дневник, беседуя, мы коротали наши дни. Устав после дневных трудов, мы спали как убитые. Так прошло пять суток и настало время идти в какое-нибудь село за провизией и новостями.

Мой товарищ знал местность лучше меня и имел больше знакомых в окрестных селениях, поэтому было решено, что он отправится первым, а если не вернется к полудню в воскресенье — все происходило в четверг, — я пойду его искать. Наступило воскресенье, солнце перевалило за полдень, а товарищ все не возвращался. Я выждал три часа и, взяв с собой немного вещей, необходимых в лесу, вышел на поиски. Отшагав около десяти верст, я увидел человека, идущего навстречу. Но он ли это? Да, в самом деле он, но Боже! В каком виде! Он шел навстречу в одной рубахе.

— Где тебя угораздило оставить брюки и ботинки?

— В реке, — весело ответил он.

— Тогда будем коммунистами и поделимся одеждой, — сказал я и отдал ему плащ, ботинки и брюки, оставшись в нижнем белье. Мой друг сильно дрожал от холода.

Когда мы добрались до хижины, он рассказал о своих приключениях. В первом селе не получилось достать еды, и ему пришлось перебраться через реку, чтобы попасть в другое село, где жил его товарищ. Там его накормили ужином и уложили спать с бане. Однако, засыпая, он вдруг услышал голоса и увидел людей у дверей дома своего приятеля. Он немедленно скрылся в лесу за домом, надеясь, что эти люди уйдут и ему удастся забрать сумку с едой. Но утром он увидел трех оседланных коней возле дома, крадучись вышел из лесу и бросился бежать к реке, а затем вдоль берега к тому месту, где была спрятана лодка. Оглянувшись, он увидел, что красные скачут за ним, тогда ему пришлось быстро скинуть одежду и броситься в воду. В него стреляли, но моему другу удалось достичь противоположного берега. Полуголый, он до ночи просидел в лесу, а затем двинулся к нашему убежищу. Риск, возбуждение и голод с усталостью ужасно сказались на нем. Я развел сильный огонь, чтобы согреть его, и пошел искать какую-нибудь дичь, но неудачно. Ягоды и грибы послужили нам ужином, а на завтрак были ягоды и кипяток. Требовалось срочно достать еду, так что мы снова пошли по селам. Уже в темноте мы осторожно приблизились к дому, где жил один из родственников моего друга — крестьянин Степан. Однако тот, напуганный нашим внезапным появлением, сказал шепотом: «Уходите ради Бога. Красные в селе. Уходите!»

Он дал нам немного хлеба, пару лаптей и штаны для моего товарища, который весь путь до села проделал босиком, и мы ушли, взяв со Степана обещание привезти провизию на следующий день. В лесу мы жадно съели хлеб и, дрожа под дождевым душем, стали ждать утра.

— По-моему, мы слишком часто купаемся и слишком редко едим, — печально произнес мой спутник. Я же напомнил ему, что все могло кончиться гораздо хуже.

Наступило утро, шли час за часом, а Степан все не появлялся. Около полудня мы услышали, как кто-то костерил свою лошадь, что было условным знаком доставки продовольствия. Пять или шесть фунтов муки и примерно сотня фунтов картошки — это все, что Степан смог принести нам. Сложив продукты в мешки, мы потащились по направлению к бассейну реки Нижняя Йерга. Избегая селений, мы шли пять часов под дождем, сгибаясь от поклажи. Стало совсем темно.

Пять недель пролетели в переходах по этим бесконечным лесам с одного места на другое. Когда мы оказались в сравнительно удобном месте, то построили на скорую руку убежище из поваленных деревьев, мха, травы и ветвей. Между двумя рядом стоящими стволами устроили кострище. Наше меню состояло из картофеля, мучной болтушки и тех ягод, что удавалось собрать. Время от времени мы убивали какую-нибудь мелкую дичь, но нам приходилось беречь патроны, которые еще могли понадобиться против двуногих зверей. Пытались также рыбачить, но неудачно, поскольку был не сезон. Днем мы занимались делами, но вечерами, когда темнело, садились у костра, курили самокрутки, разговаривали, размышляли и слушали лесную симфонию. Слагаемая из тысяч разнообразных звуков, эта музыка всегда завораживала меня.

Ночи наши наполняли мечты, но днем почти всегда мы были голодны и мокры с ног до головы. Мы буквально начали пухнуть от голода и чувствовали себя больными и разбитыми. Временами к страданиям от недоедания и изнеможения присоединялось беспокойство о наших домашних, повергая нас в совершенное отчаяние. А иногда ничто не волновало нас, и мы были почти счастливы.

Однажды вышли на огромное болото. Около пяти часов шли через него по колено в болотной жиже. Лапти наши развалились, ступни были изрезаны травой, все болело, но мы еще не дошли до конца проклятой трясины, ни хотя бы до места, где можно было отдохнуть и поесть. Везде, насколько хватало глаз, тянулась набухшая, желто-зеленая поверхность болота с окнами чистой воды. Кое-где росли по одному маленькие и чахлые деревья. Никогда не забыть мне это проклятое болото. Вода была такая холодная, что ноги совершенно потеряли чувствительность. Часто мы падали от усталости и переводили дыхание, лежа на ковре клюквы. Это были минуты, когда нам казалось, что пришла

смерть, что мы испускаем последний вздох и никогда уже не выберемся из этих нескончаемых клюквенных полян. Да и какая разница, где умирать! Но все же, подбадривая друг друга, мы продолжали идти и, наконец, — о счастье! — кошмарное болото кончилось.

На следующий день мы были вознаграждены находкой охотничьей избушки со сложенным в ней примитивным очагом. Разведя огонь, мы стащили с себя лохмотья, выстирали их и, просушив над очагом, устроили себе парную баню. Дикая утка, пролетая, отразилась в воде речушки, протекавшей рядом с избушкой. Мой приятель, заметив ее, схватил винтовку и выстрелил. Утка упала в реку, и течение начало уносить подранка. Мы бросились в реку за добычей. Вот так нам удалось попариться, искупаться в ледяной воде после парилки да еще вкусно поужинать утятиной впридачу. Ну а после ужина мы побаловались чашкой горячего чая, выкурили самокрутки из сухих листьев и почитали рассказы Джека Лондона об Аляске.

* * *

Так мы бродяжили на лоне природы, время от времени загораясь желанием вкусить немного от плодов цивилизации. В свободные минуты обсуждали судьбы революции, и те сомнения, что родились в моей голове в самом начале социального переворота, выросли и укрепились. Во время моих лесных размышлений я избавился от многих иллюзий и красивых мечтаний, в реальность которых когда-то верил.

«ОСТАВЬ НАДЕЖДУ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ»[31]

С наступлением зимы наше положение стало намного хуже. Ягоды и грибы исчезли, а доставать еду в селах приходилось с превеликими трудностями. Когда выпал снег[32], наши следы облегчили задачу «охотникам за головами». От простого патрулирования окрестностей сел они перешли к глубоким поисковым рейдам в лесах. Иногда каратели сами погибали в глуши, верстах в пятидесяти от расположения своего отряда, но чаще им удавалось выследить и убить свои жертвы. Все это делало неизбежным наш уход из-под защиты леса и возвращение в город. Накануне этого мы осторожно вышли к просеке, и следующим утром я, обняв на прощание друга, который должен был идти днем позже, отправился в город. До Устюга было пятьдесят верст с гаком[33], а мне надлежало войти в него между шестью и семью часами вечера. В шесть уже было совсем темно, в семь же начинался комендантский час и проверка документов.

Я шел споро, зная, что вся моя жизнь теперь в ногах, и надеясь, что они не подведут. Осторожно обходя все села и деревни, я шел без остановок и в четверть седьмого благополучно добрался

до нужного дома. Первая часть моих революционных похождений закончилась; а относительно того, что ждет меня дальше, я еще пребывал в счастливом неведении.

В этом новом убежище я жил бесшумной жизнью бесплотного призрака. Ни засмеяться, ни кашлянуть, ни подойти к окну, ни выйти из дома, быть готовым при малейшей опасности лезть в чулан и, замерев, сидеть там, пока случайный посетитель не уйдет, днем и ночью прислушиваться к подозрительным звукам — такую цену приходилось платить за существование. Я уподобился отшельнику, который дал обет одиночества и молчания. День шел за днем, и чем больше я размышлял, тем более неизбежным казался мне конец моего безопасного затворничества. Я знал, что меня ищут, и именно в Устюге. Рано или поздно они найдут меня. В конце концов я принял отчаянное решение.

— Друзья, — сказал я вечером, когда все собрались вместе. — Не вижу смысла продолжать такое существование и всего бояться. Знаю, что меня скоро арестуют, и оставаться здесь — значит погубить вашу семью и дом. Я не могу и дальше рисковать вашей безопасностью и жизнями. Надо покончить со всем разом: и с моими страданиями, и с вашими трудностями.

— Что ты задумал? — поинтересовались мои друзья.

— Сделаю то, что наши охотники-северяне используют как последний шанс в смертельной схватке с медведем. Один кулак они суют ему в пасть, а другой рукой стараются заколоть зверя ножом. Что-то вроде этого я и намереваюсь сделать. Завтра я суну руку в пасть чека.

— Ты сумасшедший! — кричали мои приятели, но на их возражения я заметил, что мое положение и сейчас уже нестерпимо, к тому же на свободе мне осталось гулять никак не более нескольких дней. Я понимал, что у меня не более одного шанса из тысячи, но я был обязан сделать все возможное, чтобы получить его.

Надеюсь, никогда в жизни не придется мне более пережить такую сцену прощания, какую мне устроили на следующий вечер. Прощаться и знать, что расстаешься навсегда, — ужасно тяжело. Мать, провожающая сына на войну, может представить себе, что чувствовали той ночью моя жена, брат Прокопий, я и наши верные друзья. Дважды я уходил и дважды возвращался. Последние поцелуи, прощания, объятия и сдавленные рыдания, последний взгляд и прощальное крестное знамение, затем мне положили в рваные карманы еще несколько сигарет и выпроводили. Когда я очутился в темноте, мелькнула мысль, что еще не поздно вернуться. Но нет, жребий брошен. Я направился к зданию ужасной чека.

Два латышских стрелка в сапогах встретили меня в приемной. Бледные лица с яркими губами и тусклыми глазами, которые, казалось, и видят и не видят меня, густой запах алкоголя — таким было мое первое впечатление от чека.

— Профессор Питирим Сорокин,— представился я. — Дайте знать начальству, что я пришел.

В тусклых глазах палачей промелькнуло что-то вроде замешательства. После недолгого молчания один из них позвонил в колокольчик. Тут же вошли четверо вооруженных людей и встали, уставившись на меня. Я прикурил сигарету. После паузы один из солдат кивнул, чтобы я следовал за ним, и повел меня в кабинет начальника чека. И дом, и даже комнату начальника я знал очень хорошо, бывая там ранее в качестве гостя. Однако вместо удобного кабинета с книгами и картинами теперь я увидел грязную берлогу с висящими клочьями обоев, разбитой мебелью и грудой немытой посуды на столе и разбросанными по полу бутылками. Портреты Ленина, Троцкого и Луначарского украшали стены. За столом сидел временно исполняющий обязанности руководителя чека Сорвачев[34]. Он был одним из местных коммунистов, не самым кровожадным из них, но очень боявшимся начальства.

— Садитесь, — пригласил он. — И позвольте задать вам несколько вопросов. Откуда вы явились?

— Из леса.

— Из какого леса?

— Там, где течет Северная Двина, — сказал я, указывая ложное направление, где меня вовсе не было.

— Как долго вы были в лесах?

— Около двух месяцев.

— С кем?

— Один.

— А где вы были до этого?

— В селах.

— В каких селах?

— Это не имеет значения.

— Вы должны назвать их. Я требую.

— Вы можете требовать сколько влезет, я не назову никаких имен.

— Ладно. Почему вы ушли в леса?

— Потому что ваши агенты уделяли мне слишком много внимания. Кроме того, я люблю побыть на лоне природы.

— Были ли вы в Архангельске?

— Нет.

— У нас есть доказательство, что вы были там.

— Я говорю нет. Покажите, какого рода доказательства у вас есть.

— Это вас не касается.

— Вот как?

— Почему вы пришли к нам?

— Узнать, почему меня преследуют и выяснить, что вы собираетесь делать со мной.

— Думаю, что вы хорошо знаете, почему вас преследуют, как, впрочем, и то, что мы сделаем с вами. Лично я готов освободить

вас, но ваша судьба не зависит от моего желания. Вас следует немедленно расстрелять. Но поскольку вы слишком крупная птица для нас, а ваша основная деятельность имела место в Петрограде и Москве, мы должны запросить центральное ЧК, что делать с вами. Вы можете, однако, быть уверенным, что это лишь отложит вашу казнь на несколько дней, — заключил он[35].

— По крайней мере, спасибо за вашу прямоту, — сказал я.

— Сейчас я отошлю вас в тюрьму.

Несколько минут спустя в сопровождении четырех вооруженных людей под покровом ночи меня препроводили в тюрьму. Когда мы подошли к ней, я оглянулся в ту сторону, где оставил самых дорогих мне людей, и мысленно послал им последнее «прощай».

«Lasciate ogni speranza voi ch'entrate», — «Оставь надежду всяк сюда входящий» — мне вспомнились слова на вратах ада, описанного Данте, в тот момент, когда мы входили в ворота тюрьмы.

Я был в царстве смерти.

КРАСНЫЙ ТЕРРОР

Снова в тюрьме! Не слишком ли много для одного человека за год? Революция щедра на человеческие страдания.

* * *

В камере Великоустюжской тюрьмы[36] вместе со мной сидят около тридцати человек. Некоторых из них я знаю. Это три студента, которые ходили ко мне на лекции в Петроградском университете, два учителя, два священника, два адвоката и четверо купцов. Большинство остальных — крестьяне и рабочие. Население России вне тюрем значительно сократилось, но в пределах тюремных стен оно постоянно растет. До революции в этой тюрьме было едва тридцать заключенных, сейчас — более трех сотен. Вдобавок, около двухсот заключенных содержатся в монастыре, превращенном в тюрьму. Это ли не замечательный шаг вперед по пути к свободе?

Некоторые заключенные лежат прямо на полу в своих лохмотьях, другие сидят и ловят насекомых. Когда я вошел в камеру, на меня посыпались вопросы, какие новости, каковы виды на будущее, как, почему и когда я был арестован.

— Обычным путем, за обычное преступление, — был мой ответ.

— А вот мы не знаем, почему нас арестовали, — возразили некоторые.

— Вас арестовали именем революции. Вам говорили, что революция — наше божество? А божеству вопросов не задают, — отвечал я тоном потенциального висельника.

Бедняги! Особенно крестьяне и рабочие! «Буржуазия», студенты, адвокаты, негоцианты и священники знают, что их бросают в тюрьмы как заложников[37], но рабочие и крестьяне совершенно не понимают, почему их арестовывает свое же рабоче-крестьянское правительство.

— Что, вы думаете, они сделают с нами? — спрашивали некоторые.

— Возможно, вас скоро выпустят.

Но я не пояснял, что понимал под этим «освобождением». Если в час освобождения вместо радостных лиц дорогих им людей они узрят трагический лик смерти, прощание с жизнью будет сравнительно коротким. Около часа уйдет на транспортировку к месту казни, и еще час, возможно, будет потрачен в ожидании очереди на расстрел. Намного лучше — помучаться эти два часа, чем неделями жить в камере смертников.

Я закурил сигарету и предложил остальным сокамерникам, оставив две для себя. Я хотел сохранить две сигареты с одной целью — выкурить их по дороге на казнь. Это кажется немного странным, но человеческая психология — вещь вообще очень странная. Здесь в тюрьме все общее. Здесь построен настоящий коммунизм, более эффективный, чем тот, который насаждается силой за стенами тюрьмы. Пища, которую приносят тому или другому заключенному в передачах с воли, делится на всех. Здесь практикуется полное равенство. Смерть — это общая судьба всех нас. Условия существования у нас одинаковы.

Однако, несмотря на коммунизм и равенство, все заключенные голодают, я в том числе. Многие месяцы недоедания оставили чувство постоянного голода. Даже в этом положении есть свои плюсы. Опять у меня есть шанс продолжить изучение психологии голодания. Быть оптимистом можно в любых условиях. Все зависит от точки зрения.

Подали «обед». Четверть фунта хлеба, который лишь слегка напоминает настоящий хлеб, и миска горячей воды с плавающей в ней картофелиной составляли мое «меню» в обед, завтрак и ужин. Большинство моих товарищей по несчастью жадно съедали свои картофелины сразу, некоторые пытались выкроить что-нибудь на вечер, но у них не получалось. Только четыре человека в камере были свободны от чувства голода. Они лежали в углу и не обращали внимания на еду, находясь в тифозной горячке.

Странная вещь! Мои товарищи не только не старались держаться подальше от этих бедолаг, но даже, скорее, желали быть поближе к ним.

— Друзья, осторожнее, держитесь подальше от тифа, — предостерегал я их.

Они улыбались.

— Это не так плохо — подхватить тиф, — сказал один.

И все согласились. Действительно, очень странные люди!

* * *

Ночь! Около восьми часов вечера. Люди в камере ложатся спать. То есть они просто растягиваются на полу и затихают. Несмотря на намерение не думать о своем положении и о будущем, мои мысли все время возвращаются к этому. Характер сегодняшнего допроса в ЧК и последние замечания того, кто вел допрос, не оставляют никаких сомнений относительно моей судьбы: меня должны расстрелять.

Я воспринял приговор спокойно, если слово спокойствие вообще подходит к такому случаю, но до конца еще не осознал его. Сейчас, в ночной темноте, до меня дошел весь ужас этого приговора.

После того как заключенные заснули, дверь в камеру неожиданно открылась, и девять или десять коммунистов вошли в помещение. Начальник палачей, латыш по фамилии Петерсон[38], хрипло скомандовал: «Петров, Дьяков, Тачменёв, Попов, Сидоров, Константинов, наденьте пальто и следуйте за нами. Нет, вам не надо брать с собой вещи», — сказал он крестьянам, которые, вообразив, что они будут освобождены, решили захватить и свои пожитки.

С бледными лицами, безумными глазами и трясущимися руками жертвы пытались натянуть на себя свои лохмотья. Все их движения были лихорадочны. Они походили на загипнотизированных сомнамбул. Только двое, студент Попов и крестьянин Петров, до некоторой степени сохранили хладнокровие. Они пожали нам руки, и Петров сказал:

— Прощайте, товарищи. Не поминайте лихом. Если вы выйдете отсюда живыми, расскажите обо всем моей семье и передайте это жене. Пальто и сапоги мне больше не нужны, а детям могут пригодиться. — Он перекрестился и поклонился на прощание.

Попов обнялся и поцеловался с остальными студентами и со мной.

— Да здравствует Россия! Смерть коммунистам, палачам русского народа, — воскликнул он, выходя из камеры.

— Заткнись, собака! — прокричал Петерсон и ударил студента револьвером по лицу. Тонкая струйка крови побежала по щеке Попова.

— Да здравствует Россия и долой коммунистов-палачей! — снова крикнул студент.

— Я покажу тебе, контрреволюционная сволочь! — сказал палач, направляя револьвер на Попова.

— Я не боюсь. Стреляй!

Прозвучали один за другим три выстрела, студент упал. Еще одна душа отлетела. Испуганная тишина воцарилась на несколько минут, а затем дикие крики ужаса и ропот возмущения заполнили камеру. Тачменёв впал в истерику и бился в конвульсиях.

— Поднимите тело и следуйте за нами! — приказал Петерсон.

Палачи и их жертвы исчезли. Глубокая тишина снова напол-

нила камеру. Как ужасно это молчание и как ужасны бледные лица моих товарищей и лихорадочны их взгляды. Наконец один из адвокатов сказал:

— От судьбы не уйдешь, не будем думать об этом.

Заключенные начали тихо разговаривать, священник стал в углу на колени и продолжил молитву. Через некоторое время мы снова легли спать, но не могли заснуть. Смерть была слишком близко от каждого из нас.

* * *

Сегодня была их очередь, завтра, возможно, придет моя. Я пытался представить свои последние минуты. Боялся ли я их? Нет. То, что я чувствовал, было не страхом, а возмущением. Я рисовал себе путь на свою Голгофу — холм, где обычно казнили осужденных. Это место я знал очень хорошо. Сколько раз я бывал на этом красивом холме, поросшем соснами. Как часто я любовался прекрасным видом, открывавшимся с вершины холма! Как мирно он выглядел тогда, и насколько ужасен этот холм стал теперь. Вероятно, меня выведут вместе с другими осужденными, в окружении двух или трех десятков коммунистов. По пути я выкурю две оставшиеся сигареты. Идя на казнь, мне придется пересечь улицу, где живут мои жена и брат. Почувствуют ли они, что я прошел рядом с ними в последний раз? Может быть, сердце подскажет им это, и они выйдут на дорогу? Может быть, мне улыбнется счастье взглянуть на них на прощание. Через полчаса мы дойдем до холма. Затем нам прикажут рыть собственные могилы. Я откажусь. Пусть коммунисты сами роют их. Лично меня не волнует, похоронят ли нас после расстрела. Наконец, нам прикажут снять пальто и обувь, которые они заберут как «достояние революции», и выстроят шеренгой. Если количество осужденных будет большим, кому-то придется ждать своей очереди и смотреть, как умирают другие. Когда наступит и мой черед, раздастся команда «Пли!». Интересно, услышу ли я залп прежде, чем потеряю сознание? Будет ощущение острой боли, но, если они стреляли хорошо, все быстро кончится, если нет — придется какое-то время помучиться. Боюсь ли я страданий? Вовсе нет. Тогда почему весь мой организм, моя душа, мое «Я» восстают против этого? Почему я чувствую отчаяние? Нет, я не боюсь, я просто очень хочу жить!

В камере почти темно. На полу лежат тела — пушечное мясо революции. Тишина. Только время от времени раздаются тяжелые вздохи и вскрики бредящих тифозных. Тиф! Я начинаю понимать, почему мои товарищи не боятся заразиться. Действительно, не так плохо впасть в тифозную горячку, ничего не слышать и не видеть. Все в мире относительно.

Семерых молодых, здоровых, хотя и сильно истощенных людей бросили в тюрьму сегодня. Их жизни кончены. Если не ночью, то

завтра они будут казнены. И они знают об этом. Трое из них молча преклонили колени в углу и молятся. Эта молитва — последняя дань жизни, высшее и самое чистое проявление духа. Кому понадобилось, в чьих интересах лишить жизни этих молодых, сильных людей, не проживших и половины отмеренного им срока? «Их смерть необходима во имя счастья человечества и светлого будущего грядущих поколений!» Хотел бы я посмотреть на эти счастливые поколения, которые построят свое счастье на крови и страданиях предыдущих генераций. Думаю, если у них будут хотя бы зачатки нравственности, они не посмеют быть счастливы. Стоп! Я начинаю философствовать. А сейчас, в «коммунистической академии ада», это не совсем уместно.

Меня перевели из общей камеры в одиночную. Кажется, мое дело близится к концу. Здесь, в полном уединении, мои думы еще настойчивее возвращаются к вопросу: быть или не быть? «Моя реакция на происходящее, — говорю я себе, — с бихевиористской[39] точки зрения — есть просто выражение инстинкта самосохранения. На какое-то время направление моим мыслям задает научное любопытство. Я начинаю анализировать ситуацию, определяющую мои реакции. Я рассматриваю под этим ракурсом свое топтание в камере от стены до стены, свою бессонницу, общие ощущения. Было бы любопытно изучить сейчас мои физиологические процессы и сделать хронометрическую фотографию движений[40]. Вероятно, они несколько необычны. Вероятно, я и сам сейчас непохож на себя. Я не смотрелся в зеркало уже много недель, но могу себе представить, как должен выглядеть в этих лохмотьях, небритый, распухший от голода и всклокоченный. В общем я, наверняка, далек от нормального человеческого облика.

Через маленькую дыру в двери слышу шепот:

— Дружище, как ты?

Я заглядываю в соседнюю камеру и вижу моего друга Зепалова[41].

— Боже мой! — восклицаю я. — И ты тоже здесь!

— Как видишь.

— Значит, перейти линию фронта тебе не удалось?

— Да, меня схватили.

— И что теперь?

— Теперь, через несколько дней, меня расстреляют.

День или два спустя охранник сообщил мне, что мой друг казнен.

Еще одна бесценная жизнь загублена. Хотелось бы мне встретить Смилгу, Ветошкина[42] и других большевистских главарей, которых Зепалов спасал от арестов и кому щедро помогал. Они «отблагодарили» его. Убийцы!

Семерых из Ветлуги убили сегодня ночью. Революция, это прожорливое чудовище, не может жить без человеческой крови.

Я до сих пор жив. Все дела сделаны: последние письма жене и друзьям написаны. В одиночке время течет очень медленно.

Я плохо сплю. Каждое утро пытаюсь читать и писать, но без особого успеха. Сконцентрироваться на чтении удается только на несколько минут. С шести вечера до полуночи я со страхом прислушиваюсь к звукам тяжелых шагов, раздающихся в коридорах тюрьмы. Именно в это время «красные попы» приходят за ежедневными жертвами своему «богу». За мной или не за мной? Когда шаги удаляются, я говорю себе: «Твой черед еще не пришел».

* * *

Сегодня дверь моей камеры внезапно открылась, и вошел комиссар юстиции[43]. Мне говорили, что он был питерским рабочим и сравнительно порядочным человеком. Он тщательно закрыл дверь и, понизив голос, сказал мне: «Гражданин Сорокин, сейчас вы — наш враг, но я помню ваши лекции в рабочей школе в Петрограде перед революцией. Они очень много дали нам, а вы по-настоящему помогли рабочим».

— Боюсь, что я плохо учил вас, если вы, мои студенты, оказались вместе с коммунистами.

— Не будем понапрасну спорить, — ответил он. — Несмотря на ваши теперешние взгляды, думаю, что вы могли бы быть полезны стране как ученый. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти вас, хотя надежды почти нет. Не говорите никому о нашей встрече. До свидания.

Дверь закрылась. Странный человек этот комиссар, но, во всяком случае, не трус. Если его товарищи из чека узнают о визите ко мне, он быстро окажется на моем месте.

* * *

Через маленькое окно моей камеры можно видеть кусок поля за тюремной стеной. Я часами стоял у окна, надеясь, что смогу увидеть кого-либо из друзей или жену, и сегодня был чудесным образом вознагражден за терпение. Стоя у окна, я внезапно заметил ее. Какое счастье! Я закричал и стал махать грязным полотенцем, чтобы привлечь ее внимание, и это мне удалось. Моя бедная и дорогая жена! Несколько минут мы молча смотрели друг на друга. Это все, что мы могли, но какое это было счастье! Благодарение Богу![44]

Наступила первая годовщина большевистского переворота — 7 ноября. Вчера «красные попы» принесли своему ненасытному богу небывалые человеческие жертвы. Двенадцать казненных сразу. Теперь, сказали нам, три дня никого не будут казнить. В официальной газете это представлено как „амнистия". Ну что же, мы все получили три лишних дня жизни, пока чудовище будет переваривать мясо последних жертв. Возможно через три дня оно так проголодается, что потребует дополнительного питания.

Меня снова вернули в общую камеру. Почему? Не знаю. В камере многое изменилось. Двое умерли от тифа, одного освободи-

ли, человек двадцать пять «освободили» от жизни. На место выбывших пришли новые заключенные, в основном крестьяне. Свято место революции пусто не бывает.

Три сравнительно спокойных дня минули. Мои опасения относительно аппетита революции подтвердились. Сегодня в десять вечера жрецы ненасытного молоха снова явились за жертвами. Но вместо трех—пяти человек, т. е. средней ежедневной дани, они взяли шестнадцать осужденных сразу. Как обычно, фамилии жертв громко зачитывались по списку. Все названные стали суетливо натягивать пальто и прощаться с остающимися. Все, кроме одного. Он не двинулся с места и продолжал лежать на полу.

— Я не пойду, — сказал он. — Если желаете расстрелять, вам придется самим нести меня.

— Тогда, может быть, это заставит тебя пошевелиться, — сказал все тот же Петерсон, приставив револьвер к голове лежавшего на полу человека.

— Стреляй! Лучше умереть здесь, чем там, — безучастно ответил заключенный.

— Как хочешь! Вытащите его! — крикнул Петерсон.

Снова ужасная тишина повисла в камере. Затем раздались четыре выстрела в тюремном дворе.

— Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего и прости ему все согрешения вольныя и невольныя, и даруй ему Царствие Небесное, — молился старый крестьянин, стоя на коленях и истово крестясь. Все заключенные тоже опустились на колени и начали творить крестные знамения.

— Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся, — затянул молитву священник, — Твои бо есмы рабы, да не постыдимся[45], — подхватили молитву все заключенные в полный голос.

Это была истинная молитва. Никогда прежде я не слышал ничего подобного. В ней полной мерой отразились любовь к жизни, отчаяние и страдания этих людей, и вся вера в Бога их беспомощных душ.

* * *

— Сорокин, одевайтесь, пойдете с нами, — такой приказ получил я от четырех коммунистов, вошедших сегодня в нашу камеру. Вот, наконец, подошла и моя очередь. Ну что же, я был готов. Только почувствовал, как внутри меня что-то внезапно оборвалось и холодный озноб прошел по телу. Собрав все свое мужество, не торопясь, я начал прощаться с сокамерниками. «Прощайте, друзья... прощайте».

— Сюда, — один из конвоиров указал на дверь тюремной канцелярии. Человек с длинным носом предложил мне сесть. Я сел.

— Вам знакома эта телеграмма? — он протянул мне клочок бумаги.

— «В четверг Н. Чайковский выезжает из Вологды на пароходе „Учредитель"», — прочел я. — Нет, никогда не видел ее.

— Тем не менее эта телеграмма адресована вам, разве нет?

— Я мог бы с таким же успехом заявить, что она адресована вам.

— Вы можете упорствовать, отрицая очевидное, — сказал чекист, допрашивавший меня, — но это бесполезно. Ваше участие в контрреволюционном выступлении в Архангельске известно, и приговор ваш уже вынесен.

— Если это так, что еще от меня нужно?

— Уведите его.

В камере меня встретили поздравлениями, но надежды это не прибавило. Сегодняшний допрос подсказал мне, что моя песенка подходит к концу.

Дни ползут, как вши, один за другим. Каждую ночь одна и та же процедура отбора жертв на убой. Ожидание становится совершенно невыносимым. Было бы легче пойти и встретить смерть, чем медленно умирать день ото дня. Трудно сохранять внешнее спокойствие много недель подряд. Два дня, три, пять — куда ни шло, но неделями! — это очень трудно даже для самых храбрых людей. Я старался простудиться, заразиться тифом, что угодно, лишь бы приблизить конец. Все остальные поступали так же. Между нами возникала настоящая конкуренция за место рядом с тифозными больными. Некоторые снимали вшей с тех, кто был уже без сознания и умирал, и сажали насекомых на себя.

...Сегодня расстреляли семерых.

...Сегодня — троих.

...Сегодня только одна жертва.

...Сегодня — девять человек.

Смерть ходила рядом, но пока не трогала меня. Сегодня еще трое расстреляны. Боже мой! Как долго будет продолжаться эта пытка? Я помню описание якобинского террора. Красный террор очень похож на него. История повторяется.

Только что привели шестьдесят семь новых заключенных, среди них пять женщин и четверо детей. Это крестьяне, которые осмелились сопротивляться, когда коммунисты явились «национализировать» все их зерно, скот и другое имущество. На подавление бунта в селах были посланы пушки и пулеметы. Три населенных пункта разрушены до основания и сожжены, много крестьян убито, сотня арестована[46]. Те шестьдесят семь человек в ужасном состоянии — руки переломаны, на теле рваные раны и кровоподтеки. Маленькие дети горько плачут. Сколько же они выдержат в этом аду? Если страдают отцы, то почему маленькие безгрешные души должны мучиться вместе с ними? Тюрьма теперь переполнена.

Сегодня нас стало меньше. Большинство крестьян казнены. Одного ребенка оставили сиротой.

Благодарю Господа за сегодняшний день! Мне впервые раз-

решили выйти со всеми заключенными на сбор топлива по берегу Сухоны. Эта большая привилегия прежде была дана всем, кроме меня и двух других политических заключенных. В группе из примерно шестидесяти человек мы вышли из тюрьмы под строгой охраной. На улицах заключенные жадно собирали окурки, капустные листья и мерзлый картофель. Несколько друзей узнали меня, когда я проходил мимо, и поспешили к жене и брату сообщить об этом. Часом позже я увидел в некотором отдалении дорогих мне людей. В течение двух часов тяжелого труда я блаженствовал, видя их. Когда наша колонна потянулась обратно в тюрьму, мы прошли совсем рядом с ними. Слезы потекли из моих глаз. В лохмотьях, небритый, грязный, анемичный, я являл собой печальное зрелище. И все же я благословляю этот день, что дал мне радость встречи с женой и братом.

ВОСКРЕШЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

Сегодня, 13 декабря, я пишу в дневник не в тюрьме, а на железнодорожной станции Луза[47]. Вчера около трех часов пополудни меня в очередной раз вызвали в тюремную канцелярию. Войдя в кабинет, я увидел жену. Что это значит?

— Садитесь, профессор Сорокин, — это был мой следователь, но говорил он теперь с ноткой подобострастия в голосе. — Эта статья в «Правде» может представлять интерес для вас.

Он показал статью Ленина обо мне[48]. Главной мыслью ее было, что люди моего типа, представители крестьянства по происхождению и демократы по прежней деятельности, лишь по несчастливому стечению обстоятельств оказались врагами коммунистов и заслуживают особого к себе отношения. Задачей коммунистов должно стать привлечение их к сотрудничеству. Наличие в коммунистической России интеллектуалов и образованных людей было бы благом для страны.

— Мы получили приказ от самого Ленина[49], — чекист подчеркнул два последних слова, — отправить вас в Москву в распоряжение Центральной ЧК. Завтра утром вы выезжаете. Мы все организуем.

— Моя жена сможет поехать со мной?

— Нет, но она получит разрешение присоединиться к вам через два-три дня.

— Может ли она принести мне чистую одежду? Эта, — я показал на свои лохмотья, — немного запачкалась.

— Да, конечно.

Следующим утром я в сопровождении главного палача, латыша Петерсона, и русского чекиста был доставлен на станцию Луза. Над головой синело чистое зимнее небо, в лицо дул холодный ветер, жизнь, чудесная жизнь, звала и манила меня снова. Я пытался представить себе, как этот мираж стал реальностью, но не смог и бросил это занятие.

Когда прибыл поезд, мы сели в вагон «особого назначения», судя по надписи на нем. Это был комфортабельный международного класса спальный вагон, предназначенный специально для агентов правительства, в то время как остальной народ путешествовал и на крышах, и на площадках, и под днищем общих вагонов. И если все остальные пассажиры ехали в тесноте и давке, то поборники равенства удобно располагались в купе, ели мясо, хлеб, пили вино и закусывали черной икрой. Вот уж действительно равенство!

Три дня я ехал под охраной этих чекистов. Они между делом поведали мне, как охотились за мной, скольких людей убили, назвав среди прочих имена нескольких моих друзей.

Утром 16 декабря 1918 года[50] мы прибыли в центральную ЧК в Москве. Там я встретил среди заключенных профессора Каминку, только что привезенного из Петрограда. Вскоре камера начала заполняться «свежим уловом» — студентами и студентками, священником, двумя литераторами, рабочими, мошенниками, профессиональными ворами и двумя проститутками. В помещении не было стульев, и мы сидели на полу. Около семи вечера агент в очередной раз вошел в камеру и объявил мне, что я освобожден и могу уйти, когда пожелаю.

Скрывая сильное волнение, я последовал за ним в канцелярию и, пока выправлялись бумаги, огляделся в этом центре машины террора. В кабинете находилась привлекательная женщина, изысканно одетая и увешанная множеством драгоценностей. Весело болтая, она работала с кипой документов. Прочие обращались к ней: «Товарищ Петерс», из чего я сделал вывод, что она была женой или сестрой самого главного террориста Петерса[51]. Очевидно, коммунисты, потерпев неудачу в деле обеспечения всеобщего счастья, занялись устройством своего собственного благополучия.

Наконец мне выдали бумаги, и, прижав их к груди, я вышел на улицы Москвы. Сознание того, что я спасен и в самом деле восстал из мертвых, совершенно ошеломило меня. Я долго бродил по улицам, не соображая, куда иду. С трудом собравшись с мыслями, повернул к дому моего старого друга. Но на звонок дверь открыл незнакомый человек. Он не имел представления о том, что стало с моим приятелем, так что я направился на квартиру другого товарища. В его доме также жили чужие люди. По третьему адресу я застал моего старинного друга профессора Н. Кондратьева, который в первый момент не признал меня. Когда я назвался, он вскричал: «Бог мой! Как же ты изменился! Постарел по крайней мере лет на двадцать».

— Это время бежит так быстро, — усмехнулся я. — Несколько месяцев этой славной эпохи прогресса равны двадцати годам в нормальной жизни. Первым делом дай мне сменить белье. Мое полно вшей.

Он отвел меня в ванную комнату помыться и переодеться.

Вода была холодная, как лед, но я испытал настоящее наслаждение от мытья и, вслед за этим, от горячего чая, за которым мы обсудили похождения и мытарства, мои и наших общих друзей. Три дня спустя я имел счастье встретиться с женой и другом, с которым мы так долго блуждали по лесам.

Несколько слов об этом неожиданном избавлении. Это дело рук моего старого студента, комиссара, который приходил ко мне в тюрьму. Он дал знать Пятакову и Карахану — в прошлом моим друзьям, теперь членам правительства — о смертном приговоре, и они, по старой памяти, пошли к Ленину и потребовали моего освобождения. А Ленин, рассчитывая нажить политический капитал на великодушии, написал статью в «Правду» и приказал освободить меня[52].

Поскольку слово чести меня не связывало[53], я чувствовал себя вправе поступать так, как подсказывала совесть. Так что если моя деятельность после освобождения и не одобрялась большевиками, — это их дело, а не мое.

СТУПЕНИ В КОММУНИСТИЧЕСКИЙ РАЙ

Проведя несколько дней в Москве, я уехал в Петроград. Уже на Николаевском вокзале увидел мерзость запустения. Город был словно зачумленный.

Голодный и расстроенный этим зрелищем, я искал лавку, чтобы купить еды, но ничего не нашел. Придя в собственную квартиру на Надеждинской улице, я обнаружил, что ее заняла еврейская семья.

За исключением нескольких книг и рукописей все мое имущество исчезло. Некоторые книги лежали возле печки, показывая, куда все девалось.

— Пожалуйста, извините нас, — сказала женщина, — мы не знали, вернетесь ли вы когда-нибудь. Кроме того, было так холодно, а у нас не было топлива.

В белье с чужого плеча, худых ботинках и рваном плаще, что носил в лесу, я пошел к соседям. И там меня тоже встретили удивлением переменам в моей внешности.

— Вы взгляните на себя, — ответил я. — Вы тоже изменились.

Госпожа Дармалатова засмеялась: «О, да, я и мои дочери сейчас носим одежду на несколько номеров меньшую по размеру». Услыхав о том, что я стал бездомным, она сказала: «Занимайте комнату или две у нас[54]. К нам должны были подселить двух или трех коммунистов на квартиру, но лучше если вместо них поселитесь вы».

Теперь оставалось решить только проблему хлеба насущного. С великими трудностями я получил вожделенные карточки на хлеб, продукты, табак, топливо, одежду. Профессора как «полупаразитическая прослойка» получали карточки второй категории, которые едва позволяли не умирать с голоду[55].

Закончив коллекционирование карточек, я посетил университет и Психоневрологический институт, чтобы сообщить моим коллегам, что я жив, и выяснить, каково мое нынешнее положение в университете. Мне снова предложили старую преподавательскую должность в университете и институте, и было решено, что начну читать лекции и вести семинары после Рождества[56]. Меня также избрали профессором социологии в Сельскохозяйственной академии и в Институте народного хозяйства. Я принял оба эти предложения, т. к. нуждался в дополнительных средствах существования. В то же время два больших кооперативных союза, еще не национализированные тогда, заказали мне учебники по праву и социологии.

В столовой университета я встретил еще одного издателя — Ф. Седенко[57], — спросившего меня, как долго я буду тянуть с написанием «Системы социологии». Все мои подготовительные материалы к этому труду, которые я собирал длительное время, были утеряны, о чем я и сообщил Седенко. Он же убеждал меня, что по опыту, в наших обстоятельствах откладывать что-либо на потом — просто глупо.

— Сегодня ты жив, завтра — мертв. Лучше опубликовать нужную книгу даже с некоторыми дефектами, чем ждать неизвестно чего, — сказал он. — Немедленно приступай к своей «Системе», и я опубликую ее.

Зная, что он прав, я принял это предложение. Вскоре моя жена приехала из Москвы, и мы начали жить и работать на «поприще коммунистического культурного строительства».

Вечером 31 декабря 1918 года мы собрались вместе с семьей Дармалатовых и несколькими близкими друзьями встретить Новый год. Каждому был подан кусок хлеба, пирожное, сделанное из картофеля, и стакан чая с кусочком сахара. В комнате было так холодно, что все сидели в шапках, кутаясь в платки, шали и пледы. Пробило полночь, время поздравлений и тостов в иные времена. Сейчас же была произнесена только одна речь:

— Ужасный год кончился. Возблагодарим Бога, что он ушел. Пусть память о наших дорогих друзьях, погибших в этом мрачном году, живет вечно. От наступающего года мы не ждем ни радости, ни спокойствия. Если к концу его мы, наши родные и друзья останемся живы, то все будут счастливы. Есть ли у нас мужество встретить грядущие испытания?

Мы сидели в молчании и меланхолии. Каждый печально думал о тех, кто умер, и горячо молился за тех, кто оставался в лапах «красного монстра».

Глава девятая.

ЖИЗНЬ В ЦАРСТВЕ СМЕРТИ: 1919—1922

НА ПОПРИЩЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Себя мы называли «троглодитами»[1]. Не то чтобы мы жили в пещерах, но уверен: настоящие пещерные люди имели больше удобств, чем было у девяноста пяти процентов населения Петрограда в 1919 году. Квартира госпожи Дармалатовой, к примеру, состояла из восьми больших комнат, но в ту суровую зиму можно было пользоваться лишь двумя. Она с дочерьми жила в одной, мы с женой — в другой комнате. В коммунистическом обществе все должно быть естественным, и мы действительно имели естественную температуру в жилище, отапливаемом преимущественно нашим дыханием. Карточки на топливо у нас были, но не было топлива. В то же время водоснабжение Петрограда было расстроено, и вода заражена тифом и другими возбудителями опасных болезней. Нельзя было выпить и капли некипяченой воды. Самым ценным подарком в 1919 году стали дрова на растопку.

Что касается санитарных условий, то их просто невозможно описать нормальным человеческим языком. В сильные холода в размороженных домах полопались все трубы, и на верхних этажах не работали сливные бачки в туалетах и краны.

— Это коммуния, — сказал водопроводчик, пришедший чинить наши трубы.

Мы в полной мере ощутили на себе, что такое «коммуния». Разбитые оконные стекла приходилось затыкать тряпками. Умыться или выкупаться было практически невозможно. Прачечные, как буржуазный институт, исчезли. Мыло полагалось по продуктовым карточкам, но никогда не выдавалось.

Может быть, тяжелее всего было выносить темноту. Электричество включалось вечерами на два-три часа, а часто света не было вовсе. По карточкам мы получали от восьмушки до половины фунта очень плохого хлеба на день. Иногда и того меньше. Обычно мы ходили обедать в столовую, организованную коммунистами в университете, но даже там мы получали только горячую воду с плавающими в ней несколькими кусочками капусты. Профессор Введенский, как настоящий ученый, тщательно подсчитал, что мы тратили больше сил на ходьбу до столовой и обратно и ожидание в очереди, чем получали в обед вместе с калориями и витаминами. Постепенно все худели и становились все более и более истощенными. У многих начинались провалы в памяти, развивались голодный психоз и бред, затем наступала смерть.

Каждое утро один из нас начинал «завтракать», пока другой выбегал из дома занять очередь за хлебом. Эти проклятые хлебные очереди отнимали два или три часа нашего времени ежедневно, но практически ничего не давали. После завтрака мы убирали, как могли, комнату и затем, если не было принудительных общественных работ, дежурств, других очередей, больных или умерших

друзей, которых требовалось посетить, я пытался писать мою «Систему социологии» или готовиться к лекциям в университете. Я сидел, закутавшись во все одеяла и платки, в перчатках, с ногами, обернутыми тряпками. Время от времени я вставал и делал упражнения, чтобы разогнать застывшую в жилах кровь. После обеда и вечерами я уходил на работу, пешком от одного института до другого, по десять—двенадцать верст в день. Вымотанный этими усилиями и голодом, я рано ложился спать, если только не подходила моя очередь дежурить всю ночь. Вот так мы и жили в «Российской Совершенно Фантастической Советской Республике», как мы называли РСФСР.

Депрессия охватывала меня каждый раз, когда я приходил в университет. В здании его больше не слышались молодые голоса и смех. Оно было погружено в темноту. Лекции читали только по вечерам. Все лекции и семинары проходили в студенческом общежитии, где теперь мало кто жил.

Мой курс социологии в университете был самым посещаемым не потому, что я имел талант лектора, а по той причине, что социология теперь стала таким жизненно важным предметом. На мои лекции приходили не только студенты, но и университетские служащие, и просто публика с улицы. Я также знаю, что на лекциях присутствовало много осведомителей ЧК, которые регулярно доносили о моих высказываниях. Вскоре после освобождения из тюрьмы Луначарский — народный комиссар просвещения — предложил мне пост комиссара петроградских высших учебных заведений. Он полагал, что ленинский замысел превратить меня и других оппонентов в союзников, в еще один инструмент политики коммунистов — хитроумный ход. Но, если я и мои коллеги не имели возможности остановить физическое и моральное удушение страны, то у нас хватало ума не поощрять, а тем более не участвовать в этой губительной деятельности.

На лекциях я никогда не играл в политику, но приводил научные факты, независимо от того, подкрепляют они коммунистические теории или нет. Быть социологом в этих условиях — чертовски трудно, но я должен был оставаться честным социологом. Невозможно даже описать трудности, с которыми я сталкивался, продолжая свою работу, которая могла в любой момент послужить причиной ареста. Я читал лекции в почти полной темноте, в аудиториях, где практически не было видно слушателей. Когда появлялась надобность свериться с моими конспектами, я просил кого-нибудь одолжить огарок свечи. Обычно мне передавали стеариновый огрызок, который я задувал как можно быстрее из экономии. Студенты же, которые писали в темноте, не глядя, вообще могли заниматься где угодно.

Преподаватели ходили в университет только на заседания и конференции. В нашем читальном зале, как и везде, царило запустение. Не было ни новых книг, ни научных журналов. Отрезанные от всего мира, мы не знали, чем занимаются наши коллеги за рубежом.

Сегодня после обеда хоронили академика Лаппо-Данилевского. На прошлой неделе, когда я посещал его, он выглядел живым скелетом. Слабо улыбаясь, он рассказал, что несколькими днями ранее по дороге в академию упал и слегка повредил ногу. Три дня спустя я навестил его в больнице, где ему сделали хирургическую операцию. Лежа в больничной койке, этот умирающий человек читал «Феноменологию духа» Гегеля. «Никогда не было времени внимательно проштудировать ее, — прошептал он. — Начну сейчас». На следующий день он скончался.

Вчера Вера, красавица дочь госпожи Дармалатовой, выбросилась из окна нашей квартиры на пятом этаже. Когда мы подобрали ее с мостовой, она еще жила, но была без сознания. Когда ее положили на кровать в комнате, на теле девушки не было крови и гематом. Даже ее полузакрытые невидящие глаза были красивы и чисты. Через два часа она умерла. Вера походила на цветок, который не может жить в почве, удобренной жестокостями и зверствами. Сейчас, когда я пишу эти строки, она лежит на столе в соседней комнате.

Умереть сейчас в России легко, а вот быть похороненным очень непросто. В разговорах с десятками чиновников, во многочасовых очередях пролетело четыре дня, прежде чем мы смогли получить разрешение похоронить Веру. В конце наших мытарств мы пригрозили одному чиновнику, что, если он не даст разрешения, мы принесем тело в его кабинет. Завтра похороны Веры. Нам приходится внимательно опекать госпожу Дармалатову. Обезумевшая от горя, страдающая, знающая, что ее ждет нищета, и все время думающая об этом, она не находит себе места.

«*Ca ira*»*. Несколько дней назад повесился профессор Хвостов[2]. Вчера профессор Иностранцев[3] принял цианистый калий. Погиб замечательный философ и самый известный геолог России. В последние недели и он, и его жена тяжело болели. В конце концов, не имея возможности достать ни еды, ни лекарств, ни даже позвать на помощь, они покончили жизнь самоубийством.

Профессор Розенблатт тоже только что совершил самоубийство. «*Ca ira*», я боюсь, приобретает совершенно другой смысл, нежели в старой французской революционной песне. Капустин, Покровский, Батюшков, Кулишер, Острогорский, Карпинский, Арсеньев умерли один за другим[4], другие умирают сейчас. Умирают от тифа, гриппа, воспаления легких, холеры, истощения и от всех десяти казней египетских[5]. Друга, которого сегодня видел живым, завтра найдешь мертвым. Собрания профессорско-преподавательского состава теперь немногим отличаются от поминок по нашим коллегам. Закрывая одно из таких заседаний, ректор

* Один из популярных во время Великой французской революции лозунгов. Его примерный смысл: «Это будет продолжено».

Шимкевич обратился к присутствующим с мрачным юмором: «Господа, покорнейше прошу вас не умирать так быстро. Отходя в мир иной, вы находите успокоение для себя, но создаете массу неудобств нам. Вы же знаете, как трудно обеспечить вас гробами, что нет лошадей для перевозки ваших останков на кладбище, и как дорого стоит вырыть могилу для вашего вечного успокоения. Думайте прежде всего о своих коллегах, пожалуйста, и старайтесь протянуть как можно дольше».

Достать гроб действительно так трудно, что большинство людей хоронят своих покойников просто в матрацах или мешках. Некоторые берут гробы напрокат, чтобы только довезти тело до кладбища.

В сегодняшней «Правде» — теперь у нас издаются только официозные газеты — помещена передовица, безудержно расхваливающая созидательную энергию коммунизма. Статья посвящена решению правительства построить крематорий, самый большой в мире. Автор по невежеству так и не понял, какой иронический смысл несет его статья.

Сегодня во второй половине дня ко мне буквально ворвался профессор Лазерсон[7]. Он был крайне возбужден. «Не могу, не могу больше выносить этот кошмар, — плакал он, — моя сестра умирает, все наши друзья при смерти. Вокруг только смерть, смерть, смерть. Я не могу ничего делать. Читаю, но не улавливаю смысл. Не видно ни просвета, ни конца, ни края этому ужасу!»

Строителям нового общества мало того, что люди мрут как мухи по естественным, так сказать, причинам. Машина красного террора работает безостановочно. Каждый день и каждую ночь в Петрограде, Москве и по всей стране растут горы трупов. Щепкин[8] и полтораста других деятелей, среди них много профессоров, только что расстреляны в Москве.

Каждый день арестовывают так много людей, что монастыри и школы переоборудуют в тюрьмы. Утром никто не знает, будет ли он на свободе к вечеру. Покидая дом, не знает, вернется ли. В сорока семи губерниях советской России население сократилось на одиннадцать миллионов человек.

В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Весной 1920 года мы переехали в Царское Село[9], бывшее ранее резиденцией императорской фамилии, а теперь превратившееся в центр детских колоний. В Сельскохозяйственной академии в Царском Селе я и жена получили работу, две маленькие комнаты и клочок земли для палисадника. Здесь мы устроились гораздо удобнее, чем в Петрограде. Великолепные парки старого императорского городка все еще сохраняли красоту, хотя и были сильно запущены и частью вырублены. Дворцы, построенные по чудесным проектам Растрелли, по-прежнему радовали глаз и напоминали нам с женой о былом величии России. В свободные минуты я бро-

дил в безмолвных оскверненных парках, среди поваленных стволов, заброшенных зацветших прудов, беседок и деревьев, которые красная солдатня расписала непристойностями. Царскосельские парки были свидетелями и длительного славного царствования, и трагедии революции.

Вскоре после того, как мы обосновались в Царском Селе, мою «Систему социологии», наконец-то, хоть и с опозданием, но опубликовали. Всю жизнь потом я удивлялся, как мне удалось написать эти два тома.

Для автора и роза его успеха имеет шипы.

— Как? Вас еще не расстреляли? — воскликнул мой друг профессор Радлов[10]. — За несколько страниц вашей книги, например за 142-ю страницу, вы заслужили у нашего правительства расстрел, и даже не один. Никто, кроме вас, не публиковал такую резкую критику существующего режима.

— Ладно, — ответил я, — раз все равно казнят, предпочитаю, чтобы расстреляли за дело, а не просто так.

Не обращал внимания я и на нападки в коммунистической прессе: «Идеолог контрреволюции», «Лидер самых непримиримых профессоров и интеллигентов», «Настало время уничтожить их раз и навсегда», «Как долго ЧК будет мириться с их деятельностью?»

ЧК, надо сказать, и не собиралась мириться с этим. Лед у меня под ногами стал таким тонким, что я сделал необходимые приготовления. Во-первых, я не стал регистрироваться в Царском Селе и жил там нелегально. Если за мной придут на квартиру в Петрограде, я получу фору, будучи предупрежден друзьями, и скроюсь. Имея в виду вероятность такого исхода, я подготовил и убежище на случай необходимости исчезнуть из поля зрения властей.

В октябре 1920 года «ночные гости» пришли по моему петроградскому адресу и потребовали «товарища» Сорокина. Друзья правдиво отвечали, что я там больше не живу и они не знают, где я. На вопрос, за что меня разыскивают, им ответили: «За бандитизм».

На следующее утро мои студенты читали объявление: «По причине внезапной болезни лекции профессора Сорокина приостановлены. О возобновлении лекций будет сообщено дополнительно». Такого рода объявления появлялись столь часто, что студенты отлично понимали, о чем идет речь. Две недели я скрывался на квартире друга, продолжая свои занятия. Как только «здоровье поправилось», я снова приступил к лекциям. Но такие внезапные расстройства здоровья становились все более частыми в период между 1920 и 1922 годами. После публичной лекции, речи или публикации статьи, у меня вошло в привычку никогда не ночевать дома. Всегда, отходя ко сну, я задавал себе вопрос, придут ли за мной сегодня ночью. Я привык к этому, так как человек вообще привыкает ко всему.

Новый комиссар университета первокурсник Цвибак отобрал у ректора Шимкевича[11], профессора и самого выдающегося зоолога в России, печати и объявил себя руководителем университета. В 1921—1922 годах ректора уволили, многих профессоров лишили права преподавать, выслали или казнили. Такая политика правительства была настоящим испытанием нравственных и гражданских позиций русских ученых, и я могу сказать, что большинство выстояло и перенесло все испытания и гонения, которым они были подвергнуты. Один из самых великих ученых, И. П. Павлов, показал, до каких высот нравственности и научных идеалов поднимался дух ученых России в те ужасные дни. Как двое наиболее часто выступающих с критикой коммунизма ученых, мы с Павловым крепко сдружились в те годы. Вместе с ним мы организовали Общество объективных исследований человеческого поведения, где я был действующим, а Павлов — почетным председателями. Не иначе как в целях пропаганды своей политики за рубежом Советское правительство в 1921 году издало декрет специально о Павлове, в котором заявило о публикации всех его работ и создало комиссию, куда вошли Максим Горький и Луначарский, для решения неотложных проблем его лаборатории. Павлов ответил заявлением, что он не торгует своими знаниями и не примет ничего из рук, уничтоживших русскую науку и культуру.

Такие героические поступки и такая приверженность своим идеалам вопреки гонениям были не единичны, но были и противоположные примеры. Между героями и трусами были и промежуточные типы, например, несколько ученых, которые, хотя и ненавидели коммунистов, вели политику *captatio benevolentiae*[12], всячески льстя и угождая правящей власти. Большинство интеллигентов просто терпели, а когда запас терпения кончался, умирали. Пусть тот, кто ищет примеры нравственного героизма, подумает о тысячах людей в России, которые годами, день за днем стойко отвечали большевикам: «Не хлебом единым жив человек» и «Воздаст Господь каждому по делам его».

ИСКУПЛЕНИЕ

— Можете ли вы, товарищи, указать другую такую страну в мире, где правительство дает трудящимся еду, одежду, жилье, и все бесплатно, как у нас в Советской России? — так говорил Гришка III[13] или, по-другому, Зиновьев (Апфельбаум), коммунистический диктатор Петрограда, на рабочем митинге в начале 1921 года.

— Я могу, — выкрикнул голос из толпы.

— Тогда скажите нам, прошу вас.

— На царской каторге пища, одежда и жилье были бесплатны, прямо как в нашем коммунистическом обществе. Только они были лучше, — крикнул человек.

— Правильно! Совершенно верно! — засмеялись слушатели.

Гришка попытался заговорить снова, но его прервали.

— Хватит, садись! Наговорился, жирный черт!

Как только терпение рабочих лопнуло, чекисты с револьверами окружили Зиновьева. Крики продолжались, оскорбления летели в Гришку III, и он счел за благо исчезнуть. Подобные сцены быстро становились обычным делом.

К 1921 году разрушительные последствия программы коммунистов стали ясны даже самым отсталым крестьянам. Их поля не возделывались и зарастали сорняками. У крестьян не было ни семенного зерна, ни стимулов к труду на земле. Города умирали, национализированные заводы, лишившись топлива, остановились. Железные дороги были разрушены. Здания превратились в руины. Школы почти не функционировали. Смертельная удавка коммунизма потихоньку затягивалась на шее народа. Бурные митинги и волнения на заводах и среди крестьян участились, количество таких случаев быстро росло. Даже в Красной Армии усилилось дезертирство. Русские красноармейцы несколько раз отказывались подавлять выступления народа. Учитывая это, правительство коммунистов создало специальную интернациональную армию, набранную из отбросов общества и высокооплачиваемых убийц немецкой, латышской, башкирской, еврейской, венгерской, татарской и русской национальностей. Именно эта интернациональная армия убила множество демонстрантов в одном только Петрограде в феврале 1921 года. Именно она спасла правительство коммунистов во время кронштадтского мятежа 27 февраля 1921 года[14].

В этот день мы услышали, что кронштадтские моряки, в прошлом активно поддерживавшие коммунистов, взбунтовались. Это оказалось правдой, и, удайся мятеж, имей мы хотя бы одну независимую газету, чтобы поддержать их бунт, советскому правительству пришел бы конец. Мы отчетливо слышали канонаду из Кронштадта и ясно видели панику правительства. За двадцать четыре часа была выпущена прокламация, объявившая о новой экономической политике (нэп). Из нее следовало, что реквизиции хлеба у крестьян заменяются твердым налогом, восстанавливаются торговля и коммерция, многие фабрики должны быть денационализированы, людям разрешат покупать и продавать продукты питания, специальные совещания некоммунистических рабочих будут созваны для обсуждения вопроса об улучшении условий жизни. Таким вот образом коммунизм был «кастрирован» и начался нэп. В течение трех недель мы слышали постоянную стрельбу, наши сердца радостно бились в надежде, что моряки выиграют в этой дуэли, где побежденного ждала смерть.

В это самое время мы с женой оба заболели воспалением легких и лежали в больнице в Царском Селе. В одной палате со мной было пять или шесть рабочих и двое совслужащих. Бум! бум! — доносился звук пушечных выстрелов из Кронштадта, и мы шептали про себя: «Господи, помоги этим храбрецам!»

Прошла неделя. Канонада все еще не стихала: бум! бум! Мы с женой пережили кризис болезни и начали замечать окружающий мир, особенно звуки стрельбы. Но 18 марта перестрелка прекратилась, и над Петроградом нависла мертвая тишина. Радостное возбуждение покинуло сердца людей, на его место пришел страх. Кронштадтская дуэль закончилась. Коммунисты победили. Горе побежденным! В течение трех дней город был во власти красных войск. Три дня латышские, башкирские, венгерские, татарские, русские и еврейские подонки из интернациональной армии, возбужденные и обезумевшие от крови, похоти и спирта убивали и насиловали жителей города.

Когда кронштадтские моряки поддерживали коммунистическое безумие, они тоже совершили множество преступлений. Они тоже насиловали и убивали. Но все, что они сделали, искуплено еще более ужасной ценой. Правительство, которое захватило власть в основном с помощью моряков, теперь было безжалостно к ним. Когда кровавое пиршество в Кронштадте закончилось, тысячи тех, кто был «гордостью и славой» нового режима, погибли или попали в тюрьмы. Правительство нарушило свое обещание, что тем, кто сдается, будет гарантирована неприкосновенность.

Через три дня после этого жители Царского Села, обитающие возле Казанского кладбища, не спали ночью: непрекращающиеся винтовочные выстрелы отдавались в сердцах прислушивающихся к ним людей. Пять сотен матросов было расстреляно в ту ночь.

НОВАЯ БОЙНЯ

Жуткие дни мести прошли. Машина красного террора продолжает работать, но теперь она истребляет людей десятками и сотнями, вместо тысяч и десятков тысяч. Новая экономическая политика, проводимая коммунистами, начинает оказывать оживляющее воздействие на страну. Как по волшебству, мертвая земля, кажется, возвращается к жизни. Наша свобода, правда, ограничена, но личная инициатива и ответственность утверждаются вновь. Мало-помалу Петроград начал приобретать внешний облик европейского города. Люди ремонтировали свои жилища, стали лучше одеваться, следить за своей внешностью. Печать смерти и запустения, лежавшая на нас целых два года, почти исчезла.

В духовной жизни России наблюдался процесс великого возрождения. Хотя все остальные здания продолжали постепенно разрушаться, церкви начали восстанавливаться и обновляться. Церковные службы, собиравшие мало верующих в 1917—1920 годах, теперь проходили при большом стечении прихожан.

Годовщина основания университета была отмечена впечатляющим торжественным собранием. Около пяти тысяч профессоров и студентов университета, а также гости из других вузов Петрограда присутствовали на этом собрании 3 февраля 1922 года.

После того как бывший ректор Шимкевич зачитал приветственный адрес, выступил я[15]. В своей речи я указал на новые ориентиры, которых надлежит придерживаться молодежи. Индивидуальная свобода, личная инициатива и ответственность, кооперация, творческая, созидательная любовь, уважение к свободе других людей, реформы вместо революций, самоуправление вместо анархии — все это отныне и навсегда должно стать нашими общественными идеалами.

На следующий день коммунистические газеты остервенело набросились на меня, но это привело лишь к тому, что моя речь разошлась по всей стране и встретила самое восторженное отношение. В то время нападки на коммунистов неизменно срывали овации. Если официальная пресса что-либо ругала, народ обязательно хвалил. Когда Зиновьев и Ленин нападали на меня за мои статьи, их нападки сильно повышали мою популярность.

— Товарищи, гидра контрреволюции снова поднимает голову. Или мы убьем ее, или чудовище сожрет нас, — так говорил Зиновьев на собрании руководителей коммунистов вскоре после большой религиозной демонстрации, прошедшей 2 мая 1921 года. — Мы должны показать, что машина красного террора есть и продолжает работать эффективно, — сказал он в заключение.

Вскоре после этого арестовали более сотни человек, большей частью ученых, литераторов и священнослужителей. Неделю или около того спустя, мы прочли в «Правде»:

«По решению Петроградского Совета, за участие в контрреволюционном заговоре, вчера казнены следующие лица: Таганцев, профессор, за организацию заговора; Таганцева, его жена, за участие и недонесение на мужа; Лазаревский, профессор, проректор Петроградского университета, за разработку проекта нового избирательного закона; Тихвинский, профессор, за подготовку доклада, враждебно охарактеризовывающего современное положение советской нефтяной промышленности; Гумилев, писатель и поэт, за свои монархические убеждения; Ухтомский, художник и ученый, за информацию о положении дел в музеях; супруги Гизетти. И так далее, более чем пятьдесят фамилий, с кратким перечислением их «преступлений». В конце списка было напечатано: «и другие контрреволюционеры»[16].

Расстрелять за нелицеприятные выводы в докладе о советской нефтяной промышленности! Нефтедобыча действительно была в плачевном состоянии, но ведь доклад Тихвинский написал для Советов по заказу самого Ленина. Расстрелять за информацию о положении в музейном деле! Расстрелять за подготовку нового избирательного закона! За монархические настроения! Ни то, что Гумилев был одним из величайших поэтов России, ни храбрость, проявленная на войне, не спасли его. В этот «заговор» были вовлечены люди, которые иногда даже не знали друг друга, и всем им было отказано в открытом судебном разбирательстве.

— Это пролетарское правосудие еще раз показывает врагам нашу силу, — заявил в одной из речей Гришка III. — Пусть запомнят этот урок.

Мы помним.

SOS

То, чего мы более всего опасались, случилось в России в 1921 году. Глядя на карту России, где были отмечены провинции с плохим урожаем или вообще без оного, мы говорили, что, по крайней мере, двадцать пять миллионов человек должны будут умереть зимой от голода, если мир не придет им на помощь.

Мы говорили об этом задолго до того, как правительство и Максим Горький обратились ко всем нациям о помощи голодающим. Когда наступил ужасный голод 1921 года, спасения от него не было: ни одна губерния не имела излишков хлеба.

Опубликовав два тома «Системы социологии», я отложил написание третьего тома, чтобы непосредственно изучить явление, типичное для революций, — голод. Вместе со студентами и сотрудниками, в тесном взаимодействии с академиками И. Павловым и В. Бехтеревым я начал исследование влияния голода на человеческое поведение, социальную жизнь и организацию общества.

Осенью 1921 года мне, как и многим другим профессорам, советское правительство запретило преподавать.

Оставшись без работы, за исключением исследований, проводимых в Институте мозга, Историческом и Социологическом институтах при университете, я чувствовал себя сравнительно свободно. Ранее я изучал голод в городе, используя себя как объект наблюдения, а сейчас у меня была лаборатория необъятных размеров — голодающие деревни и села России. Зимой 1921-го я отправился в районы бедствия Самарской и Саратовской губерний для научного изучения массового голода. Я почти сразу убедился, что не смогу осуществить это намерение. Никакие эксперименты не было возможности проводить, но я видел голод и знаю теперь, что это значит. То, что я узнал там, в этих страшных губерниях, превосходило любой научный опыт. Моя нервная система, привыкшая ко многим ужасам в годы революции, не выдержала зрелища настоящего голода миллионов людей в моей опустошенной стране. И хотя я оказался не способен проводить там исследования в полном объеме, я многое приобрел просто как человек и еще более укрепился во враждебном отношении к тем, кто принес такие страдания людям.

Вместе с одним из местных учителей наша маленькая исследовательская группа отправилась пешком с ближайшей железнодорожной станции в бедствующие районы Самарской губернии. После полудня мы добрались до деревни N. Селение словно вымерло. Избы стояли покинутые, без крыш, с пустыми глазницами

окон и дверными проемами. Соломенные крыши изб давным-давно были сняты и съедены. В деревне, конечно, не было животных — ни коров, ни лошадей, ни овец, коз, собак, кошек, ни даже ворон. Всех уже съели. Мертвая тишина стояла над занесенными снегом улицами, пока мы не увидели сани, с легким скрипом приближавшиеся к нам. Сани тащили двое мужчин и женщина. На санях лежало мертвое тело. Протащив сани короткое расстояние, они остановились и измученно свалились на снег. Когда мы подошли, они тупо смотрели на нас пустыми глазами. Мы также рассматривали их с болью в сердце. Я уже видел лица умирающих от голода в городах, но такие живые скелеты, как эти трое, мне еще не встречались. Одетые в лохмотья, трясясь от холода, люди были не просто бледны, а синюшны, с лицами темно-синего цвета, покрытыми желтыми пятнами.

— Куда вы его тащите? — спросил я, показав на труп парня, лежащий на санях.

— К тому амбару, — ответил крестьянин, смотря на низкое строение впереди. — Он сейчас полон.

Другой мужчина и женщина пытались подняться со снега, но не смогли осилить это без нашей помощи. Мы предложили помочь дотащить сани и пошли к амбару вместе с крестьянами. Амбар оказался новым и добротно сделанным. Самый сильный с виду мужчина, как выяснилось — деревенский милиционер, вынул ключ и отпер амбар. Он был действительно полон: на полу лежало десять трупов, в том числе три детских.

Мы внесли тело и положили рядом с другими. Мужчина и женщина, родители парня, перекрестились и тихо вышли. «Скоро и они лягут здесь», — сказал милиционер.

— Скольких вы принесли сюда за последние две недели? — спросили мы.

— Около десяти или пятнадцати человек. До этого было больше. Кое-кто убежал из деревни.

— Куда они направились?

— А куда глаза глядят. — Затем, запирая дверь, он прошептал: — Запирать надо... Воруют.

— Воруют... что?

— Да чтобы есть. Вот до чего мы дошли. В деревне охраняют кладбище, чтобы не растащили трупы из могил.

— А были ли убийства с этой целью? — заставил себя спросить я.

— В нашей деревне нет, но в других были. Несколько дней назад в деревне Г. мать убила ребенка, отрезала ему ноги, сварила и съела. Вот до чего мы дошли.

Пока он говорил, звон церковного колокола нарушил тишину умирающей деревни. В темноте заброшенной и покинутой российской глубинки этот призыв сумасшедшего крестьянина, звонившего в колокол, сжал наши сердца и поверг в слезы. Дин-дон! Дин-дон! Вот сейчас быстро и тревожно, как пожарный колокольный

бой. Дин-дон! Дин-дон! Медленно и печально, как похоронный звон. Дин-дон! Почти час эти звуки отдавались в голове и груди каждого из нас. Затем опять повисла мертвая тишина.

Этот сигнал бедствия безумного крестьянина в самой глубине русской земли был услышан. Он пересек океан, достиг сердец великой американской нации и принес помощь, которая спасла от жестокой смерти по крайней мере десять миллионов мужчин, женщин и детей. Бог не забудет ваше доброе дело[17].

С самого начала бедствия десятки тысяч людей ушли из своих домов куда глаза глядят. Тысячами они бродяжили и побирались и, не найдя ни еды, ни работы, падали и умирали.

И в следующей, и еще в одной деревне мы видели ту же ужасную картину: смерть от голода и его спутника — тифа.

«Проклят ты будешь в городе и проклят будешь в поле. Прокляты да будут плоды тела твоего, плоды земли твоей, приплод вола и шерсть овец твоих. Господь ниспошлет тебе проклятие, беды и болезни. И ты пожрешь плоды тела своего, плоть твоих сыновей и дочерей»[18].

Это древнее проклятие не выходило у меня из головы все время, пока мы бродили по Поволжью и долго еще после возвращения в Петроград. За эти двадцать дней, проведенных в районах бедствия, я получил не так уж много научных знаний, но память об услышанном и увиденном там сделала меня совершенно бесстрашным в борьбе с революцией и чудовищами, губившими Россию. Велики и многочисленны грехи русского народа, но в эти годы бедствий, страданий и смерти нация искупила все, заплатив за это сполна.

ВЫСЫЛКА

В мае 1922 года я приступил к изданию книги «Влияние голода на человеческое поведение, социальную жизнь и организацию общества»[19]. Еще до публикации многие параграфы и даже целые главы были вырезаны цензурой[20]. Книга, как нечто цельное, погибла, но то, что осталось, было все же лучше, чем ничего. Война, которую вели Советы на идеологическом фронте, и террор усиливались снова. Все мы жили, не загадывая на будущее, ожидая каждый день новых ударов со стороны властей.

Тем не менее надежда не покидала нас. Страна явно восстанавливалась. Под обломками нашей цивилизации, в глубине человеческих душ и сердец, что-то происходило — рождалось новое поколение, новый дух народа. Что бы ни произошло с нами, возрождение России было неизбежным. Этим новым силам требовалось только время, чтобы окрепнуть настолько, что власти пришлось бы считаться с ними. Мы могли и подождать, поскольку прошедшие годы научили нас терпению.

10 августа 1922 года я уехал на несколько дней в Москву и с

вокзала отправился прямо на квартиру профессора Кондратьева, который предложил мне остановиться у них. Мы позавтракали и разошлись по делам, условившись встретиться в пять часов вечера у Кондратьева дома. Выполнив деловую часть моей командировки и встретившись с друзьями, я вернулся на квартиру, но хозяина еще не было дома. Не пришел он и в шесть часов, я стал уже слегка беспокоиться. В семь пришел студент, спросил жену Кондратьева. Я ответил, что ни его, ни ее дома нет, и предложил передать им то, что этот человек желал сообщить. Студент пристально посмотрел на меня и спросил, кто я такой. После моего представления он сказал: «Профессор, уходите из этой квартиры. Вашего друга арестовали, и чекисты могут быть здесь с минуты на минуту».

Я взял свой саквояж и вышел, затем подождал возле дома жену Кондратьева и условился с ней относительно того, что надо сделать в первую очередь. Затем я отправился на квартиру другого товарища. Увы, он также был арестован. Несколько часов спустя мы узнали, что в один день взяли более ста пятидесяти человек[21] — выдающихся ученых, профессоров, писателей и кооператоров, среди которых были профессора Кизеветтер и Франк, Бердяев и Ясинский, Софронов, Озеров, Мякотин и Пешехонов, Осоргин и многие другие. Тогда же было арестовано много студентов. Это явно показывало начало новой волны большого террора, а значит, в Петрограде могло происходить то же, что и в Москве. Все сомнения на этот счет развеялись на следующий день, когда я прочитал телеграмму, посланную моей женой в адрес московского приятеля. В телеграмме значилось: «Задержите моего сына в Москве. Дома скарлатина».

Скоро мы узнали, как своевременно было это предупреждение держаться подальше от Петрограда. В городе арестовали профессоров Лосского, Карсавина, Зубашева, Лутохина, Лапшина, Одинцова, Селиванова, Бруцкуса, Замятина и многих других, всего числом более сотни человек, не считая множества студентов. Чекисты явились и по моему петроградскому адресу и обнаружили в квартире госпожи Дармалатовой только ее умирающую дочь Надю, ее мужа и врача. Несмотря на то, что врач и муж Нади уверяли чекистов в моем отсутствии и просили не беспокоить напрасно больную обыском, те все же прошли по всем комнатам и, не обнаружив следов моего пребывания, великодушно согласились больше не шуметь и не устраивать засад.

Я оставался в Москве в относительной безопасности, поскольку в лицо меня знали немногие. Прошла неделя, и появились слухи, что арестованных ученых и профессоров не казнят, а вышлют из пределов страны. Вскоре статья Троцкого в «Правде» подтвердила эти слухи.

Арестованных начали выпускать после предупреждения о высылке. Каждый из них должен был подписать две бумаги. Первая — расписка, что в течение 10 дней он покинет страну, другая

ознакамливала высылаемого с тем, что он будет казнен, если вернется в Россию без разрешения Советского правительства.

Как только стала известна судьба моих арестованных коллег, я решил, что высылка — это лучшее, что меня ждет. Я ничего больше не мог сделать для моей страны; проживая нелегально, рано или поздно был бы арестован и, вероятно, расстрелян.

Прекрасным сентябрьским утром я вернулся в Царское Село. Жены не было дома, так что я сам стал собирать вещи для тюрьмы, еду, белье и несколько книг, чтобы коротать время в камере. Когда жена вернулась домой, она сразу же начала отговаривать меня от этой затеи, показав номера «Петроградской правды» и «Красной газеты», в которых содержались яростные нападки и угрозы в мой адрес. По дороге в Петроград мы встретили друзей, которые поддержали жену, считая, что идти на такой риск в Петрограде — форменное безумие. «Если Зиновьев со своей шайкой не расстреляют вас на месте, то вышлют в Сибирь, а не за границу», — говорили они.

В конце концов я согласился, что, возможно, было бы лучше попасть под арест в Москве, и следующим утром я вернулся в столицу. Явившись в ЧК с вещами и представившись, я подождал некоторое время, а затем был приглашен в кабинет чиновника, ведущего дела высылаемых ученых и преподавателей.

— Моя фамилия — Сорокин, — сказал я ему. — Ваши товарищи в Петрограде собирались арестовать меня, но я был в это время в Москве. Я пришел к вам, чтобы выяснить, что вы хотите сделать со мной.

Чекист, молодой человек с бледным лицом завзятого кокаиниста, развел руками и сказал:

— У нас и так много народу в Москве, даже не знаем, что и делать. Поезжайте обратно в Петроград, и пусть ЧК на месте решает вашу судьбу.

— Спасибо, — сказал я, — в Петроград не поеду. Хотите арестовать меня — пожалуйста, — вот он я. После минутного раздумья он сказал:

— Все арестованные все равно должны быть высланы за рубеж. Подпишите эти две бумаги и в течение десяти дней покиньте территорию РСФСР.

Подписав с охотой данные мне бумаги, я спросил, куда мне обратиться за паспортом.

— В Наркомат иностранных дел, — ответил бледный молодой человек. — Я прямо сейчас позвоню им насчет вас.

— Я могу идти?

— Да, конечно.

Выйдя из здания ЧК, я послал телеграмму жене, чтобы она продала наши пожитки и ехала ко мне в Москву. У нас ничего не было, кроме остатков моей библиотеки, так что распродажа вещей не заняла много времени.

Процесс получения паспортов и разрешений был трудным и

раздражал своей медлительностью. В Наркомате иностранных дел мне сказали, что паспорт будет готов через пять-шесть дней.

Решив получить его быстрее, я пошел к Карахану, исполнявшему обязанности министра иностранных дел в отсутствие Чичерина. Карахан был моим другом со студенческих лет, и мне было любопытно увидеть его в качестве крупного большевистского чиновника. Однако когда я дал свою визитную карточку его секретарю, тот заявил, что Карахан занят и не сможет меня принять. В этот момент в приемную вошел человек и поздоровался со мной. Это был один из моих студентов из Психоневрологического института.

— Что вы делаете здесь? — спросил я.

— О, я заведующий отделом информации и связей с общественностью Министерства иностранных дел, — ответил он гордо. — Вы читали в газетах статьи Кольцова? Это мой псевдоним.

Я сказал, что читал, и он поинтересовался, что я о них думаю.

— То же, что и о вашем правительстве, — ответил я. — Вот этот человек отказывается передать мою визитку Его Превосходительству. Пожалуйста, заставьте его выполнить мою просьбу.

Они пошептались с минуту и исчезли. Вскоре дверь открылась, и появился Карахан, в сопровождении трех чекистов.

— Здравствуйте, Питирим Александрович, — сказал он, — рад видеть вас. Входите.

Кабинет был хорошо, я бы даже сказал роскошно, обставлен, и Карахан, когда-то худой и стройный, сейчас выглядел откормленным и толстым.

— Ваше Превосходительство, — начал я с долей иронии, — вы, конечно, знаете, что я выслан. Ваши подчиненные отказываются выдать мне паспорт в течение трех дней, что меня не устраивает. Не будете ли вы столь любезны приказать им приготовить мой паспорт завтра к утру?

— С превеликим удовольствием, — ответил он и отдал распоряжение по телефону. — Завтра все будет готово, — объявил он, — паспорт вам выдадут бесплатно.

Я поблагодарил, хотя в мои планы и так не входило платить за свою же собственную ссылку. Не на следующее утро, а через день, но все же паспорт был готов. На паспорте по-французски значилось «Expulse»[22]. В тот же день я получил чехословацкую, немецкую, латышскую и литовскую визы. Так я потратил три дня на оформление этих проклятых бумаг.

Один из последних визитов я нанес Пятакову, одному из руководителей коммунистов, человеку, с которым был дружен в студенческие годы. Я пришел к нему с просьбой за нашего общего друга, который сейчас был в тюрьме и серьезно заболел там. Пятаков обещал сделать все, что в его силах, и после завершения деловой части визита мы разговорились. Он сообщил, что собирается писать статью в ответ на мою критику труда Бухарина «Теория марксизма»[23].

Я сказал ему:

— Пятаков, позволь узнать, ты на самом деле веришь в то, что вы строите коммунистическое общество?

— Конечно, нет, — честно ответил он.

— Значит, вы понимаете, что эксперимент не удался и вы строите обычное буржуазное общество. Тогда почему высылают нас?

— Ты не принимаешь во внимание того, что в России идут параллельно два процесса, — сказал он. — Один из них — восстановление буржуазного общества; другой — приспособление Советского правительства к этому обществу. Первый процесс протекает быстрее, чем второй. Это несет угрозу нашему существованию. Наша цель — затормозить развитие первого процесса. Вот почему вас выдворяют за границу. Возможно, через два-три года мы пригласим вас вернуться обратно.

— Благодарю покорно, — сказал я, — надеюсь вернуться в мою страну без вашего приглашения.

Хмурым днем 23 сентября 1922 года первая группа высланных собралась на московском вокзале. Я внес два саквояжа в латвийский дипломатический вагон. «Все свое ношу с собой». Это я мог бы сказать и про себя. В туфлях, присланных чешским ученым, костюме, пожертвованным мне Американской организацией помощи, с пятьюдесятью рублями в кармане я покидал родную землю. Все мои спутники были в сходном положении, но никто особенно не волновался по этому поводу. Несмотря на запрет властей, многие друзья и знакомые пришли проводить нас. Было много цветов, объятий и слез. Мы, отъезжающие, вглядывались в их лица, смотрели на уплывающие назад улицы Москвы, ловили последние образы покинутого Отечества.

На следующий день мы приехали в пограничный населенный пункт. Полчаса спустя промелькнул красный флаг, и советская Россия осталась позади. Вечером мы впервые за пять лет легли спать не задумываясь, придут ли за нами этой ночью.

Неделей позже в Берлине я прочитал свою первую лекцию о современном положении в России. Стало ясно, что я уехал как раз вовремя, так как первое же письмо, дошедшее из России, сообщало: «Наша бабушка (т. е. ЧК) очень сожалеет, что позволила вам уехать без ее последнего и вечного благословения (т. е. не расстреляв нас)». В берлинской газете «Дни» я прочел, что на заседании Совнаркома один из руководителей ЧК Уншлихт и Карахан получили головомойку за разрешение госпоже Кусковой[24] и профессору Сорокину выехать за границу. Одновременно была уничтожена решением правительства моя книга о голоде[25].

Что бы ни случилось в будущем, я знаю теперь три вещи, которые сохраню в голове и сердце навсегда. Жизнь, даже самая тяжелая, — это лучшее сокровище в мире. Следование долгу — другое сокровище, делающее жизнь счастливой и дающее душе силы не изменять своим идеалам. Третья вещь, которую я познал,

заключается в том, что жестокость, ненависть и несправедливость не могут и никогда не сумеют создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в материальном отношении.

Этим заканчиваются мои «Листки из русского дневника».

Глава десятая.

ЭМИГРАНТ

В ДРУЖЕСТВЕННОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Я был избавлен от многих трудностей на печальной дороге изгнания, с ее болью насильственных расставаний, бездомностью, ностальгией, потерянностью, крушением надежд и разочарованиями. В первые дни пребывания в Берлине мы с женой радовались вновь обретенной свободе и безопасности. В дружеском кругу русских эмигрантов в Берлине, которые интенсивно занимались интеллектуальной, творческой и общественной деятельностью, мы с женой чувствовали себя возрожденными и счастливыми. Нас не волновали скудость финансов и неопределенность будущего. После жизни в аду коммунистической России все за границей казалось лучше, чем в стране Советов. Госпожа Удача, казалось, снова улыбалась нам.

На четвертый день пребывания в Берлине я получил из чехословацкого посольства приглашение от моего друга доктора Масарика, президента Чехословацкой Республики, приехать в Прагу в качестве официальных гостей страны. Следующим же вечером мы уже обедали с президентом, его женой доктором Алисой Масарик и госсекретарем доктором Бенешем в великолепном дворце, где жила семья президента. Несмотря на свое высокое положение, этот великий человек, ученый и государственный деятель оставался столь же искренним и естественным в своих манерах, как и раньше, когда сам был скромным эмигрантом. За обедом мы обменялись мнениями о ситуации в России и затем, во время кофе, он улыбаясь спросил, есть ли у меня деньги. Я ответил, что еще осталось несколько тысяч ничего не стоящих немецких марок и небольшое количество рублей (все вместе это составляло около двух долларов).

— Не хотите ли вы почитать лекции в нашем университете Шарля? — спросил он.

— Не думаю, что я в хорошей форме после стольких лет жизни в кровавом российском сумасшедшем доме. Если возможно, я бы хотел, чтобы мне дали какое-то время привести мозги в порядок.

— Тогда мы организуем вам специальную стипендию, как и другим русским ученым.

Так, в изящной форме, была решена прозаическая проблема наших с женой средств существования.

Мы сняли скромную комнату в доме под Прагой (в Черношицах). После многих лет полной превратностей и рискованной жизни в России, мы снова зажили упорядоченно и по-человечески, восстанавливаясь физически и ментально, занимаясь научной работой и культурно отдыхая. Помимо прогулок, купания в бассейне, занятий садом, посещения исторических достопримечательностей и наслаждения красотами окрестностей, мы почти каждый день ездили в Прагу. Госпожа Сорокина занималась цитологическими исследованиями в университетских лабораториях у профессора Немеца[1], а я работал в пражских библиотеках, читал лекции, участвовал в работе различных комитетов, куда был избран, выполнял редакционные обязанности в журнале «Крестьянская Россия», который мы только что учредили. Мы — это Аргунов, С. Маслов, Боем и я. Еще мы ездили в Прагу на вечеринки у друзей, или когда нас приглашали на обеды или завтраки с Масариком, Бенешем, Крамаржем, Клофачем и другими чешскими политиками и деятелями культуры. Девять месяцев моего пребывания в Чехословакии мы прожили хорошо и плодотворно.

Поскольку чешское правительство и чешский народ были очень гостеприимны, Прага стала центром притяжения известных эмигрантов из России. Среди них были и выдающиеся ученые, и писатели, художники, и политики, и военные, и духовенство, и студенчество, не считая рядовых беженцев из России. С помощью чешского руководства эмигранты основали в Праге русский университет, несколько исследовательских центров, создали литературные, музыкальные, театральные, политические и иные организации. Так что в обширной колонии эмигрантов продолжалась напряженная научная, культурная и общественно-политическая жизнь. Многие эмигранты все еще верили в неминуемый крах коммунистического режима и ожидали скорого возвращения на родину. Соответственно, они были в основном заняты политическими делами и строили планы будущего переустройства родной страны.

Со своей стороны, я имел серьезные сомнения относительно скорого падения правительства коммунистов и был твердо уверен, что будущее России определит русский народ у себя дома, а не эмигранты, как бы высок ни был их умственный и культурный потенциал. В соответствии с этими взглядами я посвящал только малую часть своего времени политическим проблемам[2] и вовсе не участвовал в мелкой грызне между эмигрантами. Основное внимание я уделял занятиям наукой. Интенсивно знакомясь с последними социологическими трудами западных ученых, которые были недоступны мне в годы революции, я старался обновить и осовременить мои знания западной научной литературы. Когда меня пригласили прочитать серию публичных лекций в Праге, я написал и затем издал эти лекции в виде книги «Современное состояние

России» (Прага, 1922)[3]. Готовя курс лекций для студентов Русского университета и для чешских и карпато-русских учителей, я написал и опубликовал другую книгу — «Очерки социальной педагогики и политики» (Ужгород, 1923)[4]. Как редактор и автор нашего журнала «Крестьянская Россия», я напечатал несколько статей-исследований в области сельской социологии. Эти публикации составили теоретический костяк, позднее полностью разработанный в солидных томах, написанных мной во время преподавания в Миннесотском и Гарвардском университетах.

Основные мои исследования, однако, лежали в области социологии революций. Мне удалось написать черновой вариант труда по этой теме на русском языке, пока мы были в Праге. После приезда в Соединенные Штаты он был опубликован в переводе на английский язык под названием «Социология революции» (Филадельфия и Лондон, 1925).

Такая загруженность работой уберегла меня от пустой траты времени в бесплодных политических спорах, обычных для всех беженцев всех великих революций. В последующие годы я не раз наблюдал среди польских, латышских, литовских, венгерских, немецких, кубинских и других политических эмигрантов ожидания, надежды и раздоры, идентичные таковым у части русской эмиграции. Как и русские неприкаянные беженцы, многие из этих более поздних эмигрантов бредут печальной и жестокой дорогой изгнания, которая разбивает их надежды и ожидания. Зачастую озлобленные и разочарованные, эти люди мучительно живут и бесследно исчезают, умирая в чужой стране. Они заслуживают сострадания и нашей помощи в тяжелый момент своей жизни, но их незавидная участь должна послужить будущим эмигрантам предупреждением не строить свое существование целиком на безнадежных политических мечтаниях и бесполезных спорах. Чем скорее они приспособятся к их новой стране пребывания, не потеряв при этом своей индивидуальности, и начнут реализовывать свой творческий потенциал, тем будет лучше для них самих, их новой страны и старой родины.

В Праге я подружился накоротке со многими выдающимися русскими учеными — например, Петром Струве, Н. Лосским, И. Лапшиным, П. Новгородцевым, Е. Зубашевым[5] и многими известными писателями, поэтами и музыкантами. В Праге же я познакомился с крупными чешскими социологами, например с доктором А. Блаха. За кружкой пива или за обедом мы обычно обсуждали разные глобальные проблемы философии, социальных наук, этики, изящных искусств, политики и экономики. Почти всегда такие дискуссии существенно обогащали наше понимание этих проблем и многих событий, в которых мы были либо свидетелями, либо жертвами.

Живя такой богатой творчески, полной впечатлений, но в то же время упорядоченной жизнью, мы с женой в результате быстро восстановили телесную энергию, ментальные способности и душев-

ное равновесие. Кое-кто из друзей, видевших нас в России и теперь встречавших меня и жену в Праге или несколько позднее в Соединенных Штатах, говорили, что мы выглядели на двадцать лет моложе. И действительно: мы чувствовали себя много более юными, чем в Советском Союзе.

Возможно, мы бы так и остались в Чехословакии навсегда, в качестве преподавателей одного из чешских вузов, если бы я не получил приглашения от двух уважаемых американских социологов Эдварда Хайеса из университета штата Иллинойс и Эдварда О. Росса[6] из Висконсинского университета. Они пригласили меня приехать в Америку, чтобы прочесть серию лекций о русской революции. Эти неожиданные предложения круто изменили мою жизнь. Многие годы до этого я всегда очень интересовался Соединенными Штатами и изучал американские социальные, экономические и политические теории и институты, американскую культуру, литературу и образ жизни. Из моей «Системы социологии» хорошо видно, что я прекрасно знал труды патриархов американской социологии, таких, как Лестер Уорд, Франклин Гиддингс, О. Смолл[7], и некоторых из молодого поколения американских социологов и психологов. Я восхищался американским народом, демократией и американским образом жизни. Мое восхищение было столь велико, что мои друзья и коллеги в России даже прозвали меня «русским американцем».

Помимо интереса к Америке и восхищения ею была и другая причина принять такое приглашение. Всю свою жизнь я предпочитал стоять на собственных ногах и самому определять свою судьбу, будучи материально независимым. Независимость привлекала меня больше, чем положение высланного ученого, живущего за счет поддержки дружественного правительства, сколь щедрой бы ни была эта поддержка. Поэтому я не колеблясь принял предложение профессоров Хайеса и Росса. Хотя обещанный гонорар за лекции был скромным, все же он покрывал все путевые издержки в Америку и обратно, если плыть туристским классом на дешевом пароходе. Если бы я не обеспечил себе подходящего положения в Соединенных Штатах, то всегда мог бы вернуться в Чехословакию. Поскольку скромный гонорар не позволял моей жене ехать со мной, мы решили, что она останется в Чехословакии, пока не решится вопрос, останусь ли я в Соединенных Штатах или вернусь.

Без каких-либо проблем я получил чехословацкий паспорт, где было написано, что я — русский по национальности, американскую, австрийскую и итальянские (транзитные) визы и попрощался с чешскими и русскими друзьями. В октябре 1923 года я сел на поезд до Триеста, где купил билет туристского класса на маленький итальянский корабль «Марта Вашингтон». Серия лекций в университетах Иллинойса и Висконсина планировалась на январь и февраль 1924 года. Я выехал раньше, поскольку хотел исправить мой слабый английский месяца за два до начала лекций.

Вот так я снова вступил на свою «дальнюю дорогу», снова стал перекати-полем, со столь знакомыми печальными расставаниями и нелегкими приездами на новое место. Говоря социологическими терминами, моя «горизонтальная и вертикальная мобильность» снова внезапно ускорилась. На этот раз она перенесла меня за океан и выбросила на берега великой страны.

Долгое путешествие мне понравилось. Прекрасны были ландшафты и пейзажи Австрии, Италии, солнечного Средиземноморья, изменчивая Атлантика, то тихая, то штормовая. Тихоходность и частые стоянки нашей старой «Марты Вашингтон» в разных портах Средиземного моря позволили мне увидеть Неаполь и Везувий, впечатляющее извержение Этны, города — Патры в Греции, Альмерию в Испании, Алжир в Алжире, знаменитые скалы Гибралтара. Честно говоря, эти места оставили поверхностное впечатление, но все же очаровывали и увлекали меня.

Не менее интересными были пассажиры и команда корабля. В основном словацкие и итальянские эмигранты в Соединенные Штаты, простые и добрые люди, ищущие лучшей доли в новой стране.

Среди пассажиров случайно оказались и несколько русских беженцев и один американец — доктор Куэйл, с которым я встречался в Праге. Среди русских эмигрантов была одна довольно шустрая дама, обращавшая на себя внимание тем, что резалась в карты, не вылезала из бара и раскованно заигрывала с мужчинами из числа пассажиров. «С таким поведением она, похоже, будет иметь немало проблем в пуританской Америке», — думалось мне. Я вынес это представление о Соединенных Штатах из книг и полагал, что американский народ находится все еще на пуританской стадии развития морали и нравов. Очень скоро после приезда в Штаты я обнаружил, что мои представления были неверны и что — плохо это или хорошо, — но пуританская стадия сменилась намного более свободными и гибкими правилами поведения и морали. В конце октября, после шестнадцати дней путешествия, «Марта Вашингтон» прибыла в Бостон. Прежде чем пассажиров перевезут в Нью-Йорк, мы должны были провести несколько часов на Бостонской таможне. Проголодавшись, я купил и впервые попробовал прославленную американскую кулебяку. Она так понравилась мне, что я съел три порции. Эта сверхневоздержанность привела к тому, что я избегал кулебяку много лет подряд. На следующее утро мы прибыли в Нью-Йорк.

НОВЫЙ КРИЗИС: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ МОЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Прежде чем продолжить рассказ о моей жизни, следует, вероятно, сказать несколько слов о новом кризисе в моем мировоззрении и восстановлении целостности моих философских и психо-

социологических взглядов и моей системы личностных ценностей. Первая мировая война пробила первые бреши в позитивистском, «сциентистском»[8] и гуманистическом мироощущении, которое я имел до войны. Революция же 1917 года разбила вдребезги мои взгляды на мир, вместе с характерными для них позитивистской философией и социологией, утилитарной системой ценностей, концепцией исторического процесса как прогрессивных изменений, эволюции к более лучшему обществу, культуре, человеку. Вместо развития просвещенной, нравственно благородной, эстетически утонченной и творческой гуманности война и революция разбудили в человеке зверя и вывели на арену истории наряду с благородным, мудрым и созидающим меньшинством гигантское число иррациональных человекоподобных животных, слепо убивающих друг друга, разрушающих все великие ценности, ниспровергающих бессмертные достижения человеческого гения и поклоняющихся вульгарности в ее худших формах. Волна смерти, зверства и невежества, захлестнувшая мир в XX, цивилизованном, как считалось, столетии, полностью противоречила всем сладеньким теориям прогрессивной эволюции человека от невежества к науке и мудрости, от звероподобного состояния к благородству нравов, от варварства к цивилизации, от *теологической* к *позитивной*[9] стадии развития общества, от тирании к свободе, от нищеты и болезней к неограниченному процветанию и здоровью, от уродства к красоте, от человека — худшего из зверей[10] — к сверхчеловеку-полубогу.

Это вот разительное противоречие заставило меня, как и многих других, придирчиво пересмотреть прошлые взгляды на мир. Мой собственный опыт в течение 1914—1922 годов только усилил потребность в таком пересмотре. В это время я испытал на себе и видел слишком много ненависти, лицемерия, слепоты, зверств и массовых убийств, чтобы сохранить в неприкосновенности восторженное и бодрое мироощущение. Именно эти исторические обстоятельства и *экзистенциальные*[11] условия начали процесс переоценки моих ценностей, перестройки моих взглядов и изменения меня самого как личности. Перестройка шла постепенно и в течение пяти лет в коммунистической России, и позже, в Европе и Соединенных Штатах. К концу 1920-х годов этот болезненный, но радостный процесс в основном завершился. Его результатом стало то, что я называю *интегральной системой* философии, социологии, психологии, этики и личностных ценностей. Какие-то следы этой системы заметны уже в моей «Системе социологии», созданной в России, и в трудах, опубликованных в Чехословакии. Намного более явно эта система проступает в моих книгах, изданных в Америке между 1924 и 1929 годами. В своей завершенной форме основные принципы «интегрализма» систематически изложены в книгах, написанных за последние тридцать лет.

Итак, по приезде в Нью-Йорк еще одна глава моей жизни закончилась и началась новая.

ЧАСТЬ IV

Глава одиннадцатая.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НОВОМ СВЕТЕ

НЬЮ-ЙОРК И ВАССАР-КОЛЛЕДЖ

Солнечным октябрьским днем 1923 года я сошел с парохода на берег американского мегаполиса. Неся два страшно тяжелых чемодана, набитых в основном рукописями и книгами, я решил для экономии не брать такси, а пройти пешком до конторы организации, занимающейся помощью русским студентам. Она располагалась по соседству с Центральным вокзалом. Здания и ущелья улиц огромного города, люди, движение и весь окружающий пейзаж были столь новыми, захватывающе интересными и волнующими воображение, что я устал, взмок, но не замечал этого, пока не добрался, наконец, до оффиса «Помощи русским студентам». Там я нашел секретаря-распорядителя этой организации мистера Алексиса Вирена и нескольких его служащих. Все они были чрезвычайно любезны и готовы помочь самыми разными способами: от поиска дешевого жилья для меня в одном из домов с меблированными комнатами до практических советов относительно подземок, недорогих мест питания и прочих важных подробностей жизни в этом удивительном городе. Они также сообщили о моем приезде доктору Б. А. Бахметеву, послу Временного правительства в Соединенных Штатах (позднее профессор Колумбийского университета), и лидерам различных групп русских эмигрантов в Нью-Йорке. Ближе к вечеру мистер Вирен отвел меня в меблированные комнаты. Так началась моя жизнь в Новом Свете.

Пожалуй, самой характерной чертой новой жизни была ее противоречивая двойственность. Весьма ограниченные финансовые средства и нежелание просить денежную помощь у кого бы то ни было вынудили меня жить среди бедняков в очень скромных условиях. С другой стороны, мои честолюбивые стремления и маленький престиж, которым я пользовался у самых разных русских и у некоторых американцев, сразу же дал мне возможность контактировать с целым рядом интеллектуалов, политиков, артистов и деятелей культуры обеих национальностей, чей образ жизни был совершенно другим, нежели у моих соседей по меблированным комнатам.

В течение первых нескольких дней пребывания в Нью-Йорке я встретился и пообедал вместе со знавшим меня еще по России сэром Полом Виноградовым[1] из Оксфорда, который тогда читал лекции в Колумбийском университете. Я также провел несколько вечеров в дружеской компании известных артистов Московского Художественного театра, игравших в то время в Нью-Йорке. Затем посол Бахметев устроил обед в мою честь, где я познакомился с профессором Гиддингсом, Алексисом Кэрроллом и несколькими другими американскими учеными. Бахметев также представил меня кое-кому из влиятельных американцев, интересующихся русской революцией и мировой политикой. Вскоре группы дореволюционных и послереволюционных эмигрантов из России пригласили меня прочесть лекции о русской революции и вместо гонорара преподнесли теплое зимнее пальто, в котором я по холодной нью-йоркской погоде сильно нуждался. Среди русских эмигрантов я познакомился с Игорем Сикорским[2], который в то время пытался построить — в простом сарае и практически без капиталов — предшественника его впоследствии знаменитых гидросамолетов и вертолетов. Его положение тогда во многом напоминало мое: мы оба боролись с трудностями и преодолевали препятствия на пути реализации наших стремлений. Наконец, меня попросили написать несколько статей для русских и американских периодических изданий за небольшую плату, которая частично покрыла мои скромные расходы на жизнь. Большую часть моего времени, однако, я отдавал изучению английского языка. С этой целью я ежедневно ходил на разного рода публичные лекции и собрания, проповеди в разных церквях, где слушал английскую речь и сам старался говорить на языке при любой возможности.

Все это поддерживало во мне жизненную энергию и надежду, что каким-то образом я все же займу определенное научное положение в этой чрезвычайно деятельной и жизненно активной нации, чтобы привезти сюда жену и осесть здесь до конца наших дней.

Эти надежды значительно укрепились, когда я неожиданно получил приглашение от президента Вассар-колледжа, Генри Н. Мак-Кракена, приехать гостем в Вассар на несколько недель, чтобы подучить там английский и подготовиться к моим запланированным лекциям. Я познакомился с ним на одном из обедов у президента Масарика в Чехословакии. Мак-Кракен и его супруга хорошо знали бедственное положение русских, польских и других эмигрантов-интеллектуалов и самым щедрым образом помогали многим из них на первых порах в Соединенных Штатах. Когда они узнали о моем приезде в Нью-Йорк, то с большим тактом, пониманием и дружеским расположением пригласили меня в ноябре 1923 года приехать в Вассар, сняли для меня комнату в расположенном поблизости местечке Поукипси и предоставили в мое распоряжение библиотеку колледжа, дали возможность посещать

лекции, питаться в колледже и общаться с очень близкой мне по духу компанией преподавателей и студентов. Едва ли я тогда мог желать чего-либо лучшего, чем эта неожиданно найденная «золотая жила».

Много лет спустя я посвятил книгу «Власть и нравственность» президенту колледжа мистеру Генри Ноублу Мак-Кракену и его супруге. В предисловии я написал: «Посвящение этой книги есть знак глубокой признательности за их щедрую помощь мне в трудный период моей жизни, после приезда в эту страну в 1923 году». Их щедрая помощь действительно была наиболее значимой поддержкой, которую я тогда получил.

Те шесть недель, что я провел в Вассаре, оказались действительно счастливыми и удачными. Ежедневно я посещал несколько лекций, многое узнал об американском стиле преподавания и образе жизни в академических кругах, работал над своими предстоящими лекциями в университетах Иллинойса и Висконсина, восполняя пробелы в знаниях современной американской социологической литературы, и всей душой наслаждался дружественной атмосферой в колледже, президентской семье и среде преподавателей и студентов.

В конце моего пребывания в этом дружелюбном сообществе я рискнул прочитать первую лекцию на английском языке. Языком, конечно, я пока владел плохо, но друзья в Вассар Колледже подбадривали меня, уверяя, что мой английский вполне хорош. Впоследствии я не раз был свидетелем чрезвычайной терпимости американской аудитории к ужасному английскому языку иностранных лекторов. Не думаю, что такая сочувственная терпимость существует или существовала где бы то ни было еще, кроме Америки. До окончания моего пребывания в Вассаре, благодаря любезным усилиям президента Мак-Кракена и некоторых профессоров, мною были заключены еще несколько контрактов на чтение лекций весной 1924 года в различных колледжах и университетах США. Примерно в это же время я закончил рукопись о социологии революции (на русском языке), договорился о ее переводе на английский для издания в социологической серии издательства Липпинкотт под редакцией профессора Эдварда Кэри Хайеса и должен был приступить к работе над «Листками из русского дневника» для «Э. П. Даттон энд компани», согласившихся опубликовать эту работу. (Обе книги увидели свет в конце 1924 года.)

После Рождества 1923 года я благодарно попрощался с друзьями, получив от них шутливое прозвище «выпускник Вассар Колледжа», и выехал в г. Урбана, в Иллинойский университет, читать курс лекций по русской революции.

По пути в Урбану я на два дня остановился в Чикаго у профессора Самюэла Харпера из Чикагского университета и помимо теплого гостеприимства получил от него полезные советы по целому ряду практических вопросов относительно лекционной и политической деятельности.

Пригласивший меня читать лекции профессор Эдвард Кэри Хайес, председатель факультета[3] социологии Иллинойского университета, к сожалению, ушел со своего поста до того, как я приехал в Урбану. На его место пришел профессор Эдвин Сазерлэнд[4], который и помог мне получить комнату в «Университетском союзе»[5] и определить время и место проведе́ния моих лекций. Позднее мы снова встретились — уже как профессора университета Миннесоты — и в течение ряда лет поддерживали дружбу и сотрудничали в преподавательской и исследовательской работе университета.

Несмотря на ужасный английский, мои лекции хорошо посещались, вызывали значительный интерес и противоречивую реакцию — благосклонную со стороны тех, кто не принимал коммунизм и выступал против советского тоталитаризма, и отрицательную у той части моих слушателей, которые симпатизировали коммунистической фазе русской революции. В то время значительная часть американских интеллектуалов в университетских кругах идеализировала коммунистическую революцию, считая ее чем-то вроде прекрасной Дульсинеи Дон Кихота, чистой и лишенной всех недостатков, свойственных прозаичным тобосским девушкам. Поскольку в лекциях я особенно упирал на деструктивность, жестокость и зверства пяти первых лет коммунистической революции (описанные в предыдущих частях этой книги), такое противоречие с образом революционной Дульсинеи, естественно, вызывало у них протест по отношению ко мне и моим лекциям. Эта оппозиция мне длилась несколько лет и проявлялась в различных попытках дискредитировать не только мои лекции и работы по русской революции, но и саму мою научную деятельность, и публикации по другим проблемам. Эти люди пытались представить меня как одного из невежественных политических эмигрантов, которые ничему не научились и не смогли забыть прошлое. Поскольку книги, изданные в России, оставались незнакомыми американским ученым, кампания такого рода против меня имела значительный успех до тех пор, пока не получила энергичный отпор со стороны некоторых знаменитых американских социологов: Чарльза Эллвуда, Чарльза Х. Кули[6], Э. О. Росса, Франклина Гиддингса и других, и пока аргументы противников не были подавлены всемирным престижем моих написанных в последующие годы книг.

Я вновь ощутил такую негативную реакцию на свои лекции в Университете Висконсина, куда уехал, закончив курс в Иллинойсе. В Висконсинском университете я, однако, нашел стойких защитников моей точки зрения в лице профессоров М. И. Ростовцеве, Э. О. Россе, Джоне Р. Коммонсе и других заслуженных преподавателей и администраторов университета. Хотя мнение Э. О. Росса о русской революции отличалось от моего, разница во взглядах не

мешала ему уважать чужую точку зрения. Не будучи догматиком и понимая сложность происходящего в России, он легко соглашался с возможностью разных интерпретаций этих событий. Мы не только уважали различие во взглядах каждого из нас, но в определенном смысле это даже нам нравилось, поскольку разные мнения взаимно дополняли друг друга, обогащая знания и способствуя лучшему пониманию предмета. Росс не только защищал мою точку зрения перед ее критиками, но и горячо рекомендовал меня нескольким университетам как постоянного или временного профессора. Так, насколько я знаю, именно его рекомендация в основном и решила дело, когда стоял вопрос о моем приглашении временным профессором на летнюю сессию, а затем и на весь учебный год в Университет Миннесоты. До конца своих дней я буду с благодарностью вспоминать самого Э. Росса, его дружбу и щедрую помощь.

Другим радостным и значимым для меня событием оказалась встреча в Мэдисоне с профессором М. И. Ростовцевым и его женой. Студентом Санкт-Петербургского университета я посещал некоторые лекции этого великого историка и изучал кое-какие из его выдающихся трудов. Затем в течение 1914—1917 годов мы часто встречались на собраниях разных политических, литературных и образовательных организаций в Санкт-Петербурге. Хотя мы принадлежали к разным политическим партиям и происходили из разных сословий, эти различия никоим образом не умаляли моего глубокого уважения и восхищения обоими супругами Ростовцевыми. Они были прекрасными представителями русской и мировой культуры наивысшей пробы. Ростовцевым удалось уехать из России за три года до моей высылки. Несколько больших университетов Англии и Европы охотно предлагали должность профессора этому великому историку. Но он принял предложение Висконсинского университета, где за короткое время сам ученый и его курс лекций приобрели заслуженную славу и популярность.

Ростовцевы встретили и относились ко мне с настоящей теплотой и дружеским великодушием. Сами эмигранты, они отлично понимали мое положение и присущие ему трудности, хорошо помогая добрыми советами и дружески подбадривая меня. За тот месяц, что длились мои лекции в Мэдисоне, наша дружба окрепла и затем сохранялась до самой смерти господина Ростовцева. После кончины моего выдающегося друга мы продолжаем дружить с его женой*. Ростовцевы были крестными моих двух сыновей. Дружба с ними стала одной из самых больших радостей в жизни нашей семьи в Соединенных Штатах.

Несмотря на недостатки моего английского языка и противодействие прокоммунистически настроенной части аудиторий, лекции, что я читал, вполне благосклонно принимались профессорами

---

* Госпожа Ростовцева скончалась 15 июня 1963 года, в день, когда я читал гранки этой книги.

и студентами, не симпатизирующими коммунистам. В результате их хорошего отношения я получил приглашения от профессора Ольбиона Смолла выступить на его семинаре в Чикагском университете, от профессора Чарльза Х. Кули прочитать пару лекций в Университете Мичигана, от профессора Ф. С. Чэйпина приехать в Университет Миннесоты на летнюю сессию, а также от нескольких гражданских организаций и общественных форумов.

Закончив выступления в университетах Висконсина и Иллинойса, в марте 1924 года я вернулся в Нью-Йорк. Так как я никогда не любил большие города, то снял комнату в доме моего друга А. Вирена в Лорелтоне на Лонг Айленде. В этом тихом пригороде я занялся доведением рукописи «Социология революции» и дописыванием книги «Листки из русского дневника». Кроме того, я должен был написать статью для «Мичиганского правового обозрения» на тему: «Новые советские законодательство и юстиция»[7] (опубликована в ноябрьском выпуске 1924 года) и ряд других работ для популярных и научных журналов. Из Лонг Айленда я также совершил несколько поездок с лекциями по близлежащим университетам и колледжам (включая Принстон).

Весьма обнадеженный продолжающими приходить приглашениями читать лекции, которые обеспечивали меня работой по крайней мере на несколько месяцев, и заработав скромную сумму денег для жизни в спартанских условиях как минимум в течение полугода, я почувствовал уверенность, что со временем займу подобающее положение в научном мире Соединенных Штатов, и решил навсегда остаться в этой великой стране. Мне нравились ее просторы, независимость и энергичность ее народа, его образ жизни и культурная атмосфера страны. В соответствии со своим решением я выслал деньги и вызов жене в Чехословакию, чтобы она приезжала в Америку. В конце марта 1924 года я с радостью встретил ее в Нью-Йоркском порту, и в тот же вечер в маленькой компании друзей в Лорелтонском доме Вирена мы отпраздновали наше воссоединение.

Подытоживая, скажу, что в этот тяжелый период прорастания корнями в почву чужой страны я избежал многих трудностей, обычно сопутствующих на *via dolorosa*[8] лишенному корней политическому эмигранту в процессе акклиматизации в новом обществе, новой культуре, среди новых людей. В общем и целом мое приспособление к американским условиям было совершенно безболезненно. Сравнительная легкость этого — во многом результат той великодушной помощи, которую мне оказывали упомянутые (и не упомянутые) в книге друзья, ну и, конечно, я весьма обязан госпоже Удаче, которая продолжала улыбаться мне, а также собственным силам и старанию. Оглядываясь назад, вижу, что немалого добился за первые шесть месяцев жизни в Соединенных Штатах — выучил английский язык достаточно хорошо, чтобы писать и читать лекции на нем, сделал книгу «Листки из русского дневника», закончил рукопись «Социологии революции», не говоря уже о нескольких

статьях, провел ряд лекций по разным проблемам социологии, хорошо узнал образ жизни Америки, ее мысли и душу. Глядя на свои тогдашние достижения усталыми глазами семидесятичетырехлетнего старика, нахожу их весьма значительными. Сейчас, без сомнения, мне бы не сделать так много за такой короткий срок: тогда я был в самом расцвете сил, чем единственно и объясняю мои успехи в то время.

Глава двенадцатая.

ШЕСТЬ ПРОДУКТИВНЫХ ЛЕТ В УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА МИННЕСОТА

ЛЕТО ИСПЫТАНИЯ

Весной и летом 1924 года мы с Еленой были очень загружены работой. Будучи ботаником-цитологом, Лена получила разрешение работать в лаборатории цитологии растений Колумбийского университета. Я в это время, кроме работы над двумя книгами, от случая к случаю выезжал с лекциями в различные университеты и организации. Наконец, я приехал в Университет Миннесоты, чтобы вести свой курс во время летнего семестра. Это оказалось весьма важным с точки зрения определения моей деятельности на следующие шесть лет. Как объяснил позже профессор Ф. С. Чэйпин, руководитель тамошнего факультета социологии, мое преподавание летом было своего рода тестом на испытание профессиональных способностей. Если они оказывались удовлетворительными, то университет собирался пригласить меня, дабы временно заменить профессора Л. Л. Бернарда, намеревавшегося взять «субботний» год[1]. Если же я не выдерживал испытания, университет, естественно, брал на эту должность другого человека, более квалифицированного ученого и преподавателя. Похоже, проверка прошла удовлетворительно. Одно свидетельство моего успеха, которое я храню до сих пор, — это изображение эмблемы университета[2] со стихами, подаренными мне студентами в конце лекционного курса. Текст стихов говорит сам за себя:

Доктору Питириму А. Сорокину,
Август 27, 1924

Вам хотим мы посвятить
Оду, мадригал, сонет,
Но размер определить
Времени совсем уж нет.

Так что скажем без прикрас:
С каждым новым днем

Мы все больше любим Вас
И лучше узнаем.

Чтоб Вы помнили студентов
Фолвелл Холла[3] жарким летом,
Вариантов сто презентов
Перебрали, выбрав этот:

Дарим Вам эмблему, краше
Нет которой в Миннесоте,
В знак признательности нашей
И на память о работе.

Студенты летних курсов
по социологии революции
и социальной морфологии [4],
1924 год.

Другим, более официальным подтверждением того, что я успешно выдержал испытание, явилось предложение, сделанное после летней сессии. Университет предложил мне на следующий учебный год место профессора с оплатой 2000 долларов за академический год (максимальная ставка в то время была 4000 долларов). Как и многие университеты, Миннесотский придерживался политики найма своих преподавателей за возможно более низкую цену. Администрация университета хорошо представляла настоятельную для меня необходимость обеспечить себе положение в академических кругах Соединенных Штатов и, делая предложение, учитывала это обстоятельство. Придавая сравнительно мало значения денежным вопросам, я с радостью ухватился за возможность стать университетским профессором. В конце концов, ограниченная заработная плата давала все же достаточно средств для нашей с женой скромной жизни, а главное — прочие условия контракта представляли все возможности для развертывания научной работы. Это было единственное, что я тогда реально принимал во внимание, так что с легким сердцем телеграфировал Лене, и после ее приезда в Миннеаполис мы сняли маленькую, но очень удобную квартиру возле университета. Начался новый период в нашей жизни.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ГОДЫ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ И РАБОТЫ

После пяти лет испытаний в революционных бурях и двух беспокойных лет политической ссылки тихая и нормальная жизнь в Миннесоте казалась нам настоящим счастьем. Приехав в страну недавно, мы могли полностью отдаваться исследовательской и преподавательской работе, не отвлекаясь на ненаучные сообра-

жения и политику, что едва ли возможно, когда ты живешь в родной стране. Наконец, мы обрели настоящее душевное равновесие и могли заниматься, чем хотели. Правда, мое профессорство было одногодичным, но я был уверен в том, что его продлят и мой временный статус перейдет в постоянный. Мои ожидания полностью оправдались.

В конце учебного года Университет Миннесоты возобновил контракт, повысив зарплату на 100 долларов, затем еще через год мне было предложено постоянное профессорство с зарплатой 2400 долларов, которые еще через год превратились в 3400 долларов и к шестому году — в 4000 долларов. На шестом году, после того как я получил приглашение стать профессором Гарварда, Университет Миннесоты был готов поднять мою оплату до высшего уровня, принятого у них. Однако этот высший уровень был все же значительно ниже, чем зарплата, предложенная Гарвардским университетом. По этой и ряду других причин я принял приглашение и после шести лет преподавания в Миннесоте в 1930 году переехал в великий университет в Кэмбридже.

Шесть лет в Миннесоте были по-настоящему счастливыми! Подобно новообращенным в веру, мы видели только прекрасные стороны нашего нового отечества и не замечали непривлекательные его черты. Социальные институты на муниципальном уровне, в штатах и федерации в целом представлялись нам совершенно безупречными. Конституция страны и Билль о правах[5] производили впечатление великолепной реализации тех политических и социальных идеалов, за которые мы боролись в России. Всей душой мы наслаждались окружающей нас свободой. Это ощущение свободы было сродни тому состоянию радости и бьющей через край энергии, которое я испытывал в моменты освобождения из царских и коммунистических тюрем.

Не менее замечательными представлялись нам и люди всех стилей и образов жизни, с которыми мы встречались, работали и взаимодействовали. Все, от студентов и профессоров университета, соседей по дому, где мы жили, и до бакалейщика, почтальона, бизнесменов, лидеров «коммьюнити»[16], фермеров и прочих людей, с кем мы контактировали, были по-настоящему дружелюбны, честны, компетентны, надежны, справедливы, приятны в общежитии и общении. В нашем новом Отечестве не было той «невидимой стены», что отделяет приезжих-эмигрантов от родившихся в своей стране; к нам не относились, как к чужакам, и мы не чувствовали себя таковыми. Наоборот, мы были в Миннесоте «как дома».

Широкие открытые просторы этого штата, его бесчисленные озера, процветающие фермы и холмистые поля вносили свою лепту в наше наслаждение жизнью, давая, может быть, самую элементарную, но все же весьма важную форму свободы, одинаково необходимую всем живым существам, — свободу от тесноты, загородок, заключения в узком, ограниченном стенами пространстве,

которое и умственно, и физически подавляет движения, деятельность и стремления. Возможно потому, что я воспитывался в раннем детстве на широченных пространствах русского Севера под огромным, открытым взору небом, у меня всегда было ощущение стесненности, даже какой-то замурованности среди каменных, кирпичных, стальных и железобетонных зданий крупных городов плотно населенных регионов. Когда позднее я был вынужден жить в перенаселенных городах Европы, то неизменно испытывал чувство подавленности и ограниченности в свободе действий и, соответственно, в свободном полете воображения. Это чувство все еще сохранилось и, наверное, является причиной моего дискомфорта и нелюбви к большим городским и индустриальным центрам. Широкие просторы Миннесоты и вообще Соединенных Штатов, прекрасные пейзажи гор, долин, пустынь, озер, рек и морских побережий, еще не испорченных промышленной и городской цивилизацией, были и остаются благами нашей жизни. «Пусть мы не смогли жить в России, но нам все-таки крупно повезло осесть в Соединенных Штатах: ни одна другая страна не могла бы дать нам так много свободы, как наше новое отечество», — таково было мое и жены единодушное мнение.

В этом счастливом состоянии духа мы приступили к исследовательской и преподавательской работе в Твин Ситиз[7]. Жена решила продолжить аспирантские занятия, начатые еще в России, чтобы получить степень доктора наук по ботанике в Университете Миннесоты. В течение года она успешно выполнила все требования и получила степень в 1925 году. Университет Миннесоты предложил бы ей место преподавателя или исследователя, не будь правовых ограничений, запрещающих найм двух и более членов одной и той же семьи. Поэтому жена приняла предложение занять место профессора ботаники в Хэмлинском университете г. Сент-Пола на время продолжения ее исследований в лабораториях Университета Миннесоты.

На работе у меня сложились вполне дружеские отношения с администрацией, в частности с вице-президентом Дж. Лоуренсом и деканами Г. С. Фордом и Х. Джонстоуном, преподавателями и студентами. На факультете социологии его председатель Ф. С. Чэйпин, профессора Дж. Финни, М. Элмер, М. Уилли, а позже и Э. Сазерлэнд великодушно помогали мне в любое время и по любому поводу. Так же поступали студенты и аспиранты. Несмотря на мой сильный акцент, довольно много студентов записывалось на мои лекции и семинары. Вскоре я обнаружил, что меня окружает теплое братство юных и зрелых людей, объединившихся в общем стремлении к углубленному научному знанию и лучшему пониманию человека, его поведения, социальной жизни и культурных процессов.

Долгая дружба и сотрудничество со многими профессорами и студентами факультета социологии и других подразделений университета начались именно в те годы. Там, в Миннесоте, я по-



Питирим Сорокин в 1910 году. Великий Устюг.

Фрагмент метрической книги турьинской Воскресенской церкви с записью о рождении П. А. Сорокина в 1889 году.





Воскресенская церковь села Турья Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Республика Коми), в которой крестили Сорокина.

Здание двухклассной школы в селе Гам Яренского уезда, в которой Сорокин учился с 1901 по 1904 год.

Здание церковно-учительской школы в селе Хреново Костромской губернии. Здесь в 1904—1907 годах учились Питирим Сорокин и Николай Кондратьев.

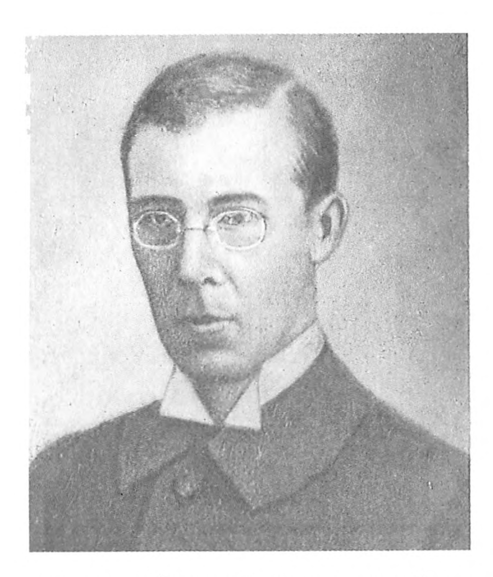


Питирим Сорокин в 1909 году. Фотография со свидетельства об окончании Велико-устюжской мужской гимназии.



Е. П. Баратынская, слушательница Высших Бестужевских курсов. 1912 год

Е. П. Сорокина после церемонии вручения диплома о присвоении ей степени доктора биологии в университете Миннесоты. США. 1925 год.



Питирим Сорокин в период выборов в Учредительное собрание. 1917 год.

Студенты семинара профессора истории Санкт-Петербургского университета А. С. Лаппо-Данилевского. 1914 год. П. А. Сорокин и А. С. Лаппо-Данилевский в центре за столиком. Стоят за Сорокиным (слева направо) Ш. З. Элиава и Н. Д. Кондратьев.

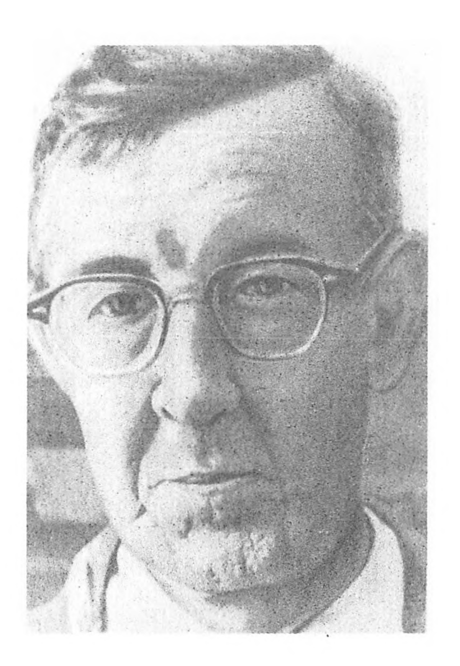


Сорокины и Кондратьевы в Миннесоте (США). 1924 год.



Питирим Сорокин, студент юридического факультета Санкт-Петербургского университета. 1911 год.

Питирим Александрович Сорокин в 70-летнем возрасте. Г. Винчестер штата Массачусетс (США). 1962(?) год.



лучил счастливую возможность внести свою лепту в становление будущих выдающихся современных социологов Америки (тогда аспирантов университета). В их числе: Т. Лынн Смит, Н. Веттен, Ч. А. Андерсон, Отис Д. Данкан, П. Лэндис, Ф. Фрей, Э. Шулер, Эд. Тэйлор, Ч. и И. Тауберы, Э. Моуначези, Г. Вольд, У. Ландэн. Э. Лотт, Дж. Ландберг, М. Эллиотт, Х. Фелпс, Ч. Хоффер, Д. Томас, Р. Слетто, М. Тэнквист, Дж. Марки и других, которые в то или иное время были членами этого молодого социологического братства. Некоторые из них приехали в Гарвард, когда я перебрался туда. И если я оказывал им помощь в научном развитии, то они также ощутимо помогали мне в нашем совместном стремлении к знаниям. Помимо прочего этот общий поиск истины вылился в публикацию нескольких совместных исследований, объектом изучения которых были монархи и правители, фермеры и рабочие лидеры, а также эффективность труда в разных специфических условиях. Последнее из них было экспериментальным; как и все прочие, оно выполнялось на моих лекциях и семинарах.

Среди молодых ученых факультета я особенно подружился с К. Циммерманом. Наше сотрудничество принесло плоды в виде ряда статей, книги «Основы сельской и городской социологии» и трех солидных томов систематизированных источников по сельской социологии, выпущенных по инициативе Ч. Дж. Гэлпина Министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов. После моего переезда в Гарвард профессор Циммерман последовал за мной. В Гарвардском университете наша дружба продолжалась. В настоящее время она остается такой же теплой и искренней, как и раньше.

Среди друзей вне Университета Миннесоты особая дружба связывала нас с мистером и миссис Андерсон (доктор Джордж Андерсон позднее стал профессором русской истории в этом университете). Нашими близкими друзьями были также мистер Джон Люси и его жена. Оба они уже умерли, но память о них, как о лучших ирландо-американцах, встреченных нами, все еще жива.

Естественно, что в таких условиях, нормальных для американских ученых, но особенно благоприятных для нас после пяти лет революции и вынужденной эмиграции, я с огромным желанием занялся исследованиями и писательской деятельностью. Если мне было, что сказать и я имел кое-какие способности для значительной научной работы, то как раз пришло время сделать это. Несмотря на большую преподавательскую нагрузку, несовершенство моего английского, скромное финансовое вознаграждение и нехватку фондов* для оплаты исследователей-ассистентов, у меня было главное — достаточно времени для научного творчества при нали-

---

* Общая сумма финансовых дотаций на мои исследования за все шесть лет работы в Миннесоте составила (точно) 12 долларов 45 центов! Вдобавок к этому я получил несколько сот долларов от Министерства сельского хозяйства на издание упомянутого трехтомника.

чии необходимого энтузиазма и способностей. Энтузиазма у меня хватало, и за шесть лет в Университете Миннесоты я опубликовал множество статей в американских и зарубежных научных журналах, а также книги «Листки из русского дневника» (1924), «Социология революции» (1925), «Социальная мобильность» (1927), «Современные социологические теории» (1928), «Основы сельской и городской социологии» в соавторстве с Циммерманом (1929), три тома систематизированного указателя источников по сельской социологии совместно с К. К. Циммерманом и Ч. Дж. Гэлпиным (1930—1932). Последняя работа была выполнена в Миннесоте, хотя тома второй и третий вышли уже после моего перевода в Гарвард. Такой объем работы потребовал много времени и сил, особенно при отсутствии секретаря или других форм помощи. За исключением нескольких глав, разработанных Циммерманом и Гэлпином в книгах по сельской социологии, все остальное я написал самостоятельно, сам проделав к тому же всю исследовательскую работу. Некоторые из моих друзей, например, профессор Э. О. Росс, хорошо понимали тяжесть такого труда и предупреждали, что мне следует снизить его интенсивность. В письме, датированном 26 января 1928 года, профессор Росс, суммируя свои впечатления от книги «Современные социологические теории», писал: «Я просто изумлен огромным количеством литературы, которую вы рассматриваете в своем труде, и вашим умением извлечь самую суть любой книги, выразив ее на одной-двух страницах. ...Уверен, через два или три года вы сможете занять высокое положение в одном из наших ведущих университетов. В самом деле, вполне возможно, что через несколько лет вас назовут духовным лидером американской социологии. Вы можете представить мою гордость, когда я упоминаю, что заставил вас переехать из Европы в Америку. ...Ваша книга «Социальная мобильность» подвигла меня на создание нового семинара по этой теме.

Единственно, я опасаюсь, что вы вконец убьете себя чрезмерной работой. Рад, что вы мечтаете о лете и отдыхе на природе, в лесу.»

Таким образом количественная сторона моей работы меня вполне удовлетворяла. Я знал: моя продуктивность за шесть лет превосходит то, что создает средний американский или иностранный социолог за всю жизнь.

Что касается качества трудов, то уверен — мои книги приближались к среднему уровню социологических работ того времени, но, видимо не превосходили его. Однако эта проблема совсем не волновала меня. Я сделал все, что в моих силах, остальное — в руках Господа. Если мои книги что-нибудь значат, они завоюют признание, если не имеют ценности, то о них со временем и не вспомнят. В любом случае справедливость восторжествует, хотя, понятно, мне это может и не понравиться. Я просто наблюдал жизнь моих книг как бы со стороны, как смотрят на своих взрослых и женатых детей их родители. После вылета из семейного

гнезда дети сами отвечают за свою жизнь, ее успехи или неудачи. Точно так же, после публикации все зависело только от самих книг: уйти ли в небытие незамеченными или прожить какое-то время жизнью, полной энергии и смысла.

Отклики социологов, интеллектуалов и рядовой публики на них оказались в целом значительно лучше, чем ожидалось. «Листки из русского дневника» и «Социология революции» были замечены и горячо обсуждались как с позитивной, так и с негативной точек зрения в зависимости от идеологических симпатий читателей, обозревателей и ученых. «Социальная мобильность», «Современные социологические теории», а также книги по сельской социологии были не только замечены, но и совершенно определенно создали мне репутацию ведущего современного социолога. Со временем их перевели на многие иностранные языки, они служили продвинутыми учебными текстами в университетах всего мира, ученые называли их «пионерными» и «классическими», они вызвали к жизни целый поток литературы — докторских диссертаций, книг, статей, — о теориях, содержащихся в этих моих трудах. Они же принесли мне почетные степени и членство в королевских и национальных академиях науки и искусств. Даже сейчас, тридцать пять лет спустя, их продолжают переиздавать, переводить и изучать. Короче говоря, они оказались настоящим вкладом в социологию и психосоциальные науки, продемонстрировав бóльшую жизненность, актуальность и сопротивляемость забвению, чем обычные социологические труды.

Конечно, высокая профессиональная и общественная оценка моих книг появилась не вдруг. Она складывалась постепенно в течение ряда лет. Первая реакция американских коллег и прессы на эти книги носила следующие характерные особенности:

1) как критики, так и благожелатели говорили много и горячо;

2) отклик подавляющего большинства известных американских и зарубежных социологов, экономистов и представителей других наук, включая Э. О. Росса, Ф. Гиддингса, Ч. Х. Кули, Ф. С. Чэйпина, Ч. Эллвуда, К. Кэйса, Э. Сазерлэнда, Э. Хантингтона, М. Ростовцева, Ф. Таусcига, Т. Карвера, Р. Б. Перри, А. Хэнсена, Дж. Д. Блэка и других, был восторженно позитивным. В своих статьях, рецензиях и личных ко мне письмах они оценивали книги как солидный вклад в социологию и смежные науки;

3) меньшинство американских социологов пыталось преуменьшить ценность моих работ всеми возможными способами. Как я узнал позднее, часть людей, входивших в это меньшинство, даже начала умышленную кампанию по «дискредитации Сорокина». Я не знаю точно, каковы были их мотивы. На основе отрывочных свидетельств, подозреваю, что «заговорщикам» не просто не понравилась разница в наших точках зрения, им встала поперек горла моя антикоммунистическая деятельность, которой я был занят в тот период, и моя критика любимых ими теорий и идеологий. Вдобавок они, похоже, возлагали на меня ответственность за сме-

щение профессора Л. Л. Бернарда[8] с должности на факультете социологии Университета Миннесоты, хотя на самом деле я никакого отношения к его отставке в 1926—1927 годах не имел. Похоже, что на меня смотрели как на одного из тех русских-эмигрантов, которые имеют мало отношения к настоящей науке, и которых посему можно и нужно ставить на подобающее место.

Эта ситуация типичным образом отразилась в одном случае, который до сих пор остается неизвестным всем, кроме лишь нескольких человек, прямо вовлеченных в эти события. Один из первых «залпов» критики нанесли в рецензии на «Социальную мобильность», написанную неким Эндрю У. Линдом в «Американском социологическом журнале» за март 1928 года. Вся рецензия состояла всего лишь из 15 строк и создавала у читателей впечатление, что моя книга не представляет собой ничего значительного. Поскольку это была одна из первых рецензий, да еще в авторитетном научном журнале, она, естественно, повергла меня в уныние как предвестник моего провала. Несмотря на ее несправедливость, я решил, в соответствии со своими принципами, не реагировать на нее. После первоначальной подавленности я утешился старой поговоркой — in captu lectoris habend fata sua libelli[9] — и был готов принять свое временное поражение, если последующие отклики на книгу окажутся сходными с первым.

К счастью для меня, в течение нескольких следующих недель поток писем от известных зарубежных и американских социологов, а затем и их рецензии и статьи дали совсем другую, очень обнадеживающую оценку книги. Среди писем самой ободряющей была короткая записка от профессора Чарльза Х. Кули с приложенной к ней копией его письма к редактору «Американского социологического журнала». Текст посланий говорит сам за себя и не требует пояснений:

Апрель 20, 1928 года

Дорогой профессор Сорокин!

Я написал записку профессору Бёрджесу с протестом против рецензии на Вашу книгу в последнем номере «Американского социологического журнала». Мне думается, Вам будет интересно ознакомиться с ней, поэтому, соответственно, вкладываю копию.

Искренне Ваш

Ч. Х. Кули

Апрель 20, 1928 года

Профессору Э. У. Бёрджесу

Дорогой профессор Бёрджес!

Не помню, чтобы я часто выполнял какие-либо функции советника-консультанта журнала, каковым являюсь, но, возможно, таким исполнением своих обязанностей явится выражение моих чувств в настоящее время: рецензия на книгу Сорокина «Социаль-

ная мобильность» в мартовском номере достойна сожаления. Вероятно, Вы считаете так же, и, вероятно, просто не смогли получить мнение более компетентного или менее предвзятого рецензента. Так как я сам постоянно отказывался от рецензирования, то, возможно, мне и не пристало выражать свое неудовольствие. Но есть и другие люди, пишущие рецензии, а уж если рецензировать, то с умом и честно. Не лучше ли было вовсе не давать отклика на эту книгу, чем посвящать ей такую поверхностную, а следовательно, презрительную заметку. Без сомнения, эта книга, будучи солидным и умным научным трудом, выполненным в фундаментальной области социальной теории, *сравнима с лучшими работами по социологии в мире*. Как должен чувствовать себя автор, если *такая* книга получает *такую* рецензию в ведущем журнале?

Я бы сам написал что-нибудь корректное по поводу этой книги, но весной болел и только сейчас готовлюсь первый раз выйти из дома.

Искренне Ваш

Ч. Х. Кули

Одним из последствий данного письма стало опубликование другой рецензии на мою книгу. Ее написал профессор Рудольф Хеберле, и она появилась в июньском номере «Американского социологического журнала» за 1928 год. В ней содержалось уже больше шести страниц, и она стояла первой в разделе рецензий. Компетентность, с которой она была написана, и положительная оценка моей книги весьма отличались от рецензии Линда. Редакторы журнала предпослали ей следующее примечание: «Отклик на книгу Сорокина «Социальная мобильность» опубликован в нашем журнале в марте 1928 года. Никаких претензий в адрес редакции от профессора Сорокина или лиц, представляющих его интересы, не последовало, однако недавнее письмо от заслуженного члена Американского социологического общества говорит, что эта рецензия была совершенно неадекватной. Редакторы журнала согласны с таким мнением. Как оказалось, доктор Р. Хеберле готовит книгу по этой же тематике. По предложению редакции доктор Геберле написал собственный, более адекватный комментарий к книге профессора Сорокина в дополнение к предыдущей рецензии, а также, частично, для исправления допущенных в ней ошибок».

Письмо Кули для меня было особенно значимым, поскольку ранее я встречался с этим выдающимся социологом только один раз, и протест редакции был заявлен им исключительно по собственной инициативе, без каких-либо просьб или жалоб с моей стороны. Этот случай и престиж, быстро завоеванный моими книгами у американских и иностранных ученых, вернули мне спокойствие и самоуважение. Разыгравшиеся события также заставили оппонентов несколько смягчить грубость своих нападок. Конечно, спра-

ведливая критика моих книг и теорий продолжалась. Фактически, большинство рецензий в «Американском социологическом журнале», «Социальных силах» и «Американском социологическом обозрении» содержали критику моих работ. Но поскольку критика эта была честной — иногда компетентной, иногда нет, — я не принимал ее близко к сердцу. Напротив, мне нравились такие рецензии намного больше, чем чисто хвалебные. Если критика оказывалась глупой, как, впрочем, чаще всего и было, это лишний раз убеждало в правоте моих теорий. Если же критика отличалась компетентностью, я извлекал выгоду тем, что исправлял свои ошибки. Вот почему я и сегодня редко читаю хвалебные комментарии к моим трудам с той тщательностью, с которой изучаю острокритические нагоняи. Я получал удовольствие от критики, опубликованной в вышеупомянутых журналах еще по некоторым причинам, указанным в моем письме к редактору «Американского социологического журнала» (март 1957 г., с. 515):

«Весьма пренебрежительный тон Ваших рецензий является добрым предзнаменованием для моих книг, потому что существует тесная взаимосвязь между ругательствами со стороны ваших рецензентов в адрес моих книг и их дальнейшей судьбой. Чем сильнее их ругают (а практически все мои труды были изруганы в пух и прах вашими рецензентами), тем более значимыми они оказываются, тем больший успех им сопутствует, тем больше их переводят на другие языки и тем обширнее научная литература о них. Последняя появляется в виде солидных статей, докторских диссертаций и книг о моих работах. Чем больше меня ругают, тем большее место отводят моим трудам различные философские энциклопедии и словари социологической лексики, и тем обширнее главы в учебниках и монографиях, посвященные моим теориям и «эмоциональным извержениям». Наконец, чем сильнее меня ругают, тем чаще «ругатели» по прошествии нескольких лет становятся на мою точку зрения...»

В общем-то, я приветствовал такую резко поляризованную реакцию. По моим наблюдениям, подобная реакция была типичной для подавляющего большинства крупных работ в науке, философии, изящных искусствах или религии, и, вообще, во всех областях творчества. Только работы, в которых нет ничего нового и важного, которые не бросают вызов господствующим идеям, стилям или стандартам, только такие работы, если им вообще суждено быть замеченными, встречают несколько поощрительных откликов и быстро уходят в забвение, не удостаиваясь даже краткого надгробного слова. «Если я не могу повторить великие достижения социальных мыслителей, то, по крайней мере, удовлетворюсь сходством с ними в малом», — таково было мое отношение к критике.

После публикации «Социальной мобильности» и «Современных социологических теорий» мое имя отчетливо вписалось в «социологическую карту мира». Прежние волнения относительно научно-

го положения во многом отошли на второй план. Ободренный благоприятной реакцией на эти книги, я спокойно продолжал научную деятельность и начал исследования в области сельской социологии.

Рассказ об интенсивном умственном труде в годы, о которых идет речь, не должен создавать впечатления, что мое здоровье подвергалось опасности, или что я был на грани нервного срыва, или что мы с женой не могли наслаждаться полнотой жизни. Ничего подобного. Хотя научная и педагогическая работа забирала бóльшую часть нашего времени и сил, мы успевали встречаться с друзьями, заниматься философическими и художественными развлечениями, культурно проводить досуг и просто получать удовольствие от такой физической активности, как выезды на природу, рыбная ловля, плавание, прогулки в горах, игра в гандбол и прочее.

Летом вместе с семействами Чэйпинов, Циммерманов и Андерсонов мы частенько в выходные отправлялись на красивые берега реки Сент-Крукс поплавать, позагорать и провести ночь под звездами у костра. Зимой я регулярно играл в гандбол с аспирантами и преподавателями. Много вечеров проводил в компании студентов, за разговорами обо всем, что тогда нас интересовало. Если выходных дней было больше обычного, мы предпринимали отдаленные путешествия, порыбачить на уединенных озерах Миннесоты: Сюпериоре, Майлэксе, Вумэн Лэйке, ездили также в Ландшафтный парк[10] штата и другие места.

Один раз на летние каникулы вместе с Циммерманами мы пропутешествовали через Блэк Хилз и Бэд Лэндз в Дакоте до самого Йеллоустоунского парка в Вайоминге, где жили в палатках больше недели, от души насладившись живописным ландшафтом, компанией медведей, пешими прогулками по разным достопримечательностям парка, купанием и рыбной ловлей.

Два других лета вместе с профессором Мак-Клинтоком и его семьей мы ездили на машине в горы Колорадо и проводили там около месяца на высоте двух с половиной тысяч метров. Мы жили в палатках и ни разу не ночевали в мотеле или гостинице. Там мы осуществили восхождения на многие вершины, включая Маунт Элберт, высочайший пик Колорадо[11].

Эти длительные путешествия незабываемы! После месяцев изнурительного умственного труда, каким счастьем было забраться в наш подержанный «Форд-Т»[12] и, забыв о всех проблемах, радуясь чувству свободы, ехать на природу. Солнце светит в небе, мимо пролетают все новые и новые пейзажи, неизведанные места ждут нас впереди.

Тогда все они были более «дикими», менее коммерциализированными и «цивилизованными», чем сейчас. Хотя наш «Фордик» часто барахлил, а многие дороги, особенно в горах Колорадо, были просто грязными проселками с крутыми поворотами впритирку к тысячеметровым пропастям, хотя мы не раз опасно скользили

к обрывам, застревали на несколько дней из-за непроезжих дорог, а однажды были застигнуты в пути страшной бурей и ливнем, что из того? Все эти опасности и приключения только добавляли *elan vital*[13] и позволяли сильнее ощутить радость жизни. Мы ездили, куда хотели и насколько хотели, останавливаясь в приглянувшихся местах. Рыбачили, купались, катались на лодке, лазали по горам. Совершали пешие прогулки. Готовили еду на газовой плитке, когда были голодны, спали в палатках и просыпались, когда хотели. Весь наш образ жизни в этих путешествиях был свободен от тирании расписанных по минутам занятий, встреч, домашних обязанностей, тирании, необходимой нам в нормальные рабочие периоды жизни. Кроме этого, в путешествиях мы сбрасывали с себя цепи многих «цивилизованных», но раздражающих своей бессмысленностью условностей *comme il faut*[14], включая утонченные манеры поведения, форму одежды и тому подобное. Эта истинная свобода, красота великолепного пейзажа, неистощимая новизна нашей физической активности, вид суровых, сияющих горных вершин или уединенных, дремотных или искрящихся озер, поэтическое журчание горных речек и водопадов — все это и было настоящей жизнью в полной ее красе. Только счастливые минуты творческого озарения в умственном труде могут соперничать и, пожалуй, превзойти в радостных ощущениях эту жизнь на природе. Не удивительно, что несколько дней или недель такого путешествия полностью освежали нас и физически, и умственно. Их исцеляющий и взбадривающий эффект препятствовал усталости мозга и нервному истощению и делал ненужными услуги психиатров и иных «целителей».

За шесть лет в Миннесоте я ни одного дня не провел в больнице и посещал врачей всего несколько раз. И мое тело, и мое сознание «хорошо вели себя» в той кипучей и полной работы жизни, которую мы тогда вели. Ощущений и впечатлений хватало и в культурной сфере деятельности: наши запросы простирались далеко за пределы профессиональных интересов. Я продолжал следить за развитием современных мне направлений в литературе, философии, психологии, теоретической и практической экономике, политике, этике, праве и искусстве. Что касается последнего, то кроме знакомства с литературой мы часто посещали выставки картин и скульптур, ходили в театр и кино, на выступления симфонических оркестров и сольные концерты.

На одном из таких концертов началась моя длившаяся всю жизнь дружба с великим дирижером Бостонского симфонического оркестра доктором Сергеем Кусевицким[15]. Еще в бытность бедным студентом Санкт-Петербургского университета я часто ходил на волшебные концерты оркестра Кусевицкого. Во время правления Керенского мы раз или два встречались как сотрудники правительства. Кусевицкий отвечал за развитие музыкального искусства в России, а я работал секретарем министра-председателя. После бегства в 1920 году Кусевицкого из Советской России мы не встре-

чались до 1929 года, когда он давал концерт в зале Университета Миннесоты. После окончания выступления я направился прямиком в комнату маэстро поздравить его с чудным исполнением. Наша встреча была сердечной и радостной: пустились в воспоминания о пережитом в России, рассказывали друг другу о жизни в эмиграции и делились своим пониманием происходящего в настоящий момент. Это была запоминающаяся встреча! После моего переезда в Гарвард мы дружили семьями много лет до самой смерти наших выдающихся друзей.

Упомяну еще об одной незабываемой встрече в Миннеаполисе, с моим ближайшим другом профессором Н. Д. Кондратьевым. Как выдающемуся экономисту-аграрию и эксперту по циклам деловой активности, Советское правительство разрешило ему посетить американские университеты и исследовательские институты, занимающиеся этими проблемами. Цель поездки привела Кондратьева и в Университет Миннесоты, где он прожил у нас несколько дней. Какая это была радость для нас видеть друга живым, в добром здравии и говорить с ним о наших русских знакомых, об экономическом и политическом положении России и основных мировых проблемах в целом. К несчастью, эта встреча была последней. Несколько лет спустя после возвращения в Россию он был обвинен Сталиным в 1931 году как ведущий идеолог и разработчик плана антикоммунистической реконструкции сельского хозяйства России. Его «вычистили», и он исчез. До нас доходили слухи, что Кондратьева выслали, и он погиб не то в Туркестане, не то в Монголии. Но точно мы так и не знаем до сего дня, где, как и при каких обстоятельствах он погиб[16]. *Вечная тебе память, дорогой друг!*

Рассказывая о встрече с Кондратьевым, я вспомнил, как в шутку предложил президенту Коффману пригласить Льва Троцкого выступить на общеуниверситетском собрании. Примерно два года спустя после моей высылки из страны Сталин «вышиб» из России и Троцкого[17]. В то время изгнанник сидел под арестом на турецком острове Принципо возле Константинополя. «Хотя Троцкий и выслал меня, мы теперь оба товарищи по несчастью, так что я был бы рад представить его университетской аудитории», — примерно так формулировалось мое ироническое предложение, которое, по понятным причинам, было отвергнуто.

Итак, мы жили и работали в Миннесоте. Закончив написание «Современных социологических теорий», я приступил в сотрудничестве с К. К. Циммерманом к изучению основных проблем сельской социологии. За один год нам удалось закончить исследования и опубликовать их в 1929 году в книге «Основы сельской и городской социологии». Ее приняли очень благосклонно. Кроме прочего, от Министерства сельского хозяйства США поступило предложение провести подготовку систематизированного руководства и хрестоматии по сельской социологии. Оно исходило от известного социолога-агрария Чарльза Дж. Гэлпина, в то время ру-

ководителя отдела фермерского населения и сельской жизни в министерстве. Еще до публикации «Основ»[18] он писал мне письма, в которых выражал глубокое удовлетворение моими предыдущими книгами («Мобильность» и «Теории»). Поскольку предложение это давало нам возможность расширить, развернуть и более полно разработать главные идеи и основные выводы, содержащиеся в «Основах», и сам Гэлпин выразил желание сотрудничать с нами, мы приняли его предложение и углубились в работу. При помощи Т. Лынна Смита, Ч. Таубера и других аспирантов мы закончили работу над объемной рукописью «Систематизированная хрестоматия[19] по сельской социологии» в течение 16 месяцев. Издательство Университета Миннесоты быстро опубликовало первый том в 1930 году, второй и третий тома, соответственно, в 1931 и 1932 годах.

В нашем коллективном предисловии к первому тому говорится, что «большая часть подготовительных работ, отбора и систематизации материала и в целом по самой рукописи «Хрестоматии» была выполнена профессором Сорокиным. Без его энциклопедических знаний литературы по аграрным вопросам и социологической теории и неослабного внимания к деталям композиции и интерпретации «Хрестоматия» не была бы подготовлена в столь короткий срок.»

И действительно, подготовка этих трех томов потребовала от меня самой напряженной работы. Когда уже виден был конец нашего труда, я чувствовал себя уставшим, раздраженным и хотел только одного — закончить работу как можно скорее. С глубоким вздохом облегчения я отослал законченную рукопись в издательство и на радостях, что вновь свободен, сделал многое из того, о чем только мечтал в процессе работы.

Завершение рукописи позволило мне задуматься над тем, куда направить свою мысль и какой проблемой заниматься далее. Так или иначе, эта новая проблематика ранее уже смутно брезжила в моем сознании. Теперь она начала все больше занимать мое внимание и воображение, и тщательно обдумывая ее, я осознавал те огромные трудности, которые требуется преодолеть в целой серии необходимых исследований. Мне становилось ясно, какой гигантский труд потребуется для этого и как скромны мои возможности для того, чтобы адекватно справиться с такой задачей. Несмотря на эти сомнения, тема дразнила и манила, так что после некоторых колебаний я сделал выбор и взялся за нее.

«Как бы там ни было, лучше потерпеть неудачу в достижении великой цели, чем добиться успеха в скучном и мелком деле», — такими безрассудными мотивациями укреплял я свое решение Принявшись за дело, я неторопливо начал предварительные разработки выбранной темы. Примерно десять лет спустя в 1937—1941 годах появились на свет четыре тома «Социальной и культурной динамики» как результат моего «опрометчивого» выбора направления исследований.

После публикации «Основ» и первого тома «Хрестоматии» мой престиж в науке значительно возрос. Книги были встречены с энтузиазмом: в статьях, рецензиях и личных ко мне письмах их называли «вехами», «великими», «основополагающими» и тому подобными вкладами в сельскую и городскую социологию. Среди прочих знаков высокой оценки моих книг упомяну два предложения постоянного профессорства от двух больших национальных университетов. Однако поскольку Университет Миннесоты с готовностью предоставил мне те условия, о которых шла речь в этих предложениях, и мы с женой привыкли к Миннесоте, я отклонил их. Вполне довольные нашим положением, мы думали, что проживем здесь до старости.

ПРИГЛАШЕНИЕ ИЗ ГАРВАРДА

Вскоре, однако, непредсказуемый поворот судьбы все резко изменил. Весной 1929 года я получил приглашение от факультета экономики Гарвардского университета и Комитета по социологии и социальной этике приехать в Гарвард, чтобы провести несколько лекций и семинаров на тему по моему усмотрению. Приглашение в какой-то мере удивило меня, потому что я никогда прежде не был в Гарвардском университете и едва ли знал кого-либо из его знаменитых ученых лично. До последнего времени контакты с Гарвардом ограничивались получением писем с одобрением моих книг от профессоров Ф. Тауссига, Т. Карвера, Дж. Д. Блэка и знакомством с благосклонными рецензиями в «Гарвардском ежеквартальном экономическом журнале». Я, естественно, принял приглашение и в марте 1929 года приехал в этот университет с лекциями. Профессора Х. Бёрбэнк, Ф. Тауссиг, Э. Гэй, Т. Карвер, Дж. Д. Блэк, Р. Б. Перри, Ч. Буллок, У. Хоккинг, Р. Кэбот, А. Уайтхэд и многие другие отнеслись ко мне самым сердечным и любезным образом. Они почтили меня присутствием на лекциях, обсуждали со мной общие проблемы, организовали специальный банкет, чтоб представить меня преподавателям университета. Я также был приглашен на ланч президентом Гарварда Л. Лоуэллом и у него дома познакомился с некоторыми членами Гарвардской корпорации[20]. Кроме этих старейших членов университетского сообщества состоялось и знакомство с рядом более молодых ученых — инструкторов, преподавателей, ассоциированных профессоров и аспирантов[21], среди них с Ч. Джослином и Т. Парсонсом.

Мои лекции и семинарские занятия, кажется, прошли хорошо. По крайней мере, многие ученые тепло поблагодарили меня за выступление. Я тоже получил удовольствие от визита. Ученые и студенты Гарварда, университетские атмосфера и нравы оставили вполне благоприятное впечатление. К концу моего визита у меня возникло смутное ощущение, что пригласили меня не просто как

приезжего лектора, а как возможного «жениха», у которого хотят внимательно рассмотреть внешность, манеры, ценностные ориентации, черты характера и научные способности. Если эта догадка была верной, то гарвардцы, конечно, успели хорошо рассмотреть, что я из себя представляю. Однако никаких предложений в ходе визита мне сделано не было. Закончив программу, я поблагодарил хозяев и попрощался с новыми друзьями. В Миннесоту вернулся вполне довольный как путешествием, так и щедрым чеком в кармане.

После возвращения я сделал несколько последних уточнений в «Хрестоматии» и занялся написанием двух статей. Наступившие летние каникулы мы провели в горах Колорадо. Четыре недели отдыха восстановили мою энергичность и душевное равновесие. Время от времени даже на отдыхе, в промежутках между физической активностью, я снова и снова задумывался о проблемах запланированной мною работы. Хорошо отдохнув, мы вернулись в Миннеаполис. Там с новой энергией я принялся разрабатывать тему будущей «Динамики». Предварительные исследования прояснили одну вещь: если делать работу как следует, то одному мне с ней не справиться, нужна значительная помощь ряда хороших специалистов по истории и психосоциальным наукам.

В конце сентября 1929 года, когда я ломал голову, где достать такую помощь (ведь у меня не было денежных фондов, чтобы просто оплатить ее), пришло письмо от президента Лоуэлла из Гарварда. В любезном стиле он информировал, что университет впервые в своей истории решил учредить кафедру социологии и по единодушному решению кафедра предлагается мне. Далее в письме детализировались финансовые и прочие условия, включая привилегию самому выбрать факультет, где будет организована моя кафедра.

В ответе президенту Лоуэллу я написал, что условия предложения щедры и подходят мне. Однако я позволил себе заметить, что они были бы еще лучше, если кафедру социологии в скором времени преобразовать в полный отдельный факультет социологии. Это встречное предложение было быстро одобрено, и 28 октября 1929 года президент и сотрудники Гарварда избрали меня профессором социологии, с началом преподавания с 1 сентября 1930 года. Выборы были утверждены Советом попечителей 13 января 1930 года. Было также решено, что в декабре 1929 года я должен буду приехать в Гарвард на несколько дней, чтобы определить некоторые детали моей будущей деятельности.

Так в течение одного месяца в моей жизни произошла крутая перемена. Не считая догадок по поводу «смотрин», я никогда и не думал, а тем более не добивался приглашения из этого великого университета. «Если вы ошиблись в выборе, вина целиком ваша»,— полушутя сказал я президенту Лоуэллу и декану Муру во время нашей встречи в декабре 1929 года.

Помимо прочего Лоуэлл сообщил, что Гарвардский университет

решил создать кафедру социологии еще 25 лет назад. Это не было сделано, поскольку не находилось социолога, достойного занять место заведующего кафедрой. Сейчас, по их мнению, такой ученый найден, и они поэтому быстро приняли решение. Я, естественно, был окрылен таким поворотом судьбы. В конце концов гарвардское назначение было впечатляющим признанием моих достижений, что подтверждалось как откликами в прессе, так и потоком поздравительных писем от друзей, коллег и критиков.

Администрация и регентский совет Университета Миннесоты, которых с самого начала я держал в курсе моих переговоров с Гарвардом, предложили мне самые выгодные условия найма, дозволенные законодательством штата. Но поскольку они все равно значительно уступали тем, что предлагал Гарвард, руководство университета с сожалением приняло мою отставку, вступающую в силу в конце учебного года, и выразило признательность за мою службу университету. Президент Л. Д. Коффман в своем официальном письме от 16 ноября 1929 года желал мне также «всего наилучшего и больших успехов на новом поприще». Неофициально Коффман с юмором заметил: «Вот так мы выращиваем здесь из молодых телят отличных быков, а потом большой плохой волк из Гарварда является и крадет их. Нужен закон против таких грабительских действий гарвардцев.»

Это шутливое замечание на самом деле было абсолютно верным: за три предыдущие года Гарвард «утащил» из Университета Миннесоты профессоров Дж. Д. Блэка, Н. С. Д. Грэса, а за несколько лет после моего ухода — профессоров К. К. Циммермана, А. Хэнсэна и Дж. Н. Д. Буша. Однако вины Гарварда тут нет, поскольку так поступали все хорошие университеты и колледжи страны, включая и сам Университет Миннесоты. В последующем мои наблюдения показали, что профессиональные ряды наших вузов примерно на 40 % заполнялись за счет «утечки мозгов» или, иными словами, переманиванием профессоров из других университетов и колледжей. И только около 60 % вакансий заполнялись «инбридингом»[22] — т. е. за счет собственных инструкторов и ассоциированных профессоров.

Множество мелких проблем и неизбежные хлопоты во время перевода в Гарвард сильно помешали работе над «Динамикой» в октябре — декабре 1929 года. К началу следующего года эти вопросы утряслись, возбуждение улеглось, и ничто более не мешало работе. В январе я возобновил исследования и упорно продолжал их до начала августа. В этом месяце, попрощавшись с друзьями из Миннесоты, мы поехали на машине на Лесное озеро в Канаде, надеясь половить там щук. Несколько дней мы провели на одном из островов, но, потерпев неудачу в рыбалке, вернулись на берег, где оставили свою машину.

Во время переправы мы едва не утонули. Вскоре после отплытия (от берега до острова было около 15 миль) разразилась жестокая буря. В течение нескольких минут тихие воды озера

превратились в яростные и грозные штормовые волны, грозившие опрокинуть лодку. Два часа мы были в таком опасном положении. Если бы наш маленький подвесной мотор захлебнулся даже на короткое время, мы бы исчезли во взбесившейся стихии. К счастью, старый моторчик справился и вывез нас — мокрых, но спасенных, — на берег.

От Лесного озера мы неспеша отправились в Кэмбридж[23], останавливаясь на день-два то в одном, то в другом месте с красивой природой и хорошей рыбалкой. Так мы проехали северную часть Миннесоты, Висконсин и Мичиган. Хорошо отдохнувшие и бодрые, мы, наконец, добрались до Кэмбриджа в конце августа 1930 года. Приезд в Гарвард подытожил важный период в нашей жизни и открыл в ней новую страницу.

Вспоминая годы в Миннесоте, я нахожу, что они в самом деле были временем осмысленным и творческим. Мы с Леной были сравнительно молоды и полны энергии, жили, работали и наслаждались этой жизнью во всей ее красоте.

Глава тринадцатая.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ В ГАРВАРДЕ.

ОСНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОЛОГИИ ГАРВАРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В первые несколько месяцев нашей жизни в Кэмбридже у меня не было времени работать над «Динамикой». Во-первых, нам следовало найти жилье, что мы и сделали, сняв половину комфортабельного дома на две семьи на Вашингтон-авеню. Затем нам пришлось в буквальном смысле «проесть себе путь через весь Кэмбридж и Бостон» на бесчисленных ланчах и обедах, которые устраивали как гарвардские профессоры, так и коренные бостонцы, а также сановники обоих городов, Кэмбриджа и Бостона. Я никогда особенно не любил «жизнь общества», состоящую из бесконечных званых обедов и вечеринок, тем не менее, подобно всем новичкам Гарварда, мне пришлось пройти через этот ритуал, чтобы не нарушать обычаи. Кроме того, у нас было множество мелких забот, неизбежных при устройстве на новом месте, которыми следовало заняться, дабы приспособиться к окружающему нас обществу. Эта «внеучебная», так сказать, деятельность занимала значительную часть моего времени.

И все же основным моим занятием тогда было выполнение академических обязанностей — подготовка к лекциям, изучение местных правил и установлений, присутствие на заседаниях различных комитетов и, в частности, председательство в комитете по организации нового социологического факультета.

До его создания я включил свою кафедру в состав экономи-

ческого факультета, выбрав этот факультет потому, что его выдающиеся ученые — Тауссиг, Гэй, Карвер, Бёрбэнк, Буллок Блэк, Крамм и другие — играли важную роль в деле основания факультета социологии и выборе меня первым профессором социологии Гарварда. Я уважал их как больших ученых, любил как друзей и единомышленников. Мне никогда не пришлось пожалеть о сделанном выборе: за год в составе экономического факультета я многому научился от его заслуженных преподавателей и в полной мере оценил их помощь, дружбу и сотрудничество.

В самом начале 1930—1931 учебного года президент Лоуэлл назначил специальный комитет для организации нового факультета со мной во главе. Членами комитета стали Р. Кэбот, Т. Карвер, Р. Б. Перри, Х. Бёрбэнк, А. Шлезингер, А. М. Тоззер, Э. Б. Вильсон, Дж. Блэк, Дж. Форд, Г. Оллпорт, представлявшие факультеты экономики, истории, психологии, антропологии, философии и социальной этики.

Разнообразие мнений членов комитета по поводу того, какого рода курсы лекций и практические занятия должен предлагать студентам новый факультет, делало задачу комитета трудновыполнимой за короткое время. Эти внутренние трудности усугублялись двумя условиями, поставленными перед комитетом администрацией. Во-первых, высказывалось желание, чтобы факультет был первоклассным и по составу преподавателей, и по учебным программам, и по своему исследовательскому потенциалу, но предписывалось набирать сотрудников исключительно из числа гарвардского преподавательского состава, не приглашая никого из социологов со стороны. Поскольку в Гарварде почти не было людей, получивших социологическую подготовку или работавших ранее преподавателями социологии, можете вообразить, как трудно было создавать первоклассный факультет без социологов в узком смысле этого слова. Второе условие гласило, что новый факультет должен вобрать в себя факультет социальной этики. Это, естественно, вызывало сопротивление людей, работавших там, противоречило их интересам. Эти известные интересы могли бы серьезно навредить работе комитета, если бы президент факультета социальной этики доктор Р. Кэбот не сотрудничал с нами искренне и с желанием. Его справедливое отношение и чистосердечное участие в создании социологического факультета устранили многие трудности, создававшиеся людьми, чьи интересы оказались под угрозой.

Широкое разнообразие взглядов членов комитета на то, каким быть новому факультету, и эти два условия грозили затянуть работу на очень долгое время. К счастью, искреннее стремление членов комитета решить стоящую перед ними задачу как можно быстрее, дух согласия и взаимных уступок, значимость для членов комитета моих взглядов и предложений, а также моя позиция новичка, не вовлеченного пока в склоки различных гарвардских групп, позволили нам закончить работу за шесть или семь недель.

Я не добился всего задуманного в отношении структуры нового факультета, но все же, в создавшихся обстоятельствах, и то, что было сделано, оказалось немалым успехом. Может быть, самой большой уступкой, на которую мне пришлось пойти, являлся отказ от идеи создать социологический факультет как чисто аспирантское подразделение, открытое только для лучших выпускников[1]. Я считал и считаю социологию самой сложной из всех психосоциальных наук. По финансовым и прочим практическим соображениям даже Гарвард не мог позволить себе столь «избранный» факультет. Посему мы пришли к соглашению, что новое подразделение будет обучать как студентов первых четырех курсов, так и аспирантов, но оба отделения станут принимать только самых лучших учащихся. Помимо меня, как президента факультета, в качестве постоянных сотрудников были рекомендованы: Р. Кэбот (полный профессор), Дж. Форд (ассоциированный профессор), Ч. Джослин и Т. Парсонс (факультетские инструкторы), П. Пигорз и У. Л. Уорнер (туторы). Мы также договорились, что для наших студентов будут доступны многие курсы и семинары других факультетов по таким предметам, как криминология (курс С. Глюека в Школе Права), курсы Тауссига, Карвера, Блэка и Крамма на экономическом факультете, курс социальной психологии Г. Оллпорта на психологическом факультете, статистика на экономическом и математическом факультетах, курсы лекций по философии, истории, включая историю религий, политическим наукам, антропологии, лингвистике, литературе и искусству. Таким вот путем базовые социологические предметы дополнялись многими дисциплинами, преподававшимися известными учеными на других факультетах.

В декабре 1930 года я представил выработанный комитетом план создания социологического факультета президенту Лоуэллу. Он и его администрация одобрили проект за исключением одного момента: они отказали в назначении Талкотта Парсонса факультетским инструктором. Несколько удивленный этим, я спросил профессора Бёрбэнка, президента факультета экономики, где Парсонс был инструктором, какие причины стоят за этим отказом. Суть сказанного Бёрбэнком заключалась в том, что Парсонса экономика интересует меньше, чем социология, и по этой причине, видимо, качество работы на факультете оставляло желать лучшего, и что, может быть, Парсонсу лучше заняться социологией, так что экономический факультет будет только рад отдать его нам. Мои личные впечатления от Парсонса, сформированные несколькими встречами с ним, были довольно благоприятны. В наших беседах он показал хороший аналитический ум и знакомство с теориями Дюркгейма, Парето, Вебера и других социологов. Весьма впечатленный его знаниями, я уверенно рекомендовал назначение Парсонса членам комитета и получил их одобрение моей рекомендации.

Учитывая это, я сказал профессору Бёрбэнку, что мы настаи-

ваем на кандидатуре Парсонса, и попросил его, а также Тауссига, Гэя, Карвера и Перри поддержать рекомендацию комитета перед президентом Лоуэллом и администрацией. Членов комитета я тоже попросил употребить все свое влияние на администрацию в этом вопросе. Заручившись их поддержкой, я приложил все силы, чтобы убедить мистера Лоуэлла изменить решение. После двух бесед с ним я в конце концов получил его согласие на назначение Парсонса[2]. После конструктивного решения данной проблемы администрация представила план создания факультета профессорско-преподавательскому составу Гарварда и получила его одобрение. Факультет был официально создан в начале 1931 года и с сентября приступил к обучению студентов.

Вот так, совершенно неожиданно мне случилось дважды играть важную роль в образовании двух факультетов социологии: одного — в Петроградском университете в 1919—1920 годах[3], а второго — в Гарварде в 1930—1931 годах. В более поздние годы меня приглашали организовывать факультеты социологии в университеты Индонезии, Индии и Латинской Америки. Однако занятый своими исследованиями и не любя административную работу, я отклонял подобные приглашения.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ НАД «ДИНАМИКОЙ»

В конце первого моего семестра в Гарварде работа по организации нового факультета была в основном закончена. Требующие времени ритуальные обеды в Кэмбридже по большей части также закончились. Это давало мне возможность больше работать над «Динамикой» и заняться чем-то еще, кроме преподавания.

Работа над «Динамикой» в конце концов была поддержана финансами от Гарвардского комитета по исследованиям в социальных науках. Субсидия, данная на четыре года, составляла около 10 тысяч долларов на все четыре тома моей книги. Эти деньги позволили получить столь необходимое сотрудничество известных специалистов по истории живописи, скульптуры, зодчества, музыки, литературы, естественных наук, философии, экономики, религии, этики, права, войн, революций и прочих важных социокультурных процессов. За очень скромное вознаграждение эти специалисты (в основном русские эмигранты) любезно согласились выполнить для меня огромное количество черновой работы по заданиям, которые я написал каждому из них. (Имена моих помощников приведены в начале соответствующих глав «Динамики».)

Никому из этих экспертов не сообщалось, для чего понадобились статистические таблицы и прочие материалы, которые они согласились подготовить. Никто не знал и какого рода гипотезы или теория будут проверяться теми систематизированными и в основном количественными данными, что они собирали согласно

моим указаниям. Я держал их в неведении относительно моих пробных гипотез совершенно сознательно: нужно было получить от них компетентно подобранные и полные выкладки фактов, относящихся к той или иной проблеме, чтобы при этом на их подбор не влияли любые предварительные теоретические построения, сложившиеся в моей голове. Этим объясняется крайнее возбуждение, возникавшее каждый раз, когда я получал от своих помощников таблицы и другие выжимки эмпирических данных. Подтвердят ли временны́е ряды и другая информация гипотезы или вступят с ними в противоречие, а может быть, окажутся просто нерелевантными?[4] Такой вопрос настойчиво возникал в моей голове всякий раз, когда я начинал изучать полученный материал. К счастью, почти все многочисленные результаты «раскопок» моих помощников подтверждали предварительные гипотезы даже более убедительно, чем ожидалось.

Эмпирические материалы продолжали поступать примерно четыре года, и все это время я сильно волновался. Общее количество вспомогательной информации, переданной мне моими выдающимися помощниками, было невероятно огромным. В «Динамике» использовано только самое важное из этого, но даже эта часть, представленная сотнями таблиц, каждая из которых обобщала длинные временны́е ряды данных по многим основным социокультурным процессам, была столь объемной и систематизированной, что вряд ли какая-нибудь другая социологическая работа в области социальных и культурных систем, их колебаний и изменений, может сравниться с моей, которая, уверен, останется непревзойденной.

Все сказанное показывает совершенную беспочвенность той критики в адрес «Динамики», которая утверждает, что главные теории, содержащиеся в книге, были выдуманы заранее, а их эмпирические подтверждения — не что иное, как тенденциозно подобранное «оформление». Конечно, никто из этих критиков не представлял, да и не мог представить каких-либо доказательств своих совершенно оторванных от реальности вымыслов. Со своей стороны скажу, что эти глупые предположения немало позабавили меня. В книге Ф. Оллена «Обозрение Питирима А. Сорокина» один из моих знаменитых помощников профессор Н. С. Тимашев[5], подтверждает, что он, как и прочие сотрудники, ничего не знал о целях, ради которых я просил его количественно описать все значительные внутренние неурядицы, перевороты, сдвиги в общественной жизни Древней Греции, Рима, Византии и основных европейских стран (1613 случаев), а также все изменения в уровне преступности и суровости наказаний в основных уголовных кодексах Европы, начиная с законов у варваров и кончая современными советскими, фашистскими и нацистскими кодексами.

Хочу воспользоваться случаем, чтобы выразить мою глубокую благодарность всем моим уважаемым помощникам в процессе создания «Динамики»: они выполнили свои задания добросовестно

и со знанием дела. Без той гигантской подготовительной работы, что проделали они, эмпирическая часть «Динамики» была бы много меньше, небрежнее и фрагментарнее.

Начиная со второго семестра первого года в Гарварде и следующие пять леть я посвящал практически все свободное время этому труду. В длительном процессе создания книги, конечно, бывали разные моменты: и чувство провала замыслов и блуждание в потемках, и тупики, и сомнения в необходимости работы, и желание все бросить. Иногда эти мрачные моменты переходили в депрессию, раздражение, полную неудовлетворенность собой и своими способностями сделать работу как следует. К счастью, эти моменты с лихвой компенсировались нечастыми периодами творческого озарения и осуществления замыслов, разгонявшими мрак в страждущей душе. Все это, вместе взятое, углубляло и обогащало мой жизненный опыт. В конце концов, некоторая доля трагического совершенно необходима, чтобы оградить нашу жизнь от просвещенного, но бессмысленного филистерства. Короче, я хорошо прожил годы, потраченные на «Динамику».

ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

1931/1932 учебный год был отмечен открытием факультета социологии. Хотя к занятиям допускались только самые лучшие студенты и аспиранты, их число уже в первый год работы факультета намного превзошло самые смелые наши ожидания. Благодаря тщательному отбору процентная доля студентов, выпущенных факультетом с оценками *summa, magna cum laude*[5], первые годы оказалась очень высокой. В результате другие факультеты стали протестовать против нашей привилегии «снимать сливки» и оставлять им менее способных студентов. Поскольку эти протесты были по сути справедливы, особенно с точки зрения «уравнительной демократии», данная привилегия в конечном счете была отменена, и в последующие годы факультет был вынужден принимать не только лучших, но и посредственных студентов. По отношению к аспирантам мы продолжали практиковать суровый отбор, по крайней мере до конца моего руководства факультетом в 1942 году. Такая селекция вкупе с притоком способных аспирантов из других университетов, привлеченных славой Гарварда и в какой-то мере моей собственной репутацией (что подтверждают письма некоторых моих блестящих учеников), позволили Гарвардскому факультету социологии, за годы моего руководства, выпустить очень большое число молодых лидеров американской социологической науки. И это даже несмотря на то, что состав постоянных сотрудников факультета был одним из самых небольших в стране: один полный профессор социологии — я сам (кроме того, полным профессором был Р. Кэбот, но он продолжал читать лекции по социальной этике, а не социологии), два ассоциированных профессо-

ра, два факультетских инструктора и четыре — шесть ассистентов преподавателей.

Когда в январе 1962 года была опубликована книга Чарльза и Зоны Лумисов «Современные социальные теории», в письме к ним я заметил, что практически все социологи, чьи теории разбираются в книге (Кингсли Дэвис, Дж. Хоманс, Р. К. Мертон, Т. Парсонс, Р. Вильямс и другие, включая самого профессора Лумиса и У. Э. Мура, ответственного редактора социологической серии издательства «Ван Нострэнд»), были аспирантами, или инструкторами (как Дж. Хоманс), или (как Х. Беккер) временно читали лекции на нашем факультете в бытность мою его руководителем. К этим именам ведущих социологов Америки я могу добавить еще несколько, например: профессора Ч. А. Андерсон, Р. Ф. Бэйлз, Б. Барбер, У. Баш, Р. Бауэр, К. Бергер, Р. Биерштедт, Дж. Блэкуэл, Р. Чемблис, А. Дэвис, Н. Демерат, Н. Денуд, Дж. Донован, Р. Дювоз, Дж. Б. Форд, Р. Хэнсон, Д. Хэтч, Х. Хитт, Л. Хаак, Дж. Фихтер, У. Файри, Х. Джонстон, Ф. Клукхон, Дж. Б. Кнокс, М. Леви, В. Парентон, А. Пирс, Б. Рид, Дж. и М. Райли, Э. Шулер, Т. Лынн Смит, Ч. Тилли, Э. А. Тириакиан, Н. Веттен, Логан Вильсон и другие, кто был аспирантом на нашем факультете во время моего руководства. Если я и не внес большого вклада в их научный рост, кроме, пожалуй, нескольких подаренных им идей на семинарах, то, по крайней мере, не подавлял развитие их творческого потенциала. Как основатель и президент факультетов социологии в Ленинградском[7] и Гарвардском университетах, я никогда не заставлял студентов некритично принимать на веру мои личные теории, а, наоборот, неоднократно советовал им идти по пути независимого исследования и выработки собственных взглядов, безотносительно к тому, согласуются они или нет с моими или любыми другими концептуальными схемами, методами и выводами. Правильность моего отношения и проводимой мною политики подтверждена последующим превращением этих студентов, научных сотрудников и инструкторов в крупных лидеров сегодняшней американской социологии, психосоциальных наук, образования и культуры.

Маленький преподавательский состав факультета и ограниченное число курсов, которые этот состав мог вести, после первого же года заставили меня исправлять этот недостаток приглашением нескольких ведущих гарвардских ученых организовать и прочитать на факультете специальные курсы лекций в областях, где они были авторитетами. Таким путем, на второй и последующие годы работы факультета количество предлагаемых студентам курсов заметно возросло за счет лекций и семинаров по социологии семьи, села и социальных изменений, которые читал и вел К. К. Циммерман после своего назначения на должность ассоциированного профессора в Гарварде; по социологии религии (этот курс организовал профессор А. Д. Нокк, а читали его несколько гарвардских ученых-религиоведов); по социологии животных (курс организовал про-

фессор У. М. Вилер, а читали несколько специалистов в области социальной жизни живых существ); по социологии права (курс последовательно читали профессор Н. С. Тимашев, декан Роску Паунд, доктор Г. Келсен и доктор Г. Д. Гурвич[8]); по социальной психологии (профессор Дж. Оллпорт) и т. д. К этим регулярным курсам лекций и семинарам впоследствии добавлялись предметы, которые вели профессора из других университетов, приглашенные нами на семестр, учебный год или летнюю сессию. За годы моего руководства нас посетили такие заслуженные ученые, как Кларенс Кэйз, Ч. А. Эллвуд, Р. Парк, Э. Бёрджес, У. И. Томас, Ф. С. Чейпин, А. Кребер, Х. Беккер из американских университетов; Ганс Келсен, Л. фон Визе и Р. Турнвальд из австрийских и немецких университетов; Г. Д. Гурвич из Сорбонны. Курсы и семинары ведущих мировых ученых в своих областях знания весьма обогатили программу факультета и сделали ее в высшей степени качественной и сбалансированной. Руководимые в своей подготовке постоянными и временными преподавателями, студенты и аспиранты социологического факультета могли успешно изучать специальность и максимально развивать свои способности и пытливые умы.

Короче говоря, за первые три года существования факультета Гарвардский университет прочно обосновался на карте мировой социологии и стал столь же значимым центром социологической подготовки, как и любой другой университет.

Организация факультета закончилась, и его нормальное функционирование было обеспечено, поэтому на четвертом году моего председательства я попросил администрацию освободить меня от поста и обязанностей главы факультета. Я никогда не любил рутинную административную работу и не придавал большого значения должностным креслам. Когда мое руководство было необходимым для создания нового факультета, будь то в Ленинградском[9] или Гарвардском университете, я относился к этому как к моему долгу в социологии и старался справиться с обязанностями как можно лучше в существующих условиях. Но едва только моя задача была выполнена, я снова хотел вернуть себе свободу, сбросив надоедающие административные обязанности, чтобы заняться более интересной и плодотворной работой ученого. К сожалению, моя первая просьба об отставке с поста главы факультета была отвергнута. Президент Лоуэлл просто сказал мне, что еще не найден подходящий ученый, способный заменить меня на этом посту и еще несколько лет мне придется оставаться главой факультета.

Четыре или пять лет спустя я снова попросил освободить меня от должности, и мне снова отказали. Наконец, в 1942 году я пришел к президенту Конанту и в третий раз попросил о том же, однако теперь я принес с собой копию протокола с результатами последнего голосования преподавателей по этому вопросу. Согласно их решению, обязательному для всех, любой председатель факультета в Гарварде должен назначаться только на три года,

в крайнем случае на пять лет, и ни при каких обстоятельствах на бóльший срок. Показав копию резолюции президенту Конанту, я сказал, что уже выполняю обязанности руководителя более 12 лет и морально, и по закону, меня необходимо освободить от них, тем более что я сам не хочу оставаться во главе факультета, а в то же время есть другие ученые, весьма желающие занять этот пост. К великому моему облегчению, на сей раз моя просьба была удовлетворена. *Nunc dimmittis. Feci guod polui faciant meliora potentes*[10] — с легким сердцем сказал я себе, после ухода с должности руководителя.

Таким образом я не несу ответственности за все, что случилось с факультетом с тех пор. Ни за крен в сторону психопатологии, социальной психологии и культурной антропологии, когда он был преобразован в факультет общественных отношений, ни за утерю социологии как таковой в эклектичных кучах хлама, которыми являются эти дисциплины, ни за любые другие перемены, случившиеся после 1942 года на бывшем социологическом факультете[11]. Преобразованный факультет (общественных отношений), конечно, увеличил число преподавателей, бюджет, исследовательские фонды и саморекламу. Но он едва ли воспитал столько выдающихся социологов, сколько выпустил факультет социологии с 1931 по 1942 год под моим руководством. Каждый волен, естественно, считать сказанное брюзжанием старого человека, однако если кто-нибудь проверит мои ворчливые наблюдения, то убедится в их полном соответствии истине.

Глава четырнадцатая.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ В ГАРВАРДЕ

ДВА БОЛЬШИХ СОБЫТИЯ В НАШЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

На каминной доске в моем домашнем кабинете стоят фотографии наших сыновей и самых дорогих друзей. Я хотел бы представить их читателям.

В Гарварде наша супружеская жизнь была осчастливлена рождением двух сыновей: Петра в 1931-м и Сергея в 1933 году. Эти радостные события дали нам ощущение полноты жизни. Воспитание и образование детей принесли нам новые заботы и волнения, особенно доставалось их матери, но все неприятности были ничто в сравнении с той радостью, что дарили нам мальчики. Жена, чтобы нянчить их, вынуждена была на время прекратить научную работу, сделав это с радостью, без сожалений и сомнений.

Формирование личностей наших сыновей в физическом, умственном, нравственном и творческом отношении представлялось нам главной задачей в тот период жизни. Хотя мы давали им свободу в проявлении своих творческих возможностей, в то же время

мы без колебаний отчитывали их за любые проступки, которые они, как все дети, иногда совершали. Вот в такой атмосфере они росли подобно цветам, естественно, без особых кризисов и потрясений. При рождении мы попросили наших дорогих друзей доктора Сергея Кусевицкого и профессора Михаила Ростовцева с женами стать сыновьям крестными. Имя Петр было дано старшему сыну в память отца моей жены. Когда пришло время назвать младшего, мы с Кусевицкими и Ростовцевыми решили, что его имя будет либо Сергей, либо Михаил в честь одного из крестных отцов. Кусевицкий и Ростовцев тянули жребий, и первый выиграл. Поэтому нашего младшего сына зовут Сергей. (Посвящение моей «Динамики» гласит: *Петру, Сергею и их крестным родителям Сергею и Наталье Кусевицким, Михаилу и Софье Ростовцевым*).

Впоследствии мои сыновья учились в публичных школах Винчестера[1] и закончили Гарвардский университет. Оба они хорошо успевали, оба сделали диссертации в Гарварде: Петр на факультете прикладной физики, а Сергей — в Гарвардской Медицинской школе, получив докторские степени. Оба выбрали научные и академические карьеры: Петр — как физик-исследователь в «Ай-Би-Эм»[2], Сергей — как инструктор и научный сотрудник Медицинской школы Гарварда. Оба уже напечатали ряд работ, имеющих определенную ценность, и оба делают свое дело хорошо. Я не удивлюсь, если они со временем станут видными специалистами в избранных областях. Как большинство родителей, мы с женой гордимся нашими сыновьями. Маленькая деталь: когда кто-нибудь просит к телефону доктора Сорокина, приходится переспрашивать, которого из четырех. Некоторые наши приятели говорят, что семья Сорокиных — университет в миниатюре, со своим математиком-физиком, биологом-ботаником, медицинским биологом и самозваным социологом-психологом-философом.

Когда сыновья выросли и разъехались из дома, миссис Сорокина вернулась к занятиям наукой и продолжает работать до сих пор. Вот так, помимо прочих подарков судьбы, я получил Божьей милостью еще и двух сыновей.

МЫ ПОСЕЛИЛИСЬ В ВИНЧЕСТЕРЕ

Среди множества перемен в нашей жизни, которые принесло рождение Петра, был и переезд из Кэмбриджа в Винчестер. Мне никогда не нравились большие города, и, в частности, по этой причине меня не устраивал Кэмбридж, который разросся до размеров очень большого города. Рождение сына заставило нас подумать о покупке собственного дома. Во время прогулок по Мидлсекскому заповеднику мы посетили Винчестер, и этот маленький «спальный» городок, произвел на нас приятное впечатление. Позднее мы нашли в городе дом, построенный для себя архитектором, чей отец был лесопромышленником. Хотя дом был основательно запущен,

построил его архитектор очень хорошо, и, что важнее, он прилегал к огромному Мидлсекскому заповеднику — около 40 000 акров прекрасных лесов и озер, где часами можно гулять без помех со стороны автомобилей и людских толп. К дому вел короткий переулок, заканчивавшийся у его ворот.

Эти обстоятельства подвигли нас на покупку дома и переезд туда в феврале 1932 года. Мы заново отделали его и живем в нем вот уже тридцать лет[3]. Холмы и скалы вокруг дома навели меня на мысль самому разбить сад с азалиями, рододендроном, лилиями, розами и глициниями. К моему удивлению, осуществление этого замысла принесло мне золотую медаль Массачусетского садоводческого общества, а мой сад был показан на цветных фото во всю страницу в национальных журналах «Садоводство», «Дом и сад» и др.

Работа в саду заменяла мне все необходимые физические упражнения, снимала надобность в психиатре, так как сохраняла спокойствие и целостность моей души, давала мне время поразмышлять, когда в голове рождались свежие идеи. Так что я очень рекомендую всем разбивать собственные сады и работать в них как можно больше.

ХОРОШИЕ ДРУЗЬЯ И ДОСТОПОЧТЕННЫЕ ОППОНЕНТЫ

Кроме портретов сыновей на камине стоят фото моих великих учителей Леона Петражицкого, М. Ковалевского и Е. Де Роберти, о которых я уже писал, и наших дорогих друзей — Кусевицких и Ростовцевых. С самого приезда в Гарвард и до кончины обеих семейных пар они были нашими ближайшими и лучшими друзьями. С Сергеем и Натальей Кусевицкими мы встречались довольно часто либо у нас, либо у них дома и проводили немало счастливых часов в задушевных разговорах за завтраком или обедом. Они обычно приглашали нас на открытые прослушивания новых симфоний или концертов, и маэстро использовал мои впечатления как пробный камень для определения реакции интеллигентной публики на новые музыкальные произведения, исполняемые оркестром.

Со времени нашей встречи в Миннеаполисе между нами возникло глубокое чувство взаимопонимания, которое с годами только росло. Оба Кусевицкие были замечательными людьми. Сергей не только виртуозно играл на контрабасе и являлся одним из великих дирижеров славного оркестра, но он также был человеком высочайшей культуры. Выходец из российских евреев, но в своей блестящей карьере прошел «огонь, воду и медные трубы», со всеми присущими этому радостями и печалями. Его гений и огромный личный опыт развили ум, энерию, укрепили волю и превратили его самого не только в великого музыканта, но и в одного из самых примечательных людей своего времени. Он интуитивно разбирался в современной политической ситуации лучше политиков и хорошо

понимал нынешнюю трагедию человечества. Будучи сам творческой личностью, он всегда с энтузиазмом приветствовал и поощрял творчество других людей во всех его формах, безотносительно к соображениям веры, расы, политических привязанностей.

Наталья Кусевицкая по-своему тоже была выдающейся личностью. Талантливый скульптор и одна из самых богатых дам дореволюционной России, она финансировала оркестр мужа, один из самых лучших тогда. Во времена, когда я был студентом, в любой приезд этого оркестра в Санкт-Петербург я покупал дешевый билет на его знаменитые выступления. Мы провели много радостных дней в замечательной компании с Сергеем и Натальей. И до сих пор храним их фотографии, где они сняты со своими крестниками или со всеми нами.

Мы с женой навещали маэстро в больнице, когда он заболел лейкемией. Вместе с Ольгой Кусевицкой, второй женой Сергея, на которой он женился после смерти Натальи, мы наблюдали, как расстается с телом бессмертная душа маэстро. С его смертью в нашей жизни возникла пустота. Примерно раз в год мы ездим на могилу наших дорогих друзей в Леноксе, неподалеку от созданного Сергеем Кусевицким Тэнглвудского музыкального центра[4]. Мы до сих пор с удовольствием поддерживаем дружеские отношения с Ольгой Кусевицкой. Помимо прочего, маэстро вверил ее попечению Фонд Кусевицкого и ряд других фондов для финансовой поддержки талантливых молодых композиторов. Ольга выполняет эти обязанности добросовестно и мудро. Этой цели она посвятила всю свою нынешнюю жизнь.

Через Кусевицкого я познакомился со многими выдающимися композиторами и исполнителями нашего времени[5]. Сближение с ними дало мне знания о современной музыке и ее ведущих исполнителях. Вечная спешка в нашем мире заставляет ограничить мои воспоминания и изъявления благодарности друзьям вышесказанным.

Я могу посвятить другим нашим друзьям — Ростовцевым — также лишь несколько строк моей торопливой автобиографии. Ранее уже говорилось, что студентом мне довелось посещать некоторые лекции этого великого ученого-историка в университете Санкт-Петербурга. Позднее, в годы первой мировой войны и в начале русской революции я лично встречался с господином Ростовцевым и его женой по работе в различных политических, научных и благотворительных организациях. Я также упомянул уже, что вскоре после приезда в Америку нашел их в Висконсинском университете, где Ростовцевы помогали советами и опекали меня. Впоследствии они перебрались в Йельский университет, а несколько лет спустя и мы переехали в Гарвард. Обосновавшись в Кэмбридже, мы навещали их в Нью-Хэйвене, а они приезжали к нам в Кэмбридж и Винчестер.

Невозможно в нескольких строках описать глубокие эмоциональные связи и многообразие общих интересов в науке, культуре

и политике, что питали и усиливали нашу дружбу. Достаточно сказать, что время, проведенное с Ростовцевыми, всегда было самым счастливым, полезным и познавательным для нас. Оба они интеллектуально, нравственно и в культурном отношении вобрали в себя все лучшее, благороднейшее, что есть в современной цивилизации. Горизонты их умов были широки, знания человеческой истории поразительно глубокими и фундаментальными, их ценностные системы — безукоризненными, а суждения о прошлых и современных событиях почти всегда попадали в точку. Теплота и эмоциональная притягательность их характеров, свободных от пустой манерности, их доброта и гостеприимство еще больше оттеняли очарование и величие этих людей. Дружба с ними была настоящим подарком судьбы.

Кроме Кусевицких и Ростовцевых мы прекрасно дружили со многими гарвардскими учеными: Тауссигом, Карвером, Гэем, Блэком, Хансеном, Уайтхедом, Шумпетером, Леонтьевым, Елисеевым, Нокком, Оллпортом, Вотмау, Хоккингом и Сартоном, а также с несколькими выдающимися представителями естественных наук, среди них с Биркхоффом, Хантингтоном, Шэпли, Вилером, Хендерсоном, Терзаги и другими. Собравшись за обеденным столом, на коктейле, на регулярных заседаниях дискуссионного клуба или специальных конференциях по обсуждению различных важных для нас проблем, мы в неформальной обстановке обменивались мнениями, проявляя чувства взаимной симпатии и интереса к творчеству друг друга. На этих неформальных встречах я узнал многое из того, что, не будь их, осталось бы мне неизвестным. Особенно это относится к таким отраслям науки, которые весьма далеки от социологии и смежных с ней дисциплин.

Постепенно, с укреплением дружеских связей между мной и частью гарвардских преподавателей, росла и оппозиция моим теориям и мне самому как человеку из другого лагеря. В Гарварде, подобно многим университетам, профессоры, студенты и представители администрации имели разные взгляды на идеологию, политику, философию, религию, художественное творчество, этику и социальные проблемы, что и определяло их разделение на соперничающие группировки. Каждая из них, организованная как клуб, ассоциация или клика[6], стремилась, естественно, поддерживать всех тех, кто разделял ее кредо, и критиковать тех, кто придерживался противоположных взглядов. Если подобные знаки одобрения или неодобрения ограничиваются чисто интеллектуальной поддержкой близких по духу идей, убеждений и ценностей и чисто интеллектуальной критикой противоречащих чьей-либо позиции взглядов, то от этого все только выигрывают. Меня не удивляло противодействие моим теориям. Будучи социологом-психологом, я прекрасно понимал, что многие мои теоретические построения весьма отличались от идейных представлений некоторой части гарвардских профессоров и студентов. Я бы даже сказал, не просто отличались, а прямо противоречили им. С политической точки

зрения, по определению Генри Адамса, я подпадал под категорию «консервативный христианский анархист». Не присоединяясь ни к одной из существующих партий (к политическим анархистам, естественно, тоже), я резко критиковал республиканцев, равно как и демократов, коммунистов и социалистов. Студентами социологического факультета были, например, Франклин Д. Рузвельт-младший и Джон Рузвельт. Уж они-то наслушались от меня немало критики в адрес политики их отца, не говоря уже о прочих политических лидерах. Сам человек верующий, но на свой особый манер, я не принадлежал к какой-либо институционализированной религии. Не разделял я и восторгов различных спортивных болельщиков и энтузиазма приверженцев быстро меняющихся социальных причуд и модных поветрий. В отношении ко всему этому я скорее был независимым нон-конформистом со своими собственными теориями, убеждениями, стандартами поведения и ценностными ориентациями, которые считал более истинными, универсальными и прочными, чем преходящие, мелкие и быстро устаревающие ценности и идеологические привязанности многих моих коллег и студентов.

Поскольку мне удавалось излагать свои взгляды ясно и убедительно, было вполне естественным, что в оппозицию мне стали те, для чьей философии мои идеи представляли опасность. До тех пор, пока столкновение мировоззрений оставалось на чисто идеологическом уровне, не переходя на личности, как, к счастью, оно и было, я всей душой приветствовал борьбу мнений и получал от нее удовольствие. Как правило, все нон-конформистские и пионерные идеи вызывают поначалу определенное сопротивление и критику, поэтому, когда видные ученые именно так оценивали мои взгляды, умеренное или жесткое сопротивление им было неизбежным, и я ждал его. Это в общем-то не мешало мне. Если критика глупа, она только подтверждает правильность моих идей. Если критикующие указывают на ошибки, это убеждает меня отказываться от ошибочных положений в теории. В любом случае я выигрываю от критики, поэтому редко пренебрегаю ею.

ЗАВЕРШЕНИЕ «ДИНАМИКИ»

В гарвардские годы, достаточно долго, моя жизнь протекала безоблачно и бескризисно. Кроме выполнения обязанностей профессора, помимо счастливых часов в кругу семьи, времени, отданного дружеским встречам с коллегами, студентами и знакомыми, событиям в стране и мире, отдыху за работой в саду, музыке, рыбалке, лодочным прогулкам и борьбе с «джунглями» вокруг летней дачи на озере Мемфремагог в Квебеке, почти все остальное время я уделял работе над «Динамикой».

Обыкновенно я садился за нее в ранние утренние часы до ухода в университет и вечерами, если они не были заняты похода-

ми в гости или вечеринками у нас дома. Упорно работая, я печатал черновики каждой главы, а затем после многочисленных исправлений перепечатывал текст по два-три раза, пока не оставался доволен результатом. Когда глава была готова, то вместе с выверенными таблицами и тщательно нарисованными диаграммами полная рукопись главы передавалась профессиональной машинистке, которая и делала окончательный экземпляр для издательства. К концу 1935 года вся рукопись с таблицами и диаграммами заполнила несколько картонных ящиков в моем кабинете. Глядя на эти коробки, я время от времени с беспокойством раздумывал, найду ли издателя для такой кучи «макулатуры», которая не обещала ни особенных прибылей, ни тиражей. «Ну, кто сейчас, когда большинство людей читает только газеты и иллюстрированные журналы, захочет купить и прочесть несколько томов, изложенных сухим языком цифр и фактов», — сомневался я. Хотя временами такое беспокойство и овладевало мной, работа над «Динамикой» не прекращалась. В глубине души я был твердо уверен, что так или иначе опубликую свой труд. Уверенность не обманула меня. Еще до того, как я закончил рукопись, ко мне домой явился представитель издательской компании «Американская книга» и предложил контракт на публикацию «Динамики», которая нужна была фирме не столько для прибыли, сколько ради престижа. Вот так, без малейших усилий с моей стороны, появился издатель, мы подписали контракт, и вопрос публикации книги был решен.

Чем дальше продвигалась работа над «Динамикой», тем старательнее и с большей энергией я занимался ею, намереваясь закончить все как можно быстрее. Наконец, в начале 1936 года рукопись первых трех томов была готова. Поскольку они имели внутреннее единство, в отличие от четвертого тома, стоящего несколько особняком, мы с издателем приняли решение печатать три тома, не дожидаясь завершения последнего, четвертого. В 1937 году они были опубликованы, что на некоторое время освободило меня от бремени трудов, забот, депрессий и раздражения, сопутствующих их подготовке к печати. Я сделал что мог. Теперь только от самой книги зависело, заметят ли ее и будет ли ей суждена долгая жизнь[7].

К счастью, появление трех томов «Динамики» заметили — и еще как! — во многих странах мира. Передовицы и редакционные статьи в американских и зарубежных газетах и журналах, специальные брошюры, статьи в научных изданиях, груды писем от читателей. В одних утверждалось, что «Динамика» — величайший социологический труд XX века, в других говорилось, что книга оказалась очень неудачной. Хвала и хула имели нечто общее: отсутствие чувства меры и излишнюю эмоциональность. Каковы бы ни были достоинства и недостатки «Динамики», она, похоже, чем-то «зацепила» и сторонников, и оппонентов. Собственно, этого «чем-то» мне было достаточно для удовлетворенности работой.

Прием, оказанный книге, не оказался неожиданным. На мои предыдущие труды реагировали сходным образом. Это удел всех выдающихся сочинений по истории социальной мысли: одни чрезмерно хвалят, а другие безудержно ругают их. Если «Динамика» и не превосходит прочие работы в данной области науки, то, по крайней мере, выгодно отличается от них своей скрупулезностью и детализированностью. Широкое паблисити создало большой спрос на книгу, и количество проданных экземпляров значительно превысило наши ожидания.

Чтобы расслабиться после напряженного труда, я принял приглашение Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе приехать к ним с лекциями во время летней сессии 1937 года. Нам всем очень хотелось увидеть Запад Соединенных Штатов, его великолепные горы, национальные парки, пустыни и каньоны. Мы отправили наш автомобиль заранее в Солт Лейк Сити, куда позже сами приехали на поезде, и уже оттуда без спешки поехали через пустыню, провели несколько дней на Большом Каньоне, на Брайс Каньоне и в Зайонском парке[8], от души насладившись чудными пейзажами и беззаботной кочевой жизнью. В Калифорнии при содействии нашего друга, профессора К. Панунцио, мы сняли комфортабельный дом в местечке Пасифик Палисадс с прекрасным видом на океан. Оттуда я пять раз в неделю добирался до Лос-Анджелеса на лекции и семинары в университете и встречи с должностными лицами города. На мою популярность работала широкая известность «Динамики», так что со мной носились как с писаной торбой и в академических, и в иных элитных кругах этого большого города. В общем, тем летом мы сумели соединить приятное с полезным и даже словно помолодели на несколько лет. Когда летняя сессия закончилась, мы съездили в Сан-Франциско, побывали в заповедных калифорнийских лесах и Йосемитском парке[9]. Затем снова пересекли пустыню и, оставив автомобиль в Солт Лейк Сити, чтобы его отправили малой скоростью в Винчестер, мы сели в поезд и уехали домой. Все путешествие послужило нам с женой и детям отличным отдыхом.

Через неделю или около того после приезда я должен был лететь в Париж, председательствовать на Международном конгрессе по социологии. На прошлом конгрессе в Брюсселе в 1935 году я присутствовал в качестве вице-президента Международного института социологии. На парижский форум я отправился уже как президент института, выехав на две недели раньше, чтобы освежить подзабытый французский язык, который мог понадобиться в процессе работы конгресса. За время, проведенное в Париже, я обошел все известные музеи и достопримечательности города, познакомился со многими выдающимися учеными и общественными деятелями Франции. После окончания конгресса я возвращался домой через Германию, остановившись на несколько дней в Берлине. Там я наблюдал довоенный нацизм, встретился с несколькими немецкими учеными-антифашистами и, наконец, отбыл в Америку

на германском пароходе «Европа». Поездка оказалась полезной и поучительной во многих отношениях. Она дала мне возможность увидеть множество проявлений декадентской, бездуховной европейской культуры, что подтверждало прогноз, высказанный в «Динамике» и предрекавший культурный кризис Старого Света. Упадочный характер европейской цивилизации, истощение ее творческих сил были заметны везде, куда ни кинь взгляд.

Поездки в Калифорнию и Европу подзарядили меня энергией и сняли усталость, накопившуюся за время работы над «Динамикой». Перед тем как приступить к четвертому тому, было решено закончить совместное с Кларенсом К. Бергером (сейчас он — вице-президент Университета Брандис) исследование того, каким образом, на какую деятельность и по каким мотивам безработные служащие используют двадцать четыре часа каждых суток. В качестве объекта исследования мы взяли около сотни безработных. Полезная и энергичная помощь мистера Бергера позволила выполнить работу за год. В 1939 году наша монография была издана Гарвардским университетом под названием «Бюджеты времени суточной активности человека». Книга эта имела определенное значение для специалистов психосоциальных наук, но для широкого читателя была, пожалуй, самым тоскливым из всех моих скучных сочинений. Несмотря на данное обстоятельство, она получила хорошую рекламу в газетах и журналах. Помню статью в воскресном выпуске одной бостонской газеты, озаглавленную «Девять минут на супружеские ласки». Журналист кратко перечислял, сколько минут в среднем за сутки исследуемые люди тратили на различные виды деятельности, а затем закручивал свою статью вокруг обнаруженного нами факта, что на «супружеские ласки и ухаживание» уходит только девять минут. Внимание мое привлекла, правда, не сама статья, а вступление к ней. Первые же строки представляли меня как «профессора Сорокина, который имеет завидную репутацию человека с самым богатым винным погребом Гарварда...» Меня здорово потряс этот комплимент, хотя он сильно преувеличивал мои винные запасы.

Завершив эту монографию, я возобновил работу над четвертым томом «Динамики». В 1940 году он был закончен и в следующем издан. Таким образом, большой исследовательский проект, задуманный вчерне еще в 1931 году в Миннесоте, оказался выполненным. Сбросив с себя ярмо, я снова мог бездельничать в свое удовольствие и свободно строить новые прожекты.

С момента опубликования «Динамики» прошло около четверти века. В нашей вечно спешащей цивилизации немногие научные труды живут так долго. Большинство из написанного в социальных науках забывается в течение нескольких месяцев, в крайнем случае — лет. Даже бестселлеры в большинстве своем тонут в забвении за полгода-год, от силы два. К моему большому удовлетворению, «Динамика», в разных изданиях и переводах, все еще живет и здравствует и, может быть, даже более «жива», чем в начале своего существования.

Будучи приглашен в 1941 году прочитать Лоуэлловские лекции в одноименном институте на тему «Сумерки бездуховной культуры»[10], я должен был подготовить их в виде сжатой и упрощенной версии основных теорий, содержащихся в «Динамике». В том же году текст лекций, собравших, по свидетельству А. Лоуренса Лоуэлла и У. Х. Лоуренса (соответственно, попечитель и куратор института Лоуэлла), небывалую аудиторию, был опубликован отдельным изданием под заглавием «Кризис нашего века». С момента первой публикации книгу много раз переиздавали в Америке, Англии, Новой Зеландии, перевели на португальский, немецкий, голландский, чешский, норвежский, финский, испанский и японский языки, продолжают готовить новые переводы и сейчас. Основные положения «Динамики» благодаря этим лекциям широко разошлись и стали известны во всем мире. Ученые в Америке и за рубежом до сих пор читают, цитируют и обсуждают «Кризис нашего века».

В 1956 году, когда четырехтомное издание «Динамики» было распродано, меня попросили подготовить ее сокращенный вариант, что я и сделал. В 1957-м американское издание этой однотомной версии увидело свет. В 1962-м вышел сокращенный вариант в двух томах на испанском языке. В том же году все четыре тома были красиво переизданы в Соединенных Штатах. На испанском и итальянском языках они должны полностью выйти в 1963—1964 годах.

С первой публикации и до настоящего времени «Динамике» посвящается обширная литература как научного, так и научно-популярного содержания, включая сотни солидных статей, тысячи популяризаторских заметок, десятки докторских диссертаций и даже восемь основательных монографий, написанных учеными Соединенных Штатов, Англии, Бельгии, Норвегии и Китая. Более того, почти все последние сколь-нибудь полные учебники по истории социальных учений, теории культуры, философии истории и социальной философии, общей социологии, а также учебники и трактаты по искусствоведению, психологии, политическим наукам и философии (по крайней мере, некоторые из них) посвящают специальную главу теориям, содержащимся в моей «Динамике». Во многих странах она входит в программы обучения студентов.

Короче говоря, мой труд пустил глубокие корни в области психосоциальных наук, в современной культуре и современном мышлении. И что, возможно, еще более важно — его значение не уменьшается с течением времени, а, наоборот, растет. Среди прочих «дивидендов» он принес мне несколько почетных наград, например: членство в Бельгийской и Румынской королевских академиях наук и искусств, посты президента Международного института социологии и Международного конгресса по социологии, Международного общества и соответствующего конгресса сравнительных исследований цивилизаций, Американской социологической ассоциации, почетное членство в нескольких американских

и зарубежных научных обществах, почетную докторскую степень в Мексиканском национальном университете и прочее. Во всяком случае, у меня нет никаких оснований сетовать на то, что мир не оценил мой труд, наоборот, ему уделено больше внимания, чем я рассчитывал.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПУБЛИКАЦИИ

Поскольку, по моему же шуточному определению, профессор — «это механизм, испускающий звуковые волны и статьи», я продолжал добросовестно выполнять эти профессиональные обязанности и после публикации «Динамики». Темы моих следующих книг частью были связаны с катастрофой мировой войны и прочими бедствиями, свалившимися на человечество в 1940-е годы, а частью — с намерением завершить шлифовку интегральной системы философии, социологии и психологии, т. е. собственного интегрального мировоззрения и системы ценностей. Движимый этими интересами, я подготовил и опубликовал за десять лет, не говоря о многочисленных статьях, следующие книги: «Человек и общество в эпоху бедствий» (1942); «Социокультурная причинность, пространство, время» (1943); «Россия и Соединенные Штаты» (1944); «Общество, культура и личность. Их структура и динамика: система общей социологии» (1947); «S.O.S. Смысл нашего кризиса» (1951).

Пожар второй мировой войны и другие катастрофические события не удивили меня. С конца 1920-х годов в своих лекциях, в «Социологии революции», «Социальной мобильности» и особенно в «Динамике» я предсказывал их в общих чертах и неоднократно предостерегал беспечно веселящееся, оптимистичное и декадентствующее бездуховное общество Запада о неминуемых войнах, кровавых революциях, разрушениях, обнищании и пробуждении в человеке зверя. Мой диагноз и предупреждения были в то время «гласом вопиющего в пустыне». Многие коллеги, студенты и критики называли эти предсказания «бредом сумасшедшего» и «полной чушью». Когда разразилась вторая мировая война, кое-кто из них говорил мне: «Черт возьми! Вы оказались правы!»

Точность предсказаний не обрадовала меня, наоборот, эти катастрофы повергли меня в уныние и заставили острее ощутить трагичность человеческой жизни, в чем я уже имел возможность убедиться ранее на собственном опыте. Понимая, что потребуется определенное время и известные усилия для облегчения страданий и преодоления «мерзости запустения», вызванного войной, я сознательно продолжал свои исследования и писал научные работы, полагая это лучшим противоядием от моего депрессивного состояния. Война и другие катастрофические события подвигли меня на изучение схожего влияния голода, эпидемий, кровавых революций и войн на ментальность и поведение людей, охваченных этими

бедствиями, на экономику, политику и институт семьи, на социальную мобильность людей, их нравственность, веру, эстетические интересы и творческие способности. Результаты исследования были опубликованы в книге «Человек и общество в эпоху бедствий». Сформулировав общие закономерности во всех исследованных областях общественной жизни, в том числе «закон религиозной и нравственной поляризации» и «общее правило усиления военизации социальной жизни правительством при возникновении катастрофических ситуаций», я хотел показать, какие изменения ждут нас впереди.

К несчастью, слишком мало простых людей услышали эти предупреждения. Большинство, ведомое невежественными политиками и эгоистичной властной элитой, едва ли обратило внимание на них. Действия их по-прежнему безнадежно глупы: вместо предотвращения катастроф они увеличивают вероятность возникновения бедствий. Не считаясь с миллионами человеческих жизней, потерянных напрасно в мировых войнах и прочих военных конфликтах и революциях, умерших от голода и эпидемий; несмотря на гигантскую растрату природных ресурсов и национального богатства, эти слепые пастыри слепого человеческого стада не дали людям ни прочного мира, ни реальной безопасности, ни истинной свободы. Не создали они и справедливого, гармоничного и благородного общественного устройства. Вместо этого они высвободили гибельные силы — ненависть, массовые убийства, всеобщее помешательство, тиранию, — и поставили человечество на грань апокалиптического самоуничтожения.

Мировая война и ее последствия послужили толчком к написанию также и книги «Россия и Соединенные Штаты». В этой весьма интересной книге я выделил сходство и различия между людьми, социальными институтами и культурами двух наций, кратко проследил их дружественные взаимоотношения на протяжении всей истории Соединенных Штатов, кратко обрисовал взаимно дополняющий характер двух этих стран и показал отсутствие серьезных столкновений их жизненных интересов. Моей практической целью при создании книги было побудить обе страны и их лидеров продолжить взаимовыгодное сотрудничество и предостеречь об ужасных последствиях замены такого сотрудничества политикой конфронтации, «холодной» или «горячей» войной. Хотя книга привлекла к себе большое внимание и была опубликована также в Англии, Японии и Португалии, мои советы и предупреждения оказались в основном проигнорированы, и в первую очередь политиками и властной элитой обеих стран. Движимые своими узкогрупповыми интересами, которые едва ли осознаются, политики и элита развязали фатальный конфликт[11] сразу же после заключения хрупкого перемирия. После начала этого, словно нарочно подстроенного нечистой силой конфликта самоубийственная политика обоих государств, а позднее обоих военных блоков становилась все более гибельной, разрушительной и катастрофичной по

своим последствиям, пока не поставила под вопрос само выживание всего человечества. Всеобщая гибель в огне угрожает теперь каждому из нас, и огонь этот может вспыхнуть в любой момент.

Во всей человеческой истории едва ли найдется другой столь же критический период с точки зрения сохранения жизни на земле, столь же пораженный безумием людских масс и особенно элит, столь же отмеченный превращением человека в худшего из зверей исторический момент, как нынешний. Человек-убийца, человек-разрушитель принес смерть своим телу, духу, культуре и прекрасной мечте. *Agnus Dei gui tollis peccata mundi miserere nobis*! *Dona nobis pacem!*[12]

Так, отдав дань катастрофам нашего времени, в более спокойном состоянии души я продолжил работу над моей интегральной системой социологии и ее основными понятиями. Результаты работы опубликованы в книгах: «Социокультурная причинность, пространство, время» и «Общество, культура и личность: их структура и динамика. Система общей социологии». Обе работы задумывались не как учебные пособия для студентов, а как монографии, предназначенные ученым. Они оказали значительное влияние на психосоциальную мысль своего времени, да и сегодня эти книги далеко не забыты. «Общество, культура и личность» уже опубликована в переводах на испанский, португальский, японский и язык хинди. Американское издание обеих книг было распродано за несколько лет и переиздано в 1962 году. Сейчас они, вероятно, стали много доступнее социологам, чем раньше.

Я рад, что смог все-таки увидеть эти свои работы опубликованными. Даже когда писал «Общество, культуру и личность», уже после окончания войны, постоянно возникающие новые бедствия и весьма критическая ситуация, в которой оказалось человечество в целом, расстраивали меня и серьезно мешали завершению книги.

Беспокойство мое было столь велико, что в 1945 году я решил — после окончания работы над этим трактатом — все свое время посвятить изучению средств и способов предотвращения неминуемого уничтожения человека как вида в ходе современного гибельного кризиса. Старая пословица «*Primo vivere, deinde philosophare*»[13], применительно к человечеству, вероятно, объяснит причины такого решения.

Приняв его, я ускорил завершение написания книги «Общество, культура и личность», а затем начал ориентироваться в новой для себя и еще мало изученной области. Эти предварительные исследования в конце концов привели меня к учреждению Гарвардского исследовательского центра по созидающему альтруизму и к новому этапу в моих занятиях наукой, описанным в следующей главе автобиографии.

ЧАСТЬ V

Глава пятнадцатая.

ГАРВАРДСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО СОЗИДАЮЩЕМУ АЛЬТРУИЗМУ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРА

Здесь не место объяснять в деталях, как и почему в процессе моих предварительных исследований я сосредоточился на феномене способов проявления и возможностей бескорыстной, созидающей любви. Собственно говоря, мое внимание к этой проблеме явилось логическим результатом теоретических положений, выдвинутых в моей «Динамике» и касающихся характера современного кризиса — его причин, последствий и путей преодоления. Может быть, нижеследующий отрывок из доклада о работе Гарвардского исследовательского центра по созидающему альтруизму и выдержка из моего приветственного обращения[1] на открытии XVIII Международного социологического конгресса в 1958 году, могут частично объяснить, почему я занялся этой проблемой и какова ее связь с анализом и прогнозами, содержащимися в «Динамике».

«В основу создания центра были положены два основных предположения, очевидные сами по себе и не требующие поэтому специального подтверждения. Первое заключается в том, что ни один из существующих рецептов, как избежать международных военных конфликтов и гражданских войн или других форм кровавых межчеловеческих усобиц, не может не только уничтожить, но даже заметно уменьшить эти конфликты. Под такими популярными рецептами я подразумеваю прежде всего уничтожение войн и конфликтов политическими средствами, особенно вследствие демократических политических преобразований. Даже если завтра весь мир станет демократическим, все равно войны и кровавые стычки не исчезнут, поскольку демократии оказываются не менее воинственными и неуживчивыми с соседями, чем автократические режимы. Ни Организации Объединенных Наций, ни мировое правительство не способны дать длительного мира, международного и внутри отдельных стран, если только образование этих органов не будет подкреплено значительным увеличением альтруизма отдельных личностей, групп, институтов и культур.

То же самое относится и к образованию в его современном

виде. Завтра все взрослые в мире могут стать докторами наук, и все равно войны будут продолжаться. С десятого столетия до двадцатого образование претерпело огромные изменения: число учебных заведений всех типов, процент грамотных, количество научных открытий и изобретений росли систематически и очень быстро, и все-таки войны, кровавые революции и мрачные преступления не исчезли. Напротив, в наиболее развитом с научной точки зрения и самом образованном XX веке они достигли самого высокого уровня и превратили это столетие в самое кровавое из всех предшествующих двадцати пяти веков греко-римской и европейской истории.

То же можно сказать и о религиозных средствах, если под религией понимать чисто идеологическую веру в Бога или символ веры любой другой мировой религии. Одно из доказательств этого дало наше исследование 73 бостонцев, обращенных в веру двумя известными евангелистами-проповедниками. Из этих семидесяти трех человек после обращения только один изменил свое фиксируемое визуально поведение в сторону большей альтруистичности. Тридцать семь новообращенных слегка изменили свои речевые реакции, стали чаще повторять слова: «Прости, Господи», «Во славу Господа, Иисуса Христа» и тому подобные выражения, но их поведение не претерпело изменений. У остальных новообращенных ни речь, ни внешнее поведение не изменились. Если под религиозным возрождением и «нравственным разоружением» понимать такую трансформацию идеологических убеждений и речевых реакций, то это не принесет людям мир и не уменьшит вражду между ними, поскольку изменение объекта веры или речевых реакций представляет собой в основном дешевое самоудовлетворение для психоневротиков и псевдорелигиозных ханжей.

То же относится и к коммунистическим, социалистическим и капиталистическим экономическим мерам, к научным, художественным, критическим и другим способам установления и поддержания прочного мира в человеческой вселенной, если эти средства не подкреплены растущей альтруистичностью отдельных людей и целых групп. В моей книге «Восстановление гуманности» (1948) я привел минимальное число доказательств для подтверждения этих положений.

Итак, первое наше предположение до определенной степени подтверждается существующими индуктивными доказательствами: без значительного увеличения бескорыстной, созидательной любви* во внешне проявляемом поведении, межличностных и межгрупповых взаимоотношениях, в общественных институтах и культуре в целом, прочный мир и гармония между людьми невозможны.

Второе предположение заключается в том, что эта бескорыстная, созидательная любовь, о которой мы знаем все еще очень мало, потенциально является огромной энергией — настоящей

* Так, как это идеально сформулировано в «Нагорной проповеди».

misterium tremendum et fascinosum[2] — при условии, что мы знаем как производить ее в изобилии, как аккумулировать и как использовать. Другими словами, если мы знаем, как сделать людей и группы людей более альтруистичными и созидающими, чтобы они ощущали себя, вели себя и мыслили, как настоящие члены человечества, объединенного в одну крепкую и дружную семью. С этой точки зрения любовь оказывается одной из самых высоких энергий, заключащей в себе необычайные созидательные и терапевтические возможности.

Исходя из таких двух гипотез центр и начал научное изучение этой неизвестной или малоизвестной энергии. С самого начала мы представляли себе гигантское несоответствие между нашими ограниченными возможностями и скудными материальными ресурсами, с одной стороны, и колоссальной сложностью этой проблемы, с другой. Мы понимали и понимаем, что наш вклад в изучение этой проблемы не больше, чем капля в море. Но поскольку правительства, крупные фонды, фирмы и организации, а также лучшие мозги увлечены в основном изобретением все более разрушительных средств уничтожения человека человеком, то кто-нибудь, когда-нибудь и как-нибудь должен в противовес этому заняться изучением феномена бескорыстной любви, неважно, насколько не соответствуют его возможности такой задаче или насколько низко оценивают коллеги его участие в этом «глупом проекте»[3].

В последние десятилетия наука открыла несколько новых областей, подлежащих разработке и использованию человеком. Зондаж субатомного мира и использование ядерной энергии — только два примера таких новых открытий. Может быть, последняя область, подлежащая разработке, — таинственная сфера альтруистской любви. И хотя сейчас ее изучение находится в самом начале, оно, похоже, станет самой важной областью будущих исследований: тема бескорыстной любви уже поставлена на повестку дня истории.

Перед первой мировой войной и последующими катастрофами XX века наука в основном избегала этой темы. Считалось, что феномен альтруистской любви относится к религии и этике более, чем к науке. Любовь к ближнему была прекрасной темой для проповеди, но не для исследования или лекций в университете.

Все последовавшие после 1914 года бедствия и сохраняющаяся угроза новой самоубийственной войны радикально изменили ситуацию к сегодняшнему дню. Они дали импульс научному изучению бескорыстной любви. Те же бедствия привели к полному пересмотру многих теорий, считавшихся научными, и особенно тех, которые объясняли причины и предлагали средства предотвращения войн, революций и преступлений».

Эти выдержки, надеюсь, помогут читателям составить представление, почему моя ориентация на подобные проблемы привела меня к изучению «таинственной энергии бескорыстной, созида-

тельной любви» и, вслед за этим, созданию Гарвардского исследовательского центра по созидательному альтруизму.

ОСОБАЯ РОЛЬ ЭЛИ ЛИЛЛИ

Когда я начинал исследования, то предполагал, что буду проводить их в одиночку, без привлечения ассистентов и финансовой помощи со стороны. Так я выполнял практически все мои исследования в университетах Миннесоты и Гарвардском, за исключением тех, что выполнялись в рамках проекта по социокультурной динамике. Мне не хотелось просить финансирования моих исследований у каких бы то ни было фондов, правительства и даже у университета. Наверное, я принадлежу к той разновидности ученых, которую называют «волками-одиночками». Такие люди при необходимости могут сами без помощи персонала и научных сотрудников, а также без финансирования делать свою работу. В какой-то мере, пусть и с небольшими оговорками, я могу повторить слова Альберта Эйнштейна о нем самом: «Я — лошадь, везущая воз в одиночку; не приспособленная ни для работы в тандеме, ни для совместного группового труда, поскольку я слишком хорошо знаю: чтобы достичь определенной цели, думать и командовать должен непременно только один человек». Конечно, если мне предлагали финансирование или помощь ассистентов и сотрудников, я был рад получить их, как это было, например, при работе над «Динамикой». Зная, однако, существующую политику больших фондов, предоставляющих финансовую поддержку в основном, а зачастую и только коллективным исследовательским проектам, вписывающимся в рамки интересов этих фондов, правительства или университетов; зная также, кто в этих организациях реально решает вопрос финансовой помощи, я был уверен, что, обратись я за финансовой поддержкой для изучения «созидательной, бескорыстной любви», мне бы отказали, оценив проект как совершенно нелепый. Имея представление о том, какого типа исследования предпочитают финансирующие организации, я часто предупреждал молодых ученых, собиравшихся подать заявку на субсидию для своих действительно важных исследовательских проектов, не ждать со стороны фондов благосклонного отношения. «Если бы Платон сегодня написал свою «Республику», вернее какую-то часть ее, и подал заявку на финансирование для завершения работы, уверен: ему бы отказали под предлогом того, что его «Республика» совершенно ненаучная спекуляция», — говорил им я. Вдобавок, будучи по природе упрям, я ценил независимость и свободу мыслить слишком высоко, чтобы приспосабливать мои научные интересы к интересам менеджеров этих фондирующих институтов. Более того, я доказал себе и другим, что могу создавать кое-что значительное, и уж, конечно, более важное, чем куча исследований, щедро поддерживаемых фондами, создавать практически без помощи деньгами или людьми. Я доказал это на своем личном опыте,

но могу сослаться на подобный опыт многих великих творцов — ученых, философов, писателей, художников, основателей новых религий и этических систем, чьи достижения также не были поддержаны деньгами или людскими ресурсами. Об этом я неустанно напоминал моим коллегам, которые беспокоились о получении такой помощи. «Корреляция, — говорил я, — между количеством денег, затраченных на исследовательский проект, и значимостью результатов очень низка, часто даже отрицательна. Многие миллионы долларов, выделенные в поддержку излюбленных фондами коллективных проектов, особенно в области психосоциальных наук, в основном растрачены впустую, т. е. эти проекты дали слишком мало действительно значимых результатов».

В таком настроении я решил заняться своим «глупым проектом», как только завершу книгу «Общество, культура и личность». Однако еще до окончания работы над книгой, в один зимний день 1946 года, я получил письмо, в котором, безо всяких на то ходатайств с моей стороны, предлагались значительная сумма для оплаты работы ассистентов в рамках исследований по моему «глупому проекту», а также, через посредничество фонда, сотрудничество целого ряда известных и молодых ученых. Автор письма писал мне, что, прочитав мои труды, он считает меня одним из немногих ученых, способных плодотворно исследовать проблемы нравственного и интеллектуального обновления растерянного и деморализованного сегодня человечества. Он, со своей стороны, будет рад оказать такому исследованию финансовую помощь, причем первый чек на 20 тысяч долларов он вышлет, как только я приму его предложение. В своем письме он не употреблял слова «альтруизм», «бескорыстная и созидающая любовь», но проблемы, на исследование которых он желал меня подвигнуть, по своему смыслу были идентичны тем, которыми я уже решил ранее заняться. Письмо заканчивалось подписью: *«Эли Лилли»*.

Тогда я не знал, кто такой Эли Лилли, и поэтому спросил секретаря:

— Кто этот необычный человек, который, и в глаза не видел меня, а предлагает довольно большую сумму на мое исследование?

— О! Эли Лилли — глава крупнейшей фармацевтической корпорации[4], президент «Лилли Эндоумент»[5] и один из филантропов и известнейших лидеров бизнеса США.

Это сообщение убедило меня, что удивительное предложение не было розыгрышем. Сделанное известным человеком, оно требовало от меня тщательного размышления. Будучи супершотландцем[6] и крайне щепетильным в отношении чужих денег, я посоветовался с президентом Гарвардского университета Джеймсом Конантом и некоторыми коллегами, прежде чем ответить на предложение. Президент Конант предложил мне посоветовать мистеру Лилли перевести деньги (20 тыс. долларов) Гарварду, а не на мой личный счет. В этом случае не надо было платить налоги с данной суммы. Хотя формально деньги были бы направлены Гарварду,

в действительности же они полностью поступали бы в мое распоряжение для использования на нужды исследования. Я последовал совету и сообщил мистеру Лилли, что с благодарностью принимаю его щедрое предложение и прошу формально переадресовать его Гарвардскому университету.

Несколько дней спустя я получил чек от мистера Лилли на оговоренную сумму, который я тут же передал казначею университета для открытия специального счета оплаты моих ассистентов.

Вот так в мои руки попали значительные средства для поддержки исследований по альтруизму, попали без каких-либо просьб и потраченных на бюрократов нервов. В этой помощи, появившейся в самый нужный момент, было что-то от знака провидения. Всю жизнь я частенько испытывал такие удачи, получая подарки судьбы из непредвиденных источников в самые необходимые моменты. В этом смысле могу сказать вслед за Ганди: «Когда исчезает всякая надежда, я вдруг обнаруживаю, что помощь приходит, откуда не ждешь».

Закончив книгу «Общество, культура и личность», я начал ориентироваться на обширную и почти совсем неразработанную область исследований феномена альтруистской, созидающей любви. «Инвентаризация» имеющегося в этой области знания показала, что сия гигантская проблема оказалась, в основном, вне поля зрения современной науки. Хотя многие современные социологи и психологи рассматривают явления ненависти, преступлений, войн и умственных расстройств в качестве законных объектов научного изучения, они в то же время совершенно нелогично вешают ярлык теологической проповеди или ненаучной спекуляции на любое исследование феноменов любви, дружбы, героических поступков и творческого гения. Такая явно ненаучная позиция многих моих коллег есть просто выражение сосредоточенности на отрицательных, патологических и негуманных явлениях, типичных для дезинтегрированной фазы нашей сенсативной (бездуховной) культуры.

Несмотря на мою «идиосинкразию» к бездуховности, я упорно разрабатывал данную область между 1946 и 1947 годами. Результатом этого явилась моя книга «Восстановление гуманности», опубликованная в марте 1948 года. Уже вышли ее переводы с немецкого, норвежского, японского, испанского и хинди, кроме того, появились специальные (английское и индийское) издания. В этом труде я изучал и систематизировал основные имеющиеся способы предотвращения войн и кровавой вражды между людьми; показал неадекватность этих рецептов; выделил основные дефекты существующих социальных институтов, главных типов личности, культур и ценностей; описал исчерпывающий план, как и что необходимо перестроить, чтобы установить новый, более благородный и мирный порядок в человеческом сообществе; и в особенности выделил наиважнейшую роль в такой перестройке бескорыстной, созидающей любви.

В апреле 1948 года мне позвонил Эли Лилли, который приехал в Бостон. Он выразил желание встретиться со мной лично и пригласил пообедать с ним. Я с радостью согласился, так как очень хотел познакомиться со своим известным благодетелем. Так мы встретились. Его искренность, мудрость, здравый смысл и доброта произвели на меня самое благоприятное впечатление. За обедом я рассказал ему, что из выделенных денег потратил на подготовку книги «Восстановление гуманности» всего лишь 248 долларов. При таких темпах мне понадобятся годы, чтобы истратить его 20 тысяч. «Разве вы не можете расширить и ускорить дело?» — спросил он в ответ. Я сказал, что могу, но в таком случае мне потребуются миллионы долларов, чтобы собрать вместе лучшие ученые головы и нравственных лидеров — совесть нации, полностью загрузив их работой над этой главной современной проблемой. Если бы правительства, частные фонды и руководители стран действительно осознали, в какой критической ситуации находится человечество, они бы давно уже занялись ею. Вместо же этого недальновидные правительства и власть имущие элиты лихорадочно заняты подготовкой новой мировой катастрофы, выбрасывая миллионы долларов на деструктивные цели, впустую тратя национальные ресурсы и ежедневно бездушно принося в жертву жизни людей. Мистер Лилли сказал, что он не может дать мне миллионы, но «Лилли Эндоумент» и он лично могут предложить дополнительно 100 тысяч долларов на мои пилотажные[7] исследования — по 20 тысяч в год на пять лет. Откровенно говоря, я был поражен щедростью данного предложения.

— Это такая необычно большая сумма, что прежде, чем дать вам какой-либо ответ, я должен обсудить вопрос с администрацией университета и коллегами. Через пару дней я отвечу вам. Сейчас я просто боюсь взять на себя ответственность за продуктивное использование такой уймы денег.

Мистер Лилли, прекрасно понимая мои сомнения, согласился подождать. Президент Конант и друзья определенно посоветовали мне принять щедрое предложение. Кроме того, президент Конант выдвинул идею создания Гарвардского исследовательского центра в данной области.

— Я знаю, что эти деньги даны для поддержки вашего исследования. Но вообразите, что я ушел с поста президента и избран новый руководитель. Он может и не знать о предназначении данной суммы, и у вас могут быть трудности с их использованием. Посему, что нам мешает основать специальный исследовательский центр при Гарвардском университете? Мы назначим вас его директором с правом полного распоряжения выделенным денежным фондом. Только ваша подпись будет действительна для казначея и финансового контролера университета. Вы сможете использовать фонд, как сочтете нужным.

Мне понравилось это предложение, и я сообщил мистеру Лилли о нем, а вскоре получил чек на 100 тысяч долларов и передал его

казначею Гарварда. В феврале 1949 года Гарвардский исследовательский центр по созидающему альтруизму был официально открыт, я стал его директором, и мое время теперь было поделено между работой в центре и прямыми преподавательскими обязанностями.

Вот таким образом Эли Лилли и «Лилли Эндоумент» оказались движущей силой создания центра и его последующих исследований. Они никогда не вмешивались в деятельность центра, за исключением разве сердечного одобрения нашей работы да перевода дополнительно 25 тысяч долларов спустя что-то около десяти лет, когда полученные ранее деньги кончились. Эта новая сумма пошла на продолжение работы центра; публикацию материалов I международного конгресса по сравнительным исследованиям цивилизаций в Зальцбурге в 1961 году, президентом которого довелось быть мне; и на оплату приходящего на несколько часов в неделю секретаря для помощи в моей писательской деятельности и ведения корреспонденции, которая шла ко мне со всего мира.

В течение этих лет через письма и личное общение я узнал Эли Лилли гораздо лучше, чем при нашей первой встрече. Я узнал, что он является известнейшим лидером делового мира Америки, щедрым меценатом религиозных, научных организаций, различных учреждений искусства и культуры, других общественных институтов. Он получил немало почетных степеней от известных университетов, был президентом Исторического общества штата Индианы, крупным ученым и автором нескольких важных трудов, например: «Доисторические древности Индианы», «Шлиман в Индианаполисе» и др. Он также был организатором экспериментальной фермы для селекции и выращивания лучшей породы рогатого скота и сельскохозяйственных культур, хранителем и куратором старых, имеющих историческое значение зданий в Индиане, художником и искусным столяром-краснодеревщиком. Причем это только некоторые стороны его разнообразной деятельности и лишь малая часть его талантов.

Еще более замечательным в этом человеке была его теплая искренность. Несмотря на весьма важное положение и сильную занятость, он нашел время, чтобы, например, лично встретить меня в аэропорту Индианаполиса и затем в течение двух дней, проведенных в его великолепном особняке, посвятить много часов общению со мной. Его и миссис Лилли гостеприимство было действительно превосходно. Я упоминаю об этом, чтобы полнее показать образ моего спонсора и его жены. В конце концов, в Америке немного найдется руководителей такого ранга, готовых потратить столько драгоценного времени и энергии на простого, обычного профессора, которому помогли в его исследованиях. Я считаю, что мне по-настоящему повезло, когда я получил возможность наслаждаться привилегией дружбы с ними, их доверия и великодушного ко мне отношения. Встреча с этими людьми стала одним из наиболее значительных событий моей жизни. Если бы в так

называемом капиталистическом обществе было больше таких капиталистов, как Эли Лилли, возможно, не понадобились бы и мощные антикапиталистические движения! Приношу благодарность Эли Лилли, его жене, а также мистеру и миссис Джошиа Кирби Лилли и Джошиа Кирби Лилли III за ту судьбоносную роль, которую они сыграли в деле основания исследовательского центра и его работе.

РАБОТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Что касается исследований центра, то я просто приведу выдержки из моего доклада о работе Гарвардского исследовательского центра по созидающему альтруизму, которые дают представление о характере нашей научной работы.

«За время существования центра наши исследования прошли два этапа или, можно сказать, велись в двух основных направлениях. Первый наш шаг состоял в описании и формулировании рабочего определения бескорыстной созидающей любви и выяснении, каково положение с изучением данной проблемы в современной науке. Эти труды были опубликованы в книге «Разработки в области альтруистской любви и альтруистского поведения: сборник статей» (1950), а также в моих работах «Восстановление гуманности» и «Альтруистская любовь» (1950). В сборнике статей делается попытка описать основные аспекты, формы и наблюдаемые проявления любви и показать место данной проблемы в современной науке и философии. Он открывается моим исследованием многомерного пространства любви в его физическом, религиозно-онтологическом, биологическом, этическом, психологическом и социологическом аспектах, с подразделением каждого аспекта на два, соответственно двум формам: любви плотской и любви платонической. Уделив основное внимание эмпирической, психосоциальной любви, исследование свело наблюдаемые и частично измеряемые аспекты эмпирической любви к пяти «измерениям»: ее интенсивности, экстенсивности, продолжительности, чистоте и адекватности, и затем автор рассматривает взаимоотношения, ковариации и корреляции этих «измерений» друг с другом. В работе также ставится проблема производства, накопления и распределения энергии любви.

Последующие главы сборника содержат математическую теорию эгоизма и альтруизма (Н. Рашевский); рассказывают о биологических основах и факторах, управляющих сотрудничеством, конфликтами, творчеством (М. Эшли Монтэгю, Тригант Бёроу, Тереза Броссе); о психологическом подходе к изучению любви и ненависти (Г. У. Оллпорт); о научных, философских и социальных основах альтруизма (Ф. С. Нортроп, Л. Дечесн); об альтруизме в психотерапевтических отношениях и интеракции в психбольницах (М. Гринблатт, Х. Хичборн, Р. У. Хайд); об альтруизме среди студентов колледжей и детей в детском саду (П. Сорокин,

Д. Коув); о парапсихологическом, экстрасенсорном восприятии и дружеских отношениях (Дж. Б. Райн, С. Д. Кан); о хороших взаимоотношениях на основе исследования электроэнцефалограмм отдельных обычных людей, убийц и людей, дружащих между собой (М. Гринблатт, Б. Ситтингер); знакомят с техникой эмоциональной интеграции (Свами Акилананда) и проблемами трудовой гармонии (Г. К. Зипф).

Моя книга «Альтруистская любовь» — это скромное предпредварительное исследование некоторых известных характеристик всех христианских святых (около 4600 персоналий, о ком удалось получить сведения) и пятисот современных американцев, которых люди считают хорошими соседями. Это, кстати, была первая «перепись населения» христианских святцев. Святые учитывались по таким характеристикам, как возрастной и половой состав, семейное положение, состав родительских семей, профессиональный, экономический, социальный статус, уровень образования и успеваемость, продолжительность жизни и состояние здоровья, путь, которым они пришли к святости, распределение по сельским и городским регионам, национальная принадлежность, распределение по странам, их политические взгляды и социально-групповая принадлежность и т. д. Вместе с этой переписью в исследовании изучались изменения всех этих характеристик, которые произошли со святыми как социальной группой за двадцать веков христианской эры.

Здесь можно упомянуть о двух-трех результатах, полученных на основе данной переписи. Во-первых, замечательна необычная продолжительность жизни и кипучее здоровье святых. Несмотря на аскетический образ жизни, которому следовало большинство из них, антисанитарные условия и частые физические самоистязания, средняя продолжительность жизни святых, включая и 37 процентов тех, кто умер мученически, не своей смертью оказывается намного большей, чем у их современников, и даже бóльшей, чем у сегодняшних европейцев и американцев. Во-вторых, доля женщин-святых стабильно возрастает с первого по двадцатое столетие. Доля святых — выходцев из королевских и аристократических семейств, а позже и из буржуазии устойчиво снижается, а доля выходцев из низких и беднейших сословий росла на протяжении нескольких последних веков. Эти изменения отражают соответствующие перемены в социальной организации христианских обществ: растущее выравнивание положения женщин в сравнении с мужчинами, падение значения королевских фамилий и аристократии, затем снижение социальной значимости класса буржуазии и богатых слоев общества. Наконец, перепись показала, что после XVII столетия «воспроизводство» святых резко упало и достигло почти нулевой отметки в конце XIX — начале XX веков.

Подобным образом изучались и пятьсот живущих сегодня американцев-альтруистов. В конечном счете исследование дало некоторый конкретный материал о биологических особенностях,

складе ума и характере святых и светских альтруистов в сравнении с таковыми у преступников, агрессивных эгоистов и подобных личностей.

На первом ориентировочном этапе нам также пришлось выполнить некоторые исследования по проблеме энергии любви. Если мы предполагаем, что это — энергия, то данная гипотеза нуждается в проверке. Исследования мы вели по разным направлениям и разными методами, начав с простого сбора известных исторических и личных свидетельств о фактах, говорящих за эту гипотезу, и кончая полуэкспериментальными и экспериментальными проверками гипотезы на студентах Гарварда, Рэдклифф Колледжа, пациентах Бостонской психопатической больницы, нескольких группах взаимно антагонистичных людей. Результаты этих исследований, опубликованные в моей книге «Виды любви и ее сила: типы, факторы и технические приемы нравственного перевоплощения» (1954), ввели в обиход достаточное количество доказательств того, что бескорыстная, созидающая любовь — это сила, которая, если пользоваться с умом: 1) может остановить агрессивные межличностные и межгрупповые стычки; 2) способна превратить отношения из враждебных в дружеские. Мы также доказали, что любовь вызывает любовь, а ненависть рождает ненависть; что любовь может реально влиять на международную политику и успокаивать межнациональные конфликты. Вдобавок к этому: бескорыстная и мудрая (адекватная) любовь является жизненной силой, необходимой для физического, умственного и нравственного здоровья; альтруисты в целом живут дольше эгоистов; дети, лишенные любви, вырастают нравственно и социально ущербными; любовь — это мощное противоядие от преступных деяний, болезней и самоубийств, ненависти, страхов и психоневрозов; любовь выполняет важные познавательные и эстетические функции; она — самое лучшее и эффективное средство обучения в деле просвещения и облагораживания человечества; любовь — душа и сердце свободы и всех основных нравственных и религиозных ценностей; это тот абсолютно необходимый для существования любого общества минимум; она особенно нужна для гармоничного общественного устройства и созидательного прогресса; наконец, в настоящий, катастрофический момент человеческой истории увеличение «производства, накопления и циркуляции энергии любви», или значительный рост альтруизма отдельных личностей, групп, институтов и культур, особенно всеобщее распространение бескорыстной любви среди людей, есть необходимое условие предотвращения новых войн и снижения необычайно высокой межчеловеческой и межгрупповой вражды.

Вместе с ростом наших знаний о любви ее возможности на службе человечеству будут возрастать в геометрической прогрессии.

Доказав в известной мере гипотезы первого этапа наших исследований, мы перешли ко второму этапу. Теперь мы сконцен-

трировались на изучении эффективных приемов и условий формирования альтруизма. Мы проанализировали и, где возможно, проверили экспериментально эффективность различных методов воспитания альтруизма, начиная с древних приемов йоги, буддизма, дзен-буддизма, суфизма, православной соматофизики[8] (исследования таких ученых, как Р. Годел, Дж. Х. Мацуи, А. Мигот, П. Массон-Орсель, М. Элиад, Г. Е. Монод-Херзен, А. Блум, Э. Дерменхем, Р. Кита, К. Нагая, Х. Бено, П. Мариньер, опубликованные в книге «Формы и методы альтруистского и духовного роста: сборник статей», 1954). Далее мы обратились к приемам, изобретенным отцами великих религий и основателями монашеских орденов, как западных, так и восточных (например, приемы св. Василия Великого, св. Бенедикта, св. Франциска Ассизского, св. Бернарда, св. Джона Климакуса, Джона Кассиана, св. Франциск Сальский, Игнация Лойолы[9] и других, описанные в моей книге «Виды любви и ее сила»); затем к приемам выдающихся светских педагогов, таких, как Коменский, Песталоцци, Монтесорри, Фробель[10] и прочие, и закончили приемами, известными в современной педагогике, психологии, психиатрии, социологии, в религиозном, нравственном и гражданском воспитании детей, и приемами, используемыми в таких современных христианских альтруистских общинах, как Общество братьев в Парагвае, меннониты, гуттериты и квакеры в Соединенных Штатах (исследования таких ученых, как К. Х. Арнольд, К. Кран, Дж. У. Фрец, Р. Клайдер, опубликованные в сборнике 1954 года, и мои исследования из книги «Виды любви и ее сила»).

Тщательный анализ древних приемов воспитания альтруизма из йоги, буддизма, из арсенала монашеских орденов был выполнен постольку, поскольку эти методы остались непревзойденными по своей изобретательности, тонкости и эффективности. Известные и неизвестные нам изобретатели этих приемов, по-видимому, знали больше о действенных методах нравственного перевоплощения человека, чем мы сегодня. И уж, во всяком случае, в деле нравственного воспитания человечества они добились бо́льших успехов.

Как уже говорилось, мы не ограничивались в изучении этих приемов теоретическим анализом, но старались, где и когда только возможно, проверять их эмпирически и экспериментально. Работают ли эти приемы? В каких социальных и культурных условиях они эффективны? Нижеследующие примеры дают представление об этих экспериментальных проверках. Одна из ступеней Раджа-йоги называется «Пранаяма», или обучение произвольному управлению дыханием. Оно дополняется обучением произвольной «приостановке» сердечной деятельности. Это хорошо известный факт, что настоящие йоги могут по своему желанию останавливать или сокращать биение сердца и дыхание на почти невероятное количество часов, дней и даже недель. Выдающиеся специалисты, в сотрудничестве с центром, проверяли с помощью современной

науки подлинность, механизм действия и терапевтические последствия произвольной регуляции дыхания. Другие не менее заслуженные специалисты-кардиологи центра проводили объективные инструментальные (кардиография, энцефалография, гирография и т. п.) исследования остановок сердечной деятельности йогов, а также записывали приборами все значимые изменения в работе жизненно важных органов человеческого организма, которые происходят, когда человек мысленно концентрируется и когда выходит из состояния концентрации, когда он испытывает чувства ненависти или любви, когда йог достигает состояния «самадхи» и так далее (исследования таких ученых, как У. Бишлер, Ф. П. Джонс, Тереза Броссе, Дж. С. Боковен, М. Гринблатт, опубликованные в «Сборнике» в 1954 г.).

Кроме того, чтобы проверить эффективность «метода добрых дел», мы выбрали пять пар студентов. Партнеры в каждой паре ненавидели друг друга. Мы поставили себе задачу изменить (за три месяца) эти неприязненные отношения на дружественные с помощью метода «добрых дел». Убедив одного из партнеров в каждой паре попытаться продемонстрировать дружественные действия по отношению к другому партнеру, мы затем наблюдали, что получится. Дружественные жесты включали приглашения пообедать вместе, сходить в кино, потанцевать и так далее. Нас интересовало, какие изменения возникают в поведении обоих партнеров, и возникают ли вообще, на основе раз за разом повторяемых «добрых поступков». Опуская подробности, скажу, что мы сделали четыре пары друзьями, а партнеры пятой пары стали относиться друг к другу нейтрально. Подобное экспериментальное превращение отношений между медсестрами и пациентами Бостонской психопатической больницы из враждебных в дружественные также было осуществлено данным методом с примерно таким же результатом (Дж. М. Томпсон, Р. У. Хайд и Х. М. Кандлер описывают это в «Сборнике» 1954 г). Приведенные примеры дают представление о наших экспериментальных проверках изучаемых методов и приемов альтруистического воспитания. Такой же анализ и подобные эксперименты были проведены центром для сравнительного изучения различных методов смягчения групповых предубеждений, техники групповой терапии, направленной на алтруизацию закоренелых преступников из числа отбывающих наказание в тюрьмах штата Айова, а также групповой терапии, рассчитанной на то, чтобы подружить между собой группы студентов (участники экспериментов учились в Гарварде и Рэдклиффе) и, наконец, метода «психодраматических постановок». Эти исследования проводили Г. У. Олпорт, П. Сорокин, Дж. Л. Морено, У. А. Ланден, Б. Дэвис, А. Миллер (они опубликованы в «Сборнике» в 1954 году). Ф. С. Нортроп и М. Энгельсон вдобавок к перечисленному изучали, какого рода международное право и какая новая Декларация прав человека и гражданина необходимы человечеству для реализации альтруистских ценностей.

В общей сложности было проанализировано более тридцати различных методов альтруистского перевоспитания человека и целых групп людей. Некоторые из них были экспериментально проверены.

Пытаясь выяснить загадку, как и почему происходит альтруистическое перевоплощение личности, мы провели также детальный анализ этого процесса в жизни великих апостолов бескорыстной любви — Будды, Иисуса, св. Франциска Ассизского, Ганди[11] и многих других. Поскольку им удалось стать живыми воплощениями любви, постольку совершенно очевидно, что они разгадали тайну альтруистской трансформации. Как это у них получилось? Какие приемы использовались, какие факторы действовали при этом и в каких социо-культурных условиях? Такие биографические исследования составляли существенную часть нашей работы. В них мы опять-таки старались оставаться эмпириками, экспериментаторами и учеными, насколько было возможно. Детальные исследования принесли несколько результатов. Прежде всего, оказалось что, судя по всему, существует три типа альтруистов: а) *прирожденные* альтруисты, с детства обладающие целостной системой личных качеств, ценностей и социальных привязанностей, в центре которой приоритет любви и их «супер-эго». Такие люди, подобно траве, тихо и естественно наращивают свой альтруистский потенциал, без влияния каких-либо катастрофических событий или резких перемен. Альберт Швейцер[12], Джон Вулман, Бенджамин Франклин, доктор Т. Хаас[13] и многие другие представляют этот тип; б) *обращенные* (поздно проявившиеся) альтруисты, чья жизнь резко делится на два периода: доальтруистский, предшествующий их перевоплощению, и альтруистский, после полной перестройки их личности. Эта перестройка подготавливается дезинтеграций системы ценностей, групповых связей и компонентов их личности и случается непосредственно после потрясших их событий, например: болезней, смерти близких и любимых людей и т. п. Процесс перестройки личности у таких людей обычно идет очень болезненно и трудно и длится от нескольких месяцев до нескольких лет. В этот период им приходится пройти все этапы трудного изменения собственных «эго», ценностей и групповых связей. Когда данная операция закончена, и человек сжился со своей новой системой ценностей, возникает новая альтруистичная личность. Будда, св. Франциск Ассизский, брат Джозеф, Игнаций Лойола, св. Августин, св. Павел, Симон Вайл[14] и другие представляют этот тип; с) наконец, промежуточный тип, несет в себе черты как прирожденных, так и обращенных альтруистов. Св. Феодосий, св. Василий Великий, Ганди, св. Терезия, Шри Рамакришна[15] и другие являются примерами представителей данного типа.

Во-вторых, наши исследования подтвердили существование закона поляризации, до этого сформулированного в моей книге «Человек и общество в эпоху бедствий» (1941). В противовес

фрейдовскому предположению, что бедствия и фрустрация[16] непременно рождают агрессивность, и в противовес старому убеждению, недавно оживленному Тойнби[17], что «мы учимся страданиями» и что фрустрация и бедствия непременно ведут к нравственному и духовному облагораживанию людей, закон поляризации гласит: люди реагируют и преодолевают фрустрацию и невзгоды в зависимости от типа личности. Либо, с одной стороны, ростом творческих усилий (как у Бетховена после наступления глухоты или у слепого Милтона[18] и т. п.), а также альтруистическим перевоплощением (св. Франциск Ассизский, Игнаций Лойола и другие) — это называется позитивной поляризацией. Либо, с другой стороны, люди реагируют самоубийствами, умственными расстройствами, ожесточением, ростом эгоизма, тупой покорностью судьбе, циническим восприятием окружающего (это — негативная поляризация). Такое же расслоение в массовых масштабах происходит, если катастрофы и фрустрация настигают большие общности людей. Некоторые их члены становятся более агрессивными, жестокими, склонными к прожиганию жизни, умственно и нравственно дезинтегрированными, а другие в это же время становятся более религиозными, нравственными, альтруистичными, даже святыми, как показывает опыт исследованных нами обращенных альтруистов. Этот закон также объясняет, почему периоды бедствий отмечены разрушением целостных систем ценностей отдельных обществ, с одной стороны, и созданием новых ценностных систем, с другой, причем особенно это касается религиозных и этических ценностей. Как правило, все великие религиозные и нравственные системы возникли и укрепились в катастрофические для какого-либо общества эпохи, будь то древний Египет, Китай, Индия, Израиль, греко-римские или западные общества. Огромное количество фактов свидетельствуют о верности этого закона поляризации. (Эти свидетельства более тщательно проанализированы в моей книге «Виды любви и ее сила».)

Третьим результатом наших исследований был пересмотр господствовавших ранее теорий структуры личности и личностной интеграции. Изучение стоявших перед нами проблем выявило несостоятельность современных теорий. Первая их ошибка обнаруживается в объединении двух совершенно противоположных присущих человеку «энергий» в одну категорию «бессознательного» или «подсознательного» (Э. фон Хартман, П. Жане[19], З. Фрейд и другие). Эти две энергии — биологически бессознательное, лежащее вне и ниже сознания, и сверхсознание («гениальность», «творческий *élan*»[20], *nous*[21] у греков, *pneuma*[22] у отцов церкви и т. д.), которое лежит выше уровня любого сознания или рационального мышления. «Глубинная психология» господствовавших ранее теорий на самом деле довольно-таки мелковата. Они либо сводят ментальные структуры человека к бессознательному (или подсознательному) «ид», являющемуся чем-то эпифеноменально неопределенным, неэффективному «эго» и «суперэго»[23] (З. Фрейд),

либо просто изображают ментальную структуру как двухэтажное здание — бессознательное (подсознательное) и сознательное (рациональное). Вместо этих совершенно неадекватных теорий мы были вынуждены на основе логики и фактов сконструировать такую структурную схему личности, которая напоминает кошелек с четырьмя отделениями: 1) биологически бессознательное (подсознание); 2) биологическое сознание; 3) социокультурное сознание и 4) сверхсознание. На бессознательном и сверхсознательном ментальных уровнях отсутствует какое-либо понятие «эго», тогда как на уровне социально-культурного сознания существует столько разных «эго», сколько есть социокультурных групп, в которых ассоциирован индивид («эго» его семьи, «эго» его профессиональной группы, «эго» его политической партии, религиозной группы, национальности, государства, экономического слоя и всевозможных организаций, где он состоит членом). Если группы, с которыми связан индивид, находятся в гармоничных отношениях друг с другом и «диктуют» индивиду гармоничные идеи, убеждения, вкусы, ценности и императивы поведения, все «эго» и ценности человека также будут в гармонии друг с другом, образуя одно интегрированное «эго» и одну главную систему ценностей. В результате такой человек будет иметь душевное равновесие, твердые убеждения, ясное сознание и последовательность в поступках. Если же группы, с которыми связан индивид, взаимно противоположны по своим ценностям и требованиям, предъявляемым к нему, все «эго» и ценности, отражающие его связь с этими группами, также будут противоречить друг другу. Человек становится «домом, разделившимся сам в себе»[24], исчезают душевное равновесие, последовательность мыслей и поступков, он начинает страдать от непреходящего внутреннего разлада, будучи неудовлетворен и превращаясь в психоневротика. Действительно, большая часть неврозов возникает в результате такого внутреннего напряжения и конфликта между разными «эго» как результат неудачного сочетания взаимопротиворечащих групп, членом которых является индивид. Последняя гипотеза была проверена различными способами и нами, и сторонними психиатрами, и сейчас ее все больше признают верной в научном мире. Эта плюралистическая теория «эго» как микрокосма, отражающего макрокосм групповых связей и привязанностей индивида, объясняет, почему прирожденные альтруисты, с раннего детства помещенные в среду гармоничных и альтруистичных групповых связей (начиная с хорошей семьи), обладают и гармоничным веером «эго», ценностей, поведенческих реакций и, таким образом, не должны в процессе развития своего альтруизма проходить сквозь болезненные кризисы, сопровождающие перестройку их ценностных систем, «эго» и групповых связей. И наоборот, альтруист обращенный, который одновременно является членом нескольких взаимно антагонистичных групп и поэтому имеет противоречивые ценности и групповые привязанности, вынужден проходить сквозь болезненный

процесс дезинтеграции своей личности и позднее — реинтеграции, т. е. восстановления ее целостности, если только не покончит жизнь самоубийством, не получат умственных расстройств или регрессирует до состояния зверства, пассивности или декадентски чувственного хищничества.

Наконец, о том, что касается сверхсознательного в человеке. Мы собрали и проанализировали значительное количество эмпирических свидетельств реальности его существования и его творческого функционирования у людей, отмеченных гениальностью, а также некоторые характеристики сверхсознания. Хотя свидетельств могло бы быть и больше, их вполне хватает, чтобы установить реальность этой высшей формы творческой энергии человека. Она, похоже, служит основным источником (вместе с рациональным мышлением) всех величайших достижений во всех отраслях культуры, от науки и изящных искусств до религии и этики. Она также является необходимым условием для того, чтобы стать гением альтруистской любви.

Среди прочих проверок данной гипотезы по поводу сверхсознания Т. Броссе провела ряд экспериментально-инструментальных тестов (кардиографических, энцелографических, гирографических и т. д.). Ее пионерное исследование подтвердило с помощью объективных данных реальность влияния сверхсознания на деятельность сердца, легких и других органов у 213 человек, подвергавшихся опытам. (Ее работа опубликована в «Сборнике» в 1954 г., а о сверхсознании в рамках нашей теории структуры личности можно прочитать в моей книге «Виды любви и ее сила».)

Заканчивая, отметим, что процесс настоящего альтруистического перевоплощения проходит для человека, не бывшего альтруистом ранее, очень трудно и болезненно, занимая долгое время и практически никогда не совершается внезапно. Вот почему почти все скороспелые религиозные обращения или нравственные изменения поверхностны, и сегодняшнее «религиозное возрождение», о котором столь широко рассуждают в Соединенных Штатах и везде в мире, есть всего лишь сотрясение воздуха, поскольку редко затрагивает самые основы общественной жизни и мораль отдельных наций и всего человечества».

Глубокое понимание природы и механики бескорыстной созидающей любви невозможно без адекватных знаний об обществе, культуре, системе ценностей, в которых люди живут и действуют. Это объясняет, почему, наряду с изучением основных проблем альтруизма, мы были вынуждены изучать структуру и историческую динамику социокультурных и ценностных систем. Помимо того, что большое внимание было уделено этим вопросам в моих ранее вышедших книгах: «Социальная и культурная динамика», «Общество, культура и личность», «Социальная мобильность», «Кризис нашего века», мне пришлось вернуться к исследованию отдельных аспектов этих проблем при работе в центре. Результаты моих трудов напечатаны в книгах: «Социальная философия в век

кризиса» (1950), «Причуды и недостатки современной социологии» (1956), «Американская сексуальная революция» (1956), «Власть и нравственность» (1959).

Ниже я привожу список основных публикаций центра и их переводов на иностранные языки.

П. А. Сорокин «Восстановление гуманности» (1948), немецкое, норвежское, японское, индийское, испанское и индостанское издания (соответственно 1952, 1953, 1951, 1958, 1959 гг.); «Разработки в области альтруистской любви и альтруистичного поведения»; сборник статей под редакцией П. А. Сорокина (1950); П. А. Сорокин «Альтруистская любовь: исследование американских добрых соседей и христианских святых» (1950); П. А. Сорокин «Социальная философия в век кризиса» (1950), издания английское, испанское, немецкое и на языке хинди (соответственно 1953, 1954, 1964 гг.); П. А. Сорокин «S.O.S.: смысл нашего кризиса» (1951); «Формы и методы альтруистского и духовного роста»: сборник статей под редакцией П. А. Сорокина (1954); П. А. Сорокин «Виды любви и ее сила: типы, факторы и технические приемы нравственного перевоплощения» (1954); П. Сорокин «Причуды и недостатки современной социологии и смежных наук» (1956), испанское, английское, французское и итальянское издание (соответственно 1958, 1959, 1963 гг.); П. Сорокин «Американская сексуальная революция: проявления и последствия» (1956), японское, испанское, португальское и индийское издания (соответственно 1957, 1958, 1959 гг.); сокращенное однотомное издание моей «Социальной и культурной динамики» (1957), двухтомный испанский перевод этой же книги (1962); моя же книга «Власть и нравственность» (1959), японское, индийское и сокращенное французское издания (1960, 1962, 1963 гг.).

Этот краткий перечень дает представление об исследованиях нашего центра. Данные публикации привлекли общемировое внимание, уже переведены на двадцать иностранных языков, вызвали к жизни значительное количество критической и обзорной литературы (статей, докторских диссертаций, книг), способствовали созданию в чем-то похожих на наш исследовательских центров в разных странах и Исследовательского общества по созидательному альтруизму в США. Учреждение этого, отдельного от центра общества было предпринято инициативной группой на собрании 29 октября 1955 года. В число учредителей мной были приглашены: Свами Акилананда, М. Арнольд, декан Э. Ф. Баудич, декан У. Кларк, сенатор Р. Э. Флэндерс, Р. Д. Хаулет, доктор Ф. Л. Кунц, доктор Х. Моргенау, президент английского университета Д. Марш, доктор А. Х. Маслоу, доктор Ф. С. Нортроп, доктор И. И. Сикорский, доктор Дж. Х. Шрэдер и доктор Р. Улих. После моего вступительного заявления присутствовавшие на встрече учредители единодушно проголосовали за учреждение Исследовательского общества по созидающему альтруизму. Что и было сделано. После множества заседаний общество провело конференцию

по новым знаниям о человеческих ценностях 4 и 5 октября 1957 в одной из аудиторий Массачусеттского технологического института. На конференции присутствовало несколько сот ученых. Материалы ее были опубликованы в сборнике статей «Новое знание о человеческих ценностях» под редакцией А. Х. Маслоу (1959). Сборник содержит доклады, прочитанные на конференции Г. У. Олпортом, Л. фон Берталанфи, Дж. Броновским, Т.Добжанским, Э. Фроммом, К. Голдстайном, Р. С. Хартманом, Г. Кенесом, Д. Ли, Х. Моргенау, П. Сорокиным, Д. Т. Цудзуки, П. Т. Тиллихом и В. А. Вайскопфом. По существу, эти ученые дали краткий обзор всего накопленного в области человеческих ценностей знания.

Несмотря на блестящий успех конференции и отличные планы дальнейших исследований и образовательной деятельности общества, по нескольким причинам (в основном из-за недостатка необходимых средств) оно не смогло реализовать свои замыслы и после нескольких лет тихого существования так же тихо скончалось. Господствующий во всем мире климат нетерпимости и вражды между людьми из-за их личного или группового эгоизма оказался совершенно непригодным для возделывания прекрасного сада бескорыстной, созидающей любви.

Что касается исследовательского центра то он продолжал существовать в усеченном виде. Мой выход в отставку (с присвоением почетного профессорства в Гарварде) в конце 1959 года и почти полное истощение фондов на исследования заставили меня ограничиться только собственными трудами, ибо я продолжал работать без всякого вознаграждения, и, во-вторых, перевести центр из Гарвардского университета в Американскую Академию наук и искусств. Остающиеся скромные средства позволяли только нанять на неполную рабочую неделю секретаря (восемьдесят долларов в месяц) и оплачивать почтовые расходы на переписку центра, поэтому мы не могли привлечь к его работе никого другого из ученых[4], предложить им даже символического вознаграждения. Вот почему работы центра были в значительной степени свернуты.

В последние два года мне удавалось посвящать задуманному труду «Социология нравственных явлений и ценностей» только часть своего времени. Я надеюсь завершить его в качестве моей последней работы в этой области до того, как наступит старческая немощь или смерть. Остальное время я сейчас трачу на изучение социологических проблем, лишь косвенно связанных с бескорыстной, созидательной любовью. «Таинственной энергии любви» я посвятил около десяти лет своей жизни. И надо сказать, кое-что добавил к существующим знаниям об этом предмете. И если результаты более скромные, чем мне бы хотелось, в мое оправдание можно произнести древнее выражение: *Feci guod potui faciant meliora potentes,* что значит: «Я сделал, что смог, пусть другие сделают лучше».

Глава шестнадцатая.

МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА

СВОБОДА НАЧИНАЕТСЯ С УХОДОМ В ОТСТАВКУ

Сосредоточение моих занятий на работе исследовательского центра в 1949—1959 годах не препятствовало мне заниматься помимо этого другой деятельностью. С 1949 по 1955 год я продолжал отдавать половину моих сил чтению лекций и семинарам в Гарварде, изредка присутствовал на международных научных встречах. Из всех приглашений выступить с лекциями, полученных от американских и иностранных университетов, от правительств Индии, Индонезии и Западной Германии, я принял только несколько. О двух таких предложениях стоит упомянуть.

В апреле 1950 года я прочитал в Вандербильт Университете лекцию о современном состоянии философии истории по случаю семьдесят пятой годовщины этого учебного заведения. В расширенном виде данные лекции были опубликованы в 1950 году под названием «Социальная философия в век кризиса». В 1955 году я прочитал курс лекций и провел ряд семинаров во время летней сессии в университете штата Орегон. Приглашение в Орегон дало нам случай пересечь на автомобиле весь континент туда и обратно и увидеть прекрасные пейзажи северной части Соединенных Штатов, Канады, а также познакомиться со штатами Орегон и Вашингтон. Моя жена, Сергей и я (Петр был занят подготовкой к докторской защите и не мог присоединиться к нам) от всей души насладились путешествием через континент, посещением многих красивых уголков этих штатов, рыбалкой в лежавших на пути озерах, не говоря уже о дружеской компании профессоров, студентов и других орегонцев и вашингтонцев. Поездка в целом, как обычно, очень освежила всех нас. На обратном пути мы пересекли север штата Миннесота, где мы с женой часто отдыхали и ловили рыбу в бытность мою профессором университета Миннесоты. С чувством утраченных иллюзий мы наблюдали, каким коммерциализированным стал этот регион и как много из его природной красоты исчезло за двадцать пять лет, прошедших с момента нашего последнего посещения тех мест. Моя «сельская пасторальная душа» была столь больно уязвлена таким «прогрессом цивилизации», что мы торопливо проехали Миннесоту, не имея никакого желания возвращаться туда в будущем.

В течение того же периода (1949—1955 гг.) я продолжал внимательно следить за развертывающейся драмой человеческой истории и, в зависимости от смены сцен, делать необходимые поправки к своей оценке событий. Касалось это, однако, в большей мере не моей полностью сформировавшейся интегральной философии и не моей интерпретации основных тенденций современности, а лишь некоторых второстепенных частностей в мировоззрении.

В январе 1955-го мне исполнилось шестьдесят шесть лет. В этом возрасте гарвардские профессора обычно выходят на пенсию. Примерно в это время в мой оффис зашел президент Пьюси и вежливо поинтересовался моими дальнейшими планами и пожеланиями: желаю ли я уйти в отставку в шестьдесят шесть лет или буду продолжать преподавание до семидесяти — такую привилегию Гарвард предоставлял некоторым наиболее заслуженным профессорам. Я поблагодарил за предложение и попросил освободить меня от преподавания уже сейчас, но оставить директором Гарвардского исследовательского центра по созидающему альтруизму до семидесяти лет. Я объяснил, что, преподавая около сорока лет в разных университетах, устал от рутины своей профессии и предпочитаю освободиться от нее, дабы посвятить оставшиеся мне годы активной жизни изучению интересных проблем, и вообще хочу пожить для себя. Все мои просьбы были одобрены советом Гарварда, включая оставление меня директором центра.

Вот так, в возрасте 66 лет, я в основном освободился от гнета расписанных по минутам лекций, конференций и заседаний комитетов, от многих правил и предписаний, существующих в университетах и регламентирующих жизнь и труд профессоров. Хотя теоретически я и отдавал половину своего времени центру, фактически же я обрел свободу использовать это время по своему усмотрению. В этом статусе я оставался до 31 декабря 1959 года, когда в возрасте семидесяти с лишним лет ушел со всех постов в Гарварде, превратившись в почетного профессора в отставке.

Моя реакция на это событие была в целом положительной, тем не менее отставка заставила меня задуматься, напомнив, что молодость, зрелость и пожилой возраст закончены, что я вступил в старость, которая со временем перейдет в мрак смерти. Поскольку еще со смертного приговора 1918 года мысли о смерти стали привычными и не пугали, постольку мое тогдашнее настроение не было ни подавленным, ни болезненным. Наоборот, оно было довольно легким, приятным, утешающим, словно элегическая музыка в несколько минорном ключе. В конце концов, тридцать лет моего сотрудничества с великим университетом были плодотворны и принесли удовлетворение; в это время я служил университету и человечеству, как умел, и в ответ университет дал мне возможность раскрыть мои скромные творческие способности. Конечно, за тридцать лет работы случалось всякое, но расстройства и неприятности терялись в море приятных воспоминаний.

Моя отставка никоим образом не означала прекращения или ограничения моей научной и культурной деятельности или какого бы то ни было сокращения свободы выбора направлений моих исследований, способов отдыха и вариантов поведения. Напротив, по всем этим аспектам я ныне был свободнее, чем когда-либо. Физически я сохранял хорошую форму, и мое сознание пока еще не подверглось заметным старческим изменениям. Отставка в Гарварде не слишком серьезно помешала мне как я всю жизнь

был перекати-полем и никогда не вкладывал всего себя во что-то одно, мог делать разную работу, в разных условиях, в разных организациях, учреждениях, институтах. Мне довелось видеть многих профессоров, для которых отставка действительно означала конец научной и педагогической деятельности, конец творческой жизни. В моем случае, к счастью, это печальное правило не сработало. Я и сегодня чувствую себя в силах продолжать работу, как и прежде. И когда миазмы старческой немощи и смерть положат конец моему существованию, я предпочитаю умереть не в постели, а бодрым и активным до последнего.

МОЙ «ОТДЫХ» НА ПЕНСИИ — НОВЫЕ КНИГИ

В описанном выше настроении, после частичной отставки в шестьдесят шесть лет, я упорно продолжал свою научную, педагогическую, культурную деятельность и, конечно, успевал отдыхать. Единственное, что изменилось в моей жизни, — я решил больше не предпринимать обширных исследований, вроде «Динамики», которые потребовали бы многих лет и больших средств для их завершения. Хотя я был в хорошей физической и умственной форме для своего возраста, все же нельзя было ждать, что такое состояние здоровья сохранится на долгие годы и неизбежные старческие немощи не овладеют в конце концов моим телом и душой.

В соответствии со своим решением я провел несколько исследований в 1956—1959 годах и опубликовал их в виде нескольких статей и книг. Как уже указывалось выше, это — «Причуды и недостатки современной социологии» (1956), «Американская сексуальная революция» (1956), «Власть и нравственность» (1959). В «Причудах и недостатках» содержится серьезная критика некоторых модных тенденций течения мысли и исследований в современной американской социологии, психологии и психиатрии: таких, как ничем не оправданные претензии на открытие новых законов, фактов, явлений, связей, которые на самом деле были открыты давным-давно; бессмысленный жаргон и псевдонаучный слэнг; псевдооперационализм[1] и «тестомания» (пристрастие к тестам на интеллект, прожективным и другим механическим тестам); «квантофрения»[2] и культ «социальной физики с умственной механикой»[3]; псевдоэкспериментальные исследования «малых групп»; устаревшие философия и теория познания самих этих модных поветрий. Моя критика была, естественно, нелицеприятна, но я не мог избежать ее, если хотел выполнить основную обязанность ученого — говорить правду, как он ее видит, независимо от того, горькая эта правда или нет. Имея много пороков, я все же очень редко не выполнял свой долг, даже под угрозой ареста или жестокого наказания я всегда говорил правду. Вместо того чтобы приспосабливаться во взглядах к чьим-то интересам, я упорно старался следовать древней мудрости, выраженной во фразе:

Платон мне друг, но истина дороже. Неудивительно поэтому, что такая приверженность истине временами рождала неприязненные чувства ко мне у части тех, кого я критиковал. Несмотря на это, критика моя не пропала даром. Похоже, что она ощутимо повлияла на целый ряд американских и зарубежных социологов, психологов и психиаторов. Несколько лет спустя большую часть моей критики повторил Райт Миллз[4] в своей книге «Социологическое воображение». В личном письме, написанном вскоре после выхода моих «Причуд», он дал ей высокую оценку и выразил полное согласие с моими выводами. (По той или другой причине он не упомянул мою книгу в своем труде вовсе, что было замечено и резко прокомментировано одним из рецензентов книги Миллза в литературном приложении к «Лондон Таймс».) После своей оригинальной публикации «Причуды и недостатки» уже вышли на французском, испанском, итальянском языках и еще пара переводов в процессе подготовки.

Что касается «Американской сексуальной революции» и «Власти и нравственности», обе эти книги были намеренно написаны в научно-популярной форме, доступной обычному читателю. В первой работе я попытался показать опасные последствия сексуальной распущенности и анархии, зацикленности на вопросах секса, которые повлияли на американский образ жизни, культуру и ценности в последние два-три десятилетия.

В соответствии с этой целью в книге сделан обзор всех основных проявлений сексуальной зацикленности и анархии и их деструктивного влияния на физическое, умственное, нравственное и социальное здоровье отдельных людей и целых наций, зараженных этими сексуальными болезнями. Книгу читали в широком кругу, обсуждали, одобряли и критиковали как в США, так и в других странах (Швеции, Испании, Португалии, Японии и Индии, где выходили ее переводы).

Основные цели написания и выводы «Власти и нравственности», созданной в соавторстве с профессором У. Ланденом, видны из следующего отрывка из вступления к книге:

«Процветание и выживание человека сегодня во многом определяет лишь горстка верховных правителей великих ядерных держав. В своих руках они безраздельно сосредоточили контроль над беспрецедентно мощными, несущими смерть вооружениями. От их мудрости или глупости во многом зависит судьба человечества — прочный мир или самоубийственная война. Никогда прежде в истории не было, чтобы жизнь или смерть такого огромного количества людей зависела бы от такой малой кучки правителей!..

Опасная ситуация, естественно, рождает вопросы, на которые надо отвечать именно сегодня: можем ли мы доверить судьбоносные решения о войне и мире, а через это и о жизни, свободе и счастье сотен миллионов, нескольким магнатам, стоящим у власти? Есть ли у них мудрость змеи и кротость голубя, необходимые,

чтобы привести нас к прочному миру и прекрасному будущему?

Что до меня, то я склонен ответить на эти вопросы словами псалма: «Не надейтесь на князей (и правителей), нет в них спасения вам»[5]. ... Гигантская задача мирного решения колоссальных трудностей нашего времени не может быть доверена существующим правительствам, по-прежнему являющимся, в основном, «кастовыми», т. е. состоящими из политиков, которых выбирают политики, и служат они тоже не народам, а самим политикам. ...Будучи особой «кастой», сегодняшние правящие социальные группы не проявляют даже минимума интеллектуальной, нравственной и социальной квалификации, необходимой для успешного решения стоящих перед нами грандиозных задач.

Во-первых, на протяжении всей истории у сильных правительств было (да и сейчас) мало нравственности, а их преступные деяния слишком тяжелы, чтобы вверять им жизнь и благосостояние человека. Во-вторых, созидательных возможностей современных правительств далеко не хватает для плодотворного решения этих проблем. В-третьих, конструктивная реализация человеческих стремлений требует: а) замены существующих «правительств политиков» на правительства ученых, святых и мудрецов; б) создания определенных условий, таких, как полное и всеобщее разоружение, которые могут автоматически предотвратить использование силы во зло любым правительством; в) замены во многом устаревших политических идеологий и обветшалых ценностей новыми; и, наконец, г) добровольной мобилизации и сотрудничества всех созидательных сил человечества — его лучших умов, чистейших сердец и наивысшей сознательности, — для построения более праведного и лучшего общественного порядка на планете людей».

Последующие главы книги развивают и подкрепляют эти положения, особенно в том, что касается ментального уровня и преступности правителей. Обобщенно основные моменты можно кратко изложить следующим образом:

1) Когда нравственность и ментальность правителей и тех, кем управляют, измеряются одной мерой (а не с помощью двойного стандарта), тогда оказывается, что нравственность и умственные способности правителей несут больше признаков ментальной и моральной шизофрении, чем таковые у населения, которым управляют, в целом.

2) Правящие группы содержат бóльшие доли как умственно одаренных, так и умственно отсталых или ненормальных в ментальном отношении людей, чем рядовые представители населения. Правящий слой в бóльшей мере состоит из личностей, склонных к доминированию, агрессивности, высокоэгоистичных, смелых и авантюрных натур, людей жестоких и лишенных чувствительности, лицемеров, лжецов и циничных махинаторов, чем управляемое им население.

3) Поведение правящих групп более преступно и безнравственно, чем поведение других слоев общества.

4) Чем больше, абсолютнее и жестче власть правителей, политических лидеров и высших чиновников бизнеса, профсоюзов и прочих организаций, тем более коррумпированными и преступными оказываются эти группы людей.

5) Чем более ограничивается власть политиков и чиновников, тем менее преступными становятся их деяния: качественно (уменьшается количество тяжких преступлений) и количественно (снижается сам уровень преступности среди них).

Эти положения касаются не только правителей автократического типа, но и демократов, хотя между первыми и вторыми существуют различия, выраженные в п.п. 4 и 5. Каждое из приведенных, в общем-то абстрактных обобщений становится по-настоящему значимым, только если подкреплено соответствующими конкретными примерами. Например, третье положение приобретает особое значение, если знаешь, что от 20 до 90 процентов королей (царей, шахов, султанов, императоров) Англии, Франции, Австрии, России, Ирана, Византии, Турции, Германии, Италии, Римской империи, Японии, Арабских династий и империи Инков повинны в тягчайших убийствах своих отцов, матерей, братьев и жен, сестер и мужей и т. д. В то же время количество убийц среди управляемого ими населения колеблется между 8 и 2000 на 100 тысяч жителей. Другими словами, уровень преступности среди автократических правителей во много, много раз выше, чем у их подданных.

С этой книгой связан интересный, прямо анекдотический случай. Я послал ее экземпляры с дарственными надписями президенту Эйзенхауэру, госсекретарю Хётеру, премьеру Хрущеву и нескольким сенаторам и конгрессменам Соединенных Штатов. Каково же было мое удивление, когда я получил благодарственные письма от всех них. Ясно, что их секретари не читали книгу и отреагировали на ее получение с автоматической вежливостью, не осознавая и не представляя ее, весьма «подрывной», эпатирующий их чувства характер. Как и многие мои книги, «Власть и нравственность» появилась в Индии в дешевом издании, а также в сокращенном переводе в Японии и Франции.

Со времени издания «Власти и нравственности» моя продуктивность по части написания книг несколько снизилась. За 1959—1963 годы я опубликовал только два «тонких» тома. Первый — это вышедшая на испанском языке в Мексике книга «Конвергенция Соединенных Штатов и СССР» (1961). Она состояла из двух моих работ. Название первой было вынесено в заглавие книги, а вторая называлась «В поисках интегральной системы социологии» и являлась адресом, с которым я обратился к делегатам на пленарном заседании XIX Международного социологического конгресса, состоявшегося в Мехико в 1960 году. Второй «тонкой» книгой стала автобиография, написанная в основном ради собственного удовольствия и развлечения.

Снизившаяся писательская продуктивность часто была связана с тем, что на восьмом десятке лет я стал работать медленнее, а частью с тем, что все активнее занимался иной деятельностью.

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

После отставки мне приходилось писать гораздо больше вспомогательных статей и докладов для различных национальных и международных научных конференций, чем раньше. За редким исключением, меня по-прежнему не тянуло присутствовать на этих конгрессах и совещаниях, но по той или другой причине после отставки целый ряд научных организаций стал так настойчиво предлагать мне участие в своих мероприятиях, что несколько раз я просто не смог отклонить их настойчивые приглашения. Так, например, я принял решение не ездить на XVIII Международный социологический конгресс в Нюрнберге в 1958 году, о чем и проинформировал комитет конгресса. Ответом были несколько писем и телеграмм от президента конгресса, Нюрнбергского оргкомитета, многих европейских, азиатских и американских социологов, которые в один голос настаивали на крайней необходимости моего участия в работе конгресса. Кроме того, оргкомитет конгресса сообщил мне, что все мои путевые и прочие расходы будут полностью оплачены. Наконец, где-то за четыре дня до его начала я пытался мотивировать свой отказ тем, что просто не успею в столь короткий срок оформить паспорт, сделать прививку от оспы и купить авиабилет. Тогда профессор Циммерман по просьбе комитета взял на себя устройство всех формальностей и преуспел в этом. Мне ничего не оставалось, как согласиться участвовать в конгрессе. В результате за день до открытия я оказался на борту самолета компании «Пан-Америкэн», летящего в Нюрнберг; со мной вместе летели К. Циммерман и известный ученый, доктор А. Дж. Тойнби, неформальная беседа с которым здорово скрасила скуку многочасового полета из Бостона в Лондон, где он покинул самолет. В Нюрнбергском аэропорту нас встретили члены местного оргкомитета и отвезли в отель, где нас ожидали забронированные номера. Вот так неожиданно и без проволочек я оказался в послевоенной Европе, где мне еще не довелось побывать.

Не стоит и говорить, что семь дней работы конгресса были в высшей степени увлекательными, захватывающе интересными и плодотворными. Гостеприимство известных немецких ученых, членов Нюрнбергского оргкомитета: профессоров Ганса Фрэйера, К. В. Мюллера, Х. Г. Раша; ректора Нюрнбергской высшей школы хозяйственных и социальных наук доктора Ф. В. Шуберта; муниципальных властей города, Баварского и федерального правительств было ошеломляющим. Внимание, уделенное мне делегатами конгресса, оказалось неожиданным для меня, я даже заметил в шутку коллегам, что теперь зазнаюсь и буду придерживаться о себе гораздо более высокого мнения, чем до конгресса. В Нюрн-

берге я встретился с многими социологами из разных стран и имел возможность познакомиться с молодым поколением ученых Европы, Азии и Латинской Америки.

Кроме активного участия в дискуссиях на конгрессе меня дважды просили открыть своими докладами пленарные заседания. Поскольку я не собирался ехать на конгресс вовсе, то и не имел никаких материалов для выступления там. К счастью для меня, еще дома, до отъезда, я написал черновики двух статей, которые собирался опубликовать. Эти наброски я включил в свои выступления. Позже, вернувшись домой, я завершил работу над статьями, и в своем законченном варианте они были напечатаны в первом томе «Материалов XVIII Международного социологического конгресса» под названиями «Таинственная энергия любви» и «Три основных тенденции нашего времени». Позже эти эссе неоднократно печатались в нескольких американских и зарубежных научных журналах и научно-популярных изданиях.

После официального закрытия конгресса, накануне моего отъезда домой, я провел восхитительный вечер в замечательной компании членов Нюрнбергского оргкомитета, ректора Высшей школы, известных делегатов конгресса и их жен. На прощание в знак гостеприимства они подарили мне бутылку коллекционного вина «Хайлиг Гайст Шпитал № 5». С этим сувениром я вернулся домой, прекрасно отдохнувший и взбодренный богатыми и полезными впечатлениями от конгресса.

Похожая история произошла и с моим участием в работе XIX Международного социологического конгресса в Мехико в сентябре 1960 года и годичной сессии Американской социологической ассоциации в Нью-Йорке, непосредственно перед конгрессом. Я не собирался участвовать ни в одном из мероприятий, но в конце концов уступил нажиму и той, и другой стороны. Президент ассоциации профессор Говард Беккер и председатель секции социологической теории профессор Р. Чэмблисс настойчиво просили меня выступить с главным адресом собранию по поводу столетия со дня рождения Герберта Спенсера. Они даже сдвинули день чествования с 30 на 23 августа, чтобы я смог прилететь в Мехико к открытию конгресса, который планировался с 1 по 8 сентября 1960 года. В конце концов я сдался на их настойчивые уговоры и 29 августа зачитал свое выступление на годичной сессии ассоциации: «Вариации на спенсеровскую тему военного и промышленного типов общества». Моя известность или, возможно, дурная слава приобрела уже такую широту, что послушать меня собралась самая большая аудитория в истории ассоциации, проводившая мою речь аплодисментами и поздравлениями.

Следующим же утром я вылетел вместе с женой в Мехико.

Одно интересное происшествие, связанное с речью на сессии, заслуживает упоминания. Поскольку мое выступление было своего рода «выполнением приказа» президента ассоциации и оно было восторженно принято аудиторией, я чувствовал себя обязанным

представить текст для опубликования в журнале «Американское социологическое обозрение», официальном органе ассоциации. Я так и сделал, но без всякого желания и энтузиазма, по причине несложившихся, я бы даже сказал довольно недружественных отношений с редакторами «Обозрения»[6]. Несколько недель спустя я получил письмо от редактора, доктора Гарри Альперта, датированное 31 октября 1960 года, в котором он писал: «...Мне выпала неприятная обязанность сообщить вам, что мы не можем принять вашу статью к публикации в «Американском социологическом обозрении»... Возвращаем рукопись отдельным вложением.

Искренне Ваш
Гарри Альперт».

Я не был ни раздражен, ни удивлен таким письмом. Когда я поведал о нем с юмором кому-то из моих друзей-ученых, они спросили: «А кто такой, собственно, этот Альперт?»

— Чиновник, неплохой администратор, сейчас он — декан аспирантуры в Орегонском университете. Как ученый, он всего лишь третьесортный социолог, написавший, насколько я знаю, только одну, да и то посредственную книгу о Дюркгейме.

— Тогда как он посмел отклонить твою статью?

— По тем же причинам, по которым редакторская серость отклоняла статьи много более известных и лучших ученых, чем я. Помните: слуги Лейбница никак не могли понять, почему столько важных персон, включая членов августейших фамилий, оказывали столько уважения их простому с виду господину. Ну и, кроме того, разве вы не знаете, что пути канцелярские неисповедимы? — добавил я в шутку.

Конечно, моя статья не имела особенного уж значения, но была, по крайней мере, не хуже любой среднего уровня статьи, публикуемой в «Обозрении». Поскольку несколько других журналов уже предложили мне отдать им статью, я послал ее в журнал «Социальная наука», где она появилась в первом же номере, а затем не раз была переведена и напечатана иностранными журналами. Вот и все об этом юмористическом инциденте.

Мы с женой от всей души наслаждались присутствием на конгрессе в Мексике. Гостеприимность местных ученых, правительства и простых людей, оказанная делегатам и нам лично, поразила нас еще больше, чем в Нюрнберге. Внимание ко мне на конгрессе снова было чрезвычайно пристальным, много большим, чем я того заслуживал и на что рассчитывал. Два моих выступления (адреса), о которых уже шла речь ранее, собрали огромную аудиторию и были тепло приняты.

Когда я закончил речь по поводу «Взаимной конвергенции Соединенных Штатов и СССР на пути к обществу смешанного социокультурного типа», среди тех, кто поздравил меня с блестящим выступлением, был доктор Адольф Грабовски, редактор влиятельного немецкого журнала по политическим наукам «Цайт-

шрифт фюр политик». Он попросил у меня машинописную копию речи для перевода на немецкий язык и публикации в очередном, декабрьском выпуске журнала. Затем редакторы «Памятных записок» конгресса и мексиканский оргкомитет уведомили меня, что речь будет напечатана не только по-английски, но и на испанском, в переводе председателя оргкомитета доктора Карлоса А. Эчанова. Он также устроил публикацию на испанском обеих моих речей на конгрессе в виде упомянутой ранее книги «Конвергенция». Впоследствии «Взаимная конвергенция» была напечатана не только в материалах конгресса, на немецком и испанском языках, но ее также перепечатали по-английски в «Международном журнале по сравнительной социологии» и в русском журнале «Независимая Россия», выходящем в Нью-Йорке.

На конгрессе я встретился со многими социологами из Латинской Америки и других зарубежных стран. Особенно мне было приятно лично познакомиться с доктором Лючио Мендиета Нуньесом, директором Мексиканского института социальных исследований, редактором «Мексиканского социологического обозрения» и самым выдающимся из латиноамериканских ученых-социологов. Я переписывался с ним много лет до личной встречи и был у него в долгу за испанский перевод моей книги «Социальная мобильность» и за начатый им перевод всех четырех томов «Социальной и культурной динамики». Кроме того, он принял от моего лица присужденную мне степень почетного доктора Мексиканского национального университета по случаю 400-летия этого учебного заведения в 1952 году. (Я не смог лично присутствовать на торжественной церемонии вручения диплома.)

Восемь дней, проведенных в Мехико, позволили нам увидеть несколько исторических достопримечательностей в самом городе и его окрестностях, прочитать лекции в Национальном университете и насладиться гостеприимством, которое нам оказали в посольствах нескольких зарубежных стран. Другими словами, я снова был рад, что удалось побывать на конгрессе, несмотря на первоначальное нежелание ехать в Мексику.

Несколько иными были обстоятельства моего участия в работе первого съезда Международного общества сравнительных исследований цивилизаций в Зальцбурге в октябре 1961 года. Группа крупных европейских ученых собралась и организовала это общество в 1960 году. Меня даже не пригласили на собрание. О создании общества я узнал из письма его ответственного секретаря, доктора Отмара Андерле. Он сообщил, что группа учредителей единодушно избрала меня первым президентом общества, и выражал надежду, что я приму их предложение. В письме также говорилось, что пост президента не налагает на меня никаких обязанностей, ограничивающих мою свободу и время. Я принял почетное предложение, дав ясно понять, чтобы от меня не ждали какой-либо работы или присутствия на заседаниях общества. Однако, когда было объявлено о созыве съезда и я уведомил оргкомитет,

что не смогу присутствовать на нем, как обычно, последовал поток писем и телеграмм, убеждающих изменить решение. Как водится, я поломался и затем сдался, и 7 октября 1961 года меня встретил в Мюнхенском аэропорту доктор Андерле, отвез на машине в Зальцбург и устроил в комфортабельном гостиничном номере, зарезервированном заранее.

В отличие от других научных конференций мы отказались от зачитывания длинных докладов и на всех сессионных заседаниях вели непосредственные дискуссии между учеными — делегатами съезда. В течение семи дней работы, на утренних и дневных заседаниях мы всесторонне обсуждали среди историков, социологов, философов истории, археологов, антропологов, биологов, психологов, обществоведов, религиоведов, правоведов и искусствоведов основные вопросы по теме съезда — «Проблемы цивилизации». Дискуссии велись на немецком, английском и французском языках с синхронным переводом. Все выступления и реплики фиксировались магнитозаписью, с тем чтобы позже расшифровать, отредактировать и издать как рабочие материалы съезда. Сейчас, когда я пишу эти строки, том с рабочими материалами уже подготовлен и должен выйти в 1963 году. Большую помощь в этом деле оказал Эли Лилли, щедро отваливший на цели издания пять тысяч долларов.

Мы не раскаялись в том, что заменили длинные доклады дискуссиями. Такой порядок работы весьма оживил каждую сессию, разогнал скуку у слушателей, дал возможность всем делегатам активно участвовать в обсуждении и принес больше пользы, нежели традиционная практика заслушивания докладов. Неудивительно, что интерес к съезду был высок, и о нем писали европейские средства массовой информации. «Нью-Йорк Таймс» также опубликовала отчет о нашей с Тойнби «схватке» по проблеме взгляда на русскую и немецкую цивилизации, в которой нам оппонировали некоторые немецкие историки.

Гостеприимность горожан Зальцбурга и австрийского правительства была выше всех похвал. Красота Зальцбурга и его окрестностей, исторические места, включая музей Моцарта и городскую крепость, отличная еда, пиво и вино в зальцбургских ресторанах и мирная атмосфера нейтральной Австрии усилили приятное впечатление делегатов от съезда.

В качестве президента съезда я снова привлек больше внимания, чем того заслуживаю. Среди других «звезд» на съезде следует упомянуть доктора Тойнби и его жену. Случайно наши гостиничные номера оказались рядом. Ежедневно мы завтракали, обедали и ужинали вместе. В дискуссиях на съезде взгляды Тойнби были схожи с моими практически по всем обсуждаемым вопросам. Время, проведенное с ним и его супругой, укрепило мое и без того высокое уважение к ним. Я буквально восхищался этой четой. Их искренность, цельность характеров и доброта, их простота в общении и отсутствие фальши и претенциозности,

не говоря уже об из ряда вон выходящей творческой энергии доктора Тойнби, произвели на меня огромное впечатление. Эти люди были для меня примером — они исповедовали вечные и универсальные ценности, в них сосредоточилось все лучшее, накопленное человеческой культурой.

В Винчестер я вернулся 16 октября немного уставший физически, но хорошо отдохнувший душой, с посвежевшими мозгами.

Наконец, мне довелось участвовать сразу в трех научных конференциях — V Всемирном конгрессе социологических ассоциаций, годичной сессии Американской социологической ассоциации и ежегодной встрече членов Католического социологического общества. Все они должны были состояться в Вашингтоне. Решение об этом я принял самостоятельно, без какого-либо давления на меня, не считая, разумеется, собственно приглашений участвовать в мероприятиях и подготовить свои выступления.

Несколькими месяцами ранее я также получил приглашение от австрийского правительства выступить с лекцией на Международном дипломатическом семинаре в Зальцбурге (в период с 31 июля по 10 августа 1962 г.) на тему: «Чему современная социология может научить современных дипломатов?» Затем пришли приглашения на три упомянутых мероприятия в Вашингтоне (планируемые с 29 августа по 8 сентября 1962 г.). С 12 по 18 сентября должен был состояться XX Международный конгресс по социологии в аргентинском городе Кордоба, где мне, как ожидалось, предстояло быть избранным в качестве президента следующего конгресса. С 24 по 30 сентября я обязан был присутствовать на давно назначенном на этот срок втором съезде Международного общества сравнительных исследований цивилизаций в Зальцбурге. Ведь я являлся президентом этого общества.

Если бы мне пришлось принять участие во всех мероприятиях, то к концу сентября, если не раньше, меня бы, уверен, уже не было в живых. Так что я решил присутствовать только на встречах социологов в Вашингтоне. Однако заманчивым было участие и в Международном дипломатическом семинаре, где обычно выступали лишь главы правительств, министры иностранных дел и видные дипломаты, и в XX Международном конгрессе в Кордобе, и во втором съезде в Зальцбурге, просто я физически не мог быть одновременно сразу в нескольких местах. Поэтому с сожалениями и извинениями мне пришлось сообщить в австрийское посольство в Вашингтоне о невозможности принять приглашение выступить на семинаре. Затем я попросил оргкомитет XX конгресса в Кордобе снять мою кандидатуру с выборов президента, а через две недели и отменил свое участие в работе конгресса. Ясно, что, оставаясь кандидатом в следующие президенты, я должен был присутствовать на аргентинской встрече, а после снятия кандидатуры оказался волен не делать этого. Что касается участия во Втором съезде в Зальцбурге, то я предложил оргкомитету перенести его на сентябрь 1964 года. Предложение было принято,

а позже из-за нестабильной политической обстановки в Аргентине XX конгресс по социологии также был отложен на год.

В соответствии со своим решением за весну и лето 1962 года я подготовил выступления для трех собраний ученых в Вашингтоне. Основательный доклад для V Всемирного конгресса — «Тезисы о роли исторического метода в социальных науках» — был опубликован в первом томе «Трудов конгресса» еще до его начала. Доклад для Американской социологической ассоциации «Практическое влияние «непрактичных» обобщающих социологических теорий» был направлен для опубликования в журнале «Социология и социальные исследования» и вышел в его октябрьском 1962 года номере. Точно так же и доклад для Американского католического социологического общества «Заметки по поводу книги П. Т. де Шардена «Феномен человека» был напечатан зимой 1962 года в журнале «Американское католическое социологическое обозрение».

По пути в Вашингтон мы с женой остановились на ночь у нашего сына Петра, физика, в Оссининге, что рядом с главными лабораториями «Ай-Би-Эм». Мы прекрасно провели вечер с ним и его соседом по дому доктором Б. Данхэмом. На следующее утро мы снова сели в машину и после полудня уже въезжали в Вашингтон.

В «Шоохэм Отеле», месте проведения конференций, я встретил многих своих бывших студентов, которые стали теперь заслуженными учеными, профессорами, лидерами бизнеса или крупными правительственными чиновниками. Познакомился я и со многими социологами, с кем ранее мне встретиться не довелось. С утра до вечера каждый день они желали говорить со мной по разным вопросам, приглашали нас на коктейли, завтраки или обеды. Делегации китайских, японских, индийских и латиноамериканских социологов хотели проконсультироваться со мной по различным научным и иным проблемам. Впервые среди зарубежных делегаций мы встретили советских, польских и чешских социологов. Они с волнением ждали случая познакомиться с нами, а мы в не меньшей степени были заинтересованы во встрече с ними. Поэтому мы несколько раз собирались вместе, пока шел конгресс, и позже пятеро из них обедали у нас дома в Винчестере. Наши встречи проходили дружески, а беседы носили весьма откровенный характер.

«Хотя ваши взгляды отличаются от наших по многим вопросам, мы, тем не менее, считаем вас великим социологом. Многие из нас внимательно изучали ваши работы и высоко ценим их. Мы даже гордимся вашими достижениями, поскольку считаем вас русским социологом. Вам надо посетить Россию. Можете быть уверены: вас там примут тепло и сердечно». Таково, примерно, было их мнение и отношение ко мне[7].

Сходную реакцию на знакомство со мной я видел и у других русских ученых, с кем встречался в Гарварде и у себя дома

в последние два года. Какая перемена! До последних лет мои работы были запрещены в России. Сейчас, как говорили мне, главные мои труды можно найти в университетских и национальных библиотеках России, хотя они все еще доступны только коммунистам, профессорам и аспирантам. Когда, шутя, я упомянул, что ни одна из моих книг, которые переведены на все европейские и многие азиатские языки, к сожалению, не издана по-русски, они посоветовали мне не удивляться, если в ближайшем будущем одна или несколько моих книг выйдут в Советском Союзе[8]. Во взаимной надежде на более тесное сотрудничество в будущем мы и завершили нашу дружескую встречу.

Что касается моих выступлений на всех трех мероприятиях, то они, как обычно, прошли с успехом, собрав большие аудитории, оказались благосклонно приняты, вызвав многочисленные обсуждения (некоторые из которых вместе с моими ответами были позднее опубликованы) и поздравления от социологов. Мне было особенно приятно выступить с докладом на собрании Американской социологической ассоциации по секции, где председательствовал мой бывший ученик и сотрудник — профессор Р. Мертон из Колумбийского университета. В прениях по докладу выступили, что тоже очень приятно, еще один ученик, профессор У. Мур из Принстона, и мой старый друг, профессор Т. Абель из Хантер-колледжа. Замечательно было видеть, что мои бывшие ученики выросли в выдающихся ученых, лидеров молодого поколения американских социологов.

Те же чувства по тому же поводу я испытал, завтракая вместе с доктором Логан Вильсон, председателем Американского совета по вопросам образования, а также встречаясь и беседуя со своими студентами, ныне заслуженными профессорами и экспертами правительства, например: Дж. Б. Фордом, Ч. Лумисом, Э. Шулером, Б. Барбером, Р. Биерштедтом, Дж. Фишером, доктором Портером и многими другими. Не менее радостной была и наша встреча на конгрессе с профессором Цеттербергом из Колумбийского университета. Он, будучи руководителем издательства «Бедминстер Пресс», стал инициатором переиздания четырех томов моей «Динамики». Порадовала меня и встреча со старыми друзьями, профессорами Мендиетой и Рикасенс-Сичесом из Мехико.

На конгрессе меня ждали еще три сюрприза. Доктор С. дель Кампо Урбано из Испании привез первые оттиски испанского издания моей «Динамики», спешно переплетенные для меня по заказу старого друга, известного профессора Мануэля Фрага Ирибарна из Мадридского университета, директора Испанского института политических исследований, недавно назначенного министром культуры в испанском правительстве. Второй сюрприз — письмо от Портера Саджента, издателя моей книги «Власть и нравственность» с копией только что подписанного контракта на издание моей книги в Японии. Третьим сюрпризом оказался экземпляр нового тайваньского издания книги «Современные социологиче-

ские теории», привезенный мне делегацией тайваньских социологов.

В общем, мы прекрасно провели пять дней в Вашингтоне и вернулись домой с новыми силами и идеями.

Эти примеры участия в различных научных конференциях после ухода на пенсию говорят, что активность моя осталась по крайней мере, прежней*. Поскольку участие в конференциях означало подготовку достаточно внушительных докладов, число моих научных работ такого рода после отставки даже возросло.

Коротко говоря, будучи почетным профессором, я был занят участием в научных конференциях даже больше, чем до ухода на пенсию. Именно такая деятельность требовалась мне в конце жизни, при условии, что мои занятия не уподоблялись «занятиям» из знаменитого изречения Лао-Цзы: «Бездействовать — лучше, чем быть занятым ничего не делая». Надеюсь, мне удавалось избегать такого «ничегонеделания».

СТРАНСТВУЮЩИЙ ЛЕКТОР

Другим направлением деятельности, которая несколько возросла после выхода на пенсию, были мои поездки по университетам и научным институтам с лекциями. И до отставки я получал значительное количество подобных предложений не только от американских и зарубежных университетов, но даже от правительств Индии и Западной Германии. За очень редким исключением, я обычно отклонял почти все такие приглашения. Основная причина такого поведения была проста: работая тихо и спокойно дома, своими публикациями и их переводами я общался с более широкой и более избранной аудиторией, чем та, на которую я мог бы рассчитывать, переезжая с места на место и читая одни и те же лекции в разных университетах.

После моего ухода на пенсию, по некоторым причинам число предложений постоянного профессорства, годичных или семестровых циклов лекций или небольших турне с одной или несколькими лекциями значительно возросло. Одно из первых предложений пришло от индонезийского правительства и Джакартского университета. Меня звали на два года в качестве профессора и организатора факультетов социологии в местных университетах. С благодарностью и извинениями я отклонил как это, так и многие последующие приглашения, продолжавшие приходить во всевозрастающих количествах. Принял я только несколько из них, предлагавшие короткие лекционные поездки на срок от одного дня до месяца. В отличие от длительных ангажементов, небольшие серии лекций, читаемые время от времени, вносили перемены,

* 7 апреля 1963 года я присутствовал на годичном собрании Восточного социологического общества в Нью-Йорке, где мне вручали почетную награду общества; и, уже читая верстку этой книги, я узнал, что меня выдвинули кандидатом на пост президента Американской социологической ассоциации[9].

отрывая меня от длительных периодов занятий дома, давали возможность посетить массу университетов, повидаться с профессорами и студентами, за счет принимающей стороны отдохнуть в мягком климате Флориды, Калифорнии или Техасе, насладиться вниманием аудитории, встретиться со старыми друзьями и, наконец, не в последнюю очередь для того, чтобы пополнить средства к существованию отставного профессора, которых вечно не хватало, хотя они и давали возможность мне жить не бедствуя, но и не шикуя. Вот по таким резонам после отставки я прочитал множество лекций в самых разных учебных заведениях, включая практически все вузы в Новой Англии, 12 колледжей и университетов в Калифорнии (за три недели), 10 в Джорджии, 8 в Вирджинии, курсы из шести лекций в Сент-Луисском, Буффальском и Пёдэ университетах, серии лекций на протяжении трех сезонов и университете Флориды, а также по одной или две лекции в университетах Принстонском, Пенсильванском, Корнелльском, штата Мичиган, Вэйнском государственном, Сиракузском, Джорджа Вашингтона и других, не говоря уже о лекциях, прочитанных в религиозных и культурных организациях.

Благодаря отличной организации моих лекций и переездов из колледжа в колледж усилиями межуниверситетских центров и администрации тех учебных заведений, где мне предстояло выступить, я смог прочитать десять лекций — по одной в каждом из десяти университетов Джорджии, — за пять дней; восемь лекций в колледжах Вирджинии за четыре дня и так далее. При таких компактных контрактах лекционные турне не отнимали много времени и сил. Я соглашался на трех или четырехнедельные турне только по университетам и колледжам штатов Флорида, Калифорния и Техас, что служило мне своего рода отпуском. Обычно я проводил в таких турне один из мерзких зимних месяцев штата Массачусетс.

В общем, подобные лекционные турне были в полном смысле наслаждением, отдыхом и источником впечатлений. Меня и жену принимали самым сердечным образом; лекции собирали большие аудитории и становились заметными событиями в повседневной жизни университетов и колледжей, которые мы посещали. И администрация, и профессора со студентами прилагали все силы, чтобы сделать наши поездки удобными и нескучными.

В Университете Флориды его президент Дж. У. Рейтц с супругой пригласили нас остановиться в их красивом особняке, а позже в замечательном коттедже для почетных гостей университета. Мой бывший ученик, а теперь ведущий специалист в сельской социологии и эксперт по Латинской Америке Т. Лынн Смит и его жена постарались, чтобы наше пребывание в Университете Флориды не было утомительным или бедным впечатлениями. Помимо прочего, Т. Лынн несколько раз возил нас на рыбалку на тропические речки, на Атлантическое побережье и к Мексиканскому заливу. Мы посетили многие исторические места и живописные уголки

Флориды. Теплое гостеприимство оказывали нам также и другие профессора, студенты и знатные жители Гэйнсвилля.

Точно так же нас встречали в государственном колледже Сан-Фернандо Вэлли[10], организаторы моих лекций в Калифорнии, а также в других университетах этого штата. Профессор Дж. Б. Форд, тоже мой бывший ученик, и госпожа Форд заполнили промежутки между лекциями и конференциями дружескими вечеринками. Президент колледжа Сан-Фернандо Вэлли господин Р. Прэйтор, деканы Д. Т. Овиатт и Л. Вольфсон, профессора и студенты были столь необычно гостеприимны, что присвоили мне почетное звание члена клуба выпускников этого колледжа. Такое же гостеприимство ждало нас в Университете Калифорнии в Санта-Барбаре, Университете Рэдлэндса, Калифорнийском технологическом институте, Государственном колледже города Лос-Анджелеса и других учебных заведениях.

Кроме вузов нас приглашали на званые обеды различные организации, связанные с искусством, религией и культурной деятельностью. Среди множества выдающихся личностей, кого я встретил там и кто особенно запомнился, были Олдос Хаксли и профессор Чарльз Макинтош с супругой, которые щедро помогли Центру созидающего альтруизма ощутимыми дотациями и советами. Наряду с интервью газетам, радио и телевидению лекции и встречи заполняли все дни нашего пребывания в Калифорнии.

До отставки я дважды читал лекции в Йельской школе богословия и Социологическом Клубе. В 1959 году меня пригласили посетить Йельский университет (приглашение пришло от совета преподавателей и сотрудников Пирсон Колледжа). Хозяин колледжа, профессор и выдающийся композитор Квинси Портер писал мне: «Ежегодно мы приглашаем человека, заслуженного в той или иной области, приехать и пожить у нас в колледже три дня. Идея состоит в том, чтобы наш гость мог неформально пообщаться с молодыми людьми и поучаствовать в одном или двух семинарах. Ранее к нам уже приезжали такие люди, как Арчибальд Мак-Лейш, Джеймс Рестон и профессор И. А. Ричардс из Гарварда».

Три дня, проведенные в Пирсон-колледже, оказались не только восхитительны сами по себе, но и заполнены лихорадочной деятельностью с раннего утра до позднего вечера. От меня требовалось столько неформальных бесед, выступлений экспромтом на семинарах и различных занятиях в университете, застольных разговоров за обедом, стаканом пива или на коктейлях, что к концу моего прибывания в Йеле я был совершенно вымотан физически. Несмотря на усталость, эти три дня запомнились мне как чрезвычайно интересные и плодотворные. Гостеприимство профессора Портера и преподавателей Пирсон Колледжа, особенно профессора Уэллса, поражало воображение.

Из Нью-Хэйвена мы поехали в Вашингтон, будучи приглашены

министром труда Дж. Митчеллом на ланч для обсуждения с ним и его помощниками по министерству ряда вопросов, а также для лекции после ланча перед сотней высших чиновников этого департамента.

В полдень следующего дня меня встречал в министерстве секретарь-помощник Митчелла Джордж Кэбот Лодж. Он приветствовал меня и сказал, что в годы учебы в Гарварде прослушал два моих курса. Я посочувствовал ему за зря потраченное время на моих лекциях.

— Что вы, эти лекции оказались самым значительным событием моей жизни в Гарварде.

Я не удержался и подковырнул его:

— Вижу, что, несмотря на молодость, вы уже овладели искусством дипломатии.

— Вовсе нет, я сказал то, что думаю.

Пока мы были заняты такого рода беседой, вошел министр Митчелл и пригласил нас в комнату с накрытым к ланчу столом. К несчастью, мне почти не удалось составить представление о качестве блюд: министр и его команда забросали меня таким количеством трудных вопросов, что и поесть было некогда. После обсуждения за столом все перешли в лекционный зал министерства, где я прочел лекцию и ответил на вопросы избранной аудитории, выступление перед которой само по себе для меня было наградой. Господин Митчелл, его ассистенты, да и аудитория в целом, произвели на меня большое впечатление. Они проявили приверженность выполнению стоящих перед ними задач, пытливый ум и компетентность.

Из Вашингтона мы поехали в Принстон, где я должен был выступить с лекцией для принстонских социологов, ученых-обществоведов и аспирантов. Ночевали мы в комфортабельном доме профессора Уилберта Мура, одного из моих бывших студентов, а ныне президента факультета социологии в Принстоне. Он и его супруга окружили нас теплой заботой и радушием. Во время коктейля в их доме меня приветствовали также мои студенты, профессора М. Леви и Э. Тириакиан и еще целый ряд ученых и аспирантов Принстона. После лекции началась оживленная дискуссия, затянувшаяся до позднего вечера. Утром мы сели в машину и поехали домой. Уставшие от лекционного тура, мы с радостью вернулись к своим трудам и привычному образу жизни.

Из других лекционных гастролей стоит упомянуть два эпизода. Мое выступление в университете Пенсильвании происходило в большом лекционном зале нового здания физического факультета. Внизу перед амфитеатром, где я читал лекцию, стоял длинный лабораторный стол с несколькими подведенными к нему водопроводными кранами. Аудитория была набита битком — явление обычное для моих выездных лекций. Перед лекцией мы с компанией ученых весело пообедали в доме нашего старого

друга профессора Дороти Томас. В послеобеденном настроении я начал и читал лекцию, пока не приступил к критике теорий Зигмунда Фрейда. Как раз в этот момент из одного крана раздалось громкое шипение. «Замолчи, Зигмунд! Держи в руках свое либидо!» — немедленно отреагировал я. Аудитория долго смеялась над моим замечанием «Фрейдову» призраку: по-видимому, будучи несколько возбужден, я случайно задел один из кранов, который и выпустил сжатый в системе труб воздух, что немало позабавило и меня, и моих слушателей.

Другой эпизод имел место на обеде перед лекцией в Колледже Мэри Вашингтон во Фредериксбурге, штат Вирджиния. За столом я сидел рядом с профессором Филиппом Дж. Олленом, с которым раньше не встречался. Во время разговоров о том о сем, среди прочего он упомянул о замысле начать серию книг об известных ныне здравствующих социологах и спросил, что я думаю об этом. Просто из вежливости я, естественно, одобрил идею, при условии, что она выполнима. На этом вопрос был исчерпан и вылетел из головы. Представьте себе мое удивление, когда я получил письмо от Оллена несколькими месяцами позднее! В нем профессор Оллен сообщал, что приступил к выполнению своего замысла и решил посвятить первый том серии Сорокину, что уже получил несколько статей от известных ученых и ожидает в скором времени поступления новых материалов для книги.

Короче говоря, книга Оллена, состоящая из эссе, посвященных анализу, оценке и критике моих теорий (более двадцати ученых Америки, Европы и Азии написали их), а также обстоятельных ответов, данных мною, была опубликована в феврале 1963 года издательством Университета Дюк под названием «Ревю Питирима А. Сорокина». Вот так из нескольких, незначительных, казалось бы, слов за обедом и родился, благодаря инициативе и труду профессора Оллена, этот солидный том. Подобные «сюрпризы» жизнь преподносила мне несколько раз.

Такой вкратце была моя «гастрольно»-лекционная деятельность после отставки. Хотя я соглашался лишь на малую часть предложений, все же видно, что мне не удалось, уйдя на пенсию, прекратить выступления. И что примечательно, предложения о лекциях шли все нарастающим потоком. Только в 1962 году я отклонил около тридцати приглашений от американских и зарубежных университетов. Такое внимание к моей персоне сердечно трогает меня, как, впрочем, и любого другого старика на восьмом десятке лет.

Мои сегодняшние разъезды напоминают об отрочестве, когда я несколько лет был странствующим ремесленником, переходя из села в село, малевал иконы, серебрил культовую утварь, белил и красил церкви, школы и крестьянские избы.

Мне нравились скитания моей юности и не меньше удовольствия я получаю от своих поездок теперь, на старости лет. В конце концов, судьба перекати-поля тоже имеет свои стороны.

«КАК ВОДИТСЯ, ПРОДОЛЖАЮ БУМАГОМАРАНИЕ»

Эта фраза — мой привычный ответ на вопросы, чем я занимаюсь в последние годы. Хотя с 1959 года мне довелось опубликовать только две сравнительно небольшие для меня книги, все же общий объем печатной продукции за 1960—1961 годы весьма внушителен. Если мои статьи опубликовать в виде книги, как, я надеюсь, и будет, они легко составят солидный том под условным названием «Эссе по интегральной социологии, психологии и философии». Если же к ним добавить различные ответы на критику, предисловия к книгам других авторов, введения, обзоры и особенно переиздания и переводы моих книг, то общий объем печатных трудов удовлетворил бы любого действующего ученого психосоциальных наук. По грубым прикидкам, четырнадцать солидных статей опубликованы с момента моего ухода на пенсию. Большинство из них уже переведены на один-два и больше иностранных языка. Выпущены новые издания книг «Социальная и культурная динамика», «Общество, культура и личность», «Социальная философия в век кризиса» и одиннадцать дополнительных переводов ранее опубликованных трудов, при этом общее число переводов достигло сорока двух, и еще несколько готовятся.

Учитывая, что все эти переводы выполнены исключительно иностранными учеными, издателями и научными организациями, без какой бы то ни было помощи со стороны американского правительства, фондов, университетов и т. п., мой, прямо скажем, рекорд представляется значительным и вселяет в меня уверенность в собственных силах. Более того, многие мои лекции также были записаны и используются в университетах, а две из них выпущены для образовательных и коммерческих целей библиотекой «Кэмпас лайбрэри».

В общем, «бумагомарание» продолжается.

Как водится, продолжается и «бумагомарание по поводу моего бумагомарательства». Обо мне пишут ученые, издатели и научные институты во многих странах. Кроме сотен научно-популярных материалов в газетах и журналах это — десятки научных статей, докторских диссертаций и книг о моих книгах.

Так что у меня нет причин жаловаться. Я — не забытый всеми человек и не «бывший» ученый. Если уж на то пошло, мир, похоже, уделяет моей «болтовне» много больше внимания, чем она того заслуживает. Что касается меня, то «бумагомарательство» вкупе с упомянутыми уже научными конференциями и лекционными турне позволяют мне сохранять творческую энергию и бодрость.

ПЕРЕПИСКА С ЗАГРАНИЦЕЙ И ВИЗИТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ

Три или четыре дня в неделю я провожу утренние часы, отвечая на письма, что идут ко мне со всех уголков земного шара от

самых разных людей. Обычно я диктую ответы моему секретарю — мисс Лейдон. Она стенографирует, а затем перепечатывает их. Если бы мне самому приходилось писать письма, то это занятие отняло бы все мое время. Письма (и вопросы в них) самые разные: от глупых и безумных до очень важных, написанных известными мыслителями, изобретателями, писателями, художниками, государственными мужами, бизнесменами, религиозными и культурными деятелями. Я не отвечаю на глупые или пустые письма. Из остальной почты стараюсь ответить всем, насколько хватает сил. Однако количество корреспонденции растет, отнимая все больше моего времени. Затраты времени оказались бы еще значительнее, читай я многочисленные статьи, брошюры и книги, которые шлют их авторы или издатели с просьбой дать оценку или рецензию. Слегка ухудшившееся зрение и усталость глаз дают достаточно оснований, чтобы отклонять эти просьбы, делая исключение для немногих, действительно важных работ.

Несмотря на отрицательные моменты, переписка помогает находиться в курсе всех основных течений современной мысли и «потайных пружин» исторического процесса. Обмен мнениями посредством писем часто превращается в плодотворный диалог с моими многочисленными корреспондентами. «Быть в курсе» помогают также дискуссии со многими выдающимися личностями, и американцами, и иностранцами, посещающими мой дом. Время, проведенное в продуктивном интеллектуальном общении, приносит больше удовольствия и просвещает лучше, чем присутствие на многих публичных дискуссиях посредственных, часто сомнительных «экспертов» в ходе различных научных форумов или прослушивание и просмотр радиотелевизионных образовательных программ.

БЕЗДЕЛЬНИЧАНИЕ

Активная деятельность, описанная мной, не должна создавать ложного впечатления, что я слишком загружен для «ничегонеделания» и рекреационных утех. На самом же деле, всю свою жизнь я был хроническим бездельником и энтузиастом *dolce far niente*. Это другая сторона даосского изречения: «Бездействовать лучше, чем быть занятым ничего не делая»[11]. Почти ежедневно я провожу пару часов после полудня за своими излюбленными занятиями, отдыхая от умственного труда: работаю в саду, стригу траву на лужайке, сражаюсь с зарослями вокруг летнего домика, гуляю, плаваю, ловлю рыбу и лазаю по горам. К ужасу моей жены, я все еще забираюсь на высокие деревья, если нужно обрезать ветви, все еще сам копаю ямы, сажаю и пересаживаю тяжелые кусты, валю большие стволы, разгребаю снег зимой и делаю много другой работы, требующей физических усилий.

Довольно часто я также бездельничаю, созерцая красивые закаты и восходы солнца, море во время штормов или штилей,

грозовые сполохи или тихие звездные ночи. На нашей даче каждое лето я забавляюсь дружбой с различными зверушками, обитающими в лесу по соседству: дикобразами, енотами, оленями и другими животными. Один дикобраз жил под полом нашей летней кухни несколько лет. Другой зверек, енот, ежедневно приходил за угощением, а после нежился на веранде коттеджа. Бедняга! Прошлой зимой он, похоже, попал в капкан и остался без лапы. Когда мы весной приехали на дачу, он приковылял к нам, облезший и истощенный. Но, однако, к концу лета на хороших харчах снова стал прекрасно выглядеть и чувствовал себя уверенно даже на трех лапах.

Что касается моих домашних развлечений, то помимо хороших романов главное хобби — это музыка. У меня отличная фонотека грамзаписей. В ней есть практически все значительные произведения великих музыкантов, которых я люблю, начиная с грегорианских песнопений и кончая шедеврами нынешнего столетия.

Несколько лет назад на Рождество сыновья подарили мне прекрасную радиолу. Я слушаю ее не только в минуты отдыха, но и достаточно регулярно во время занятий творчеством. Начиная работу, я обычно ставлю на проигрыватель несколько пластинок с записями струнных дуэтов, трио, квартетов и квинтетов или фортепианной музыки. Звук делаю не очень громким, а записи подбираю так, чтобы они не слишком диссонировали друг с другом, а затем, не напрягая внимания и слуха, погружаюсь в работу. Ложась спать, включаю радиоприемник у изголовья и слушаю классику, передаваемую по «хи-фи»[12] программам. Еще при жизни Кусевицких, когда мы были моложе, регулярно ходили на концерты Бостонского симфонического оркестра. Сейчас, когда Кусевицкие умерли, а мы состарились, потребность в музыке приходится удовлетворять, не выходя из дому и не тратя времени на поездку в Бостон или Кэмбридж. Но зато дома мы можем составлять программы прослушиваемых записей в соответствии с собственным настроением в данный момент.

В музыке, как и в других изящных искусствах, мои пристрастия широки, но консервативны. Мне нравится великая музыка XIV — начала XX столетий, но меня не слишком привлекают современные симфонические произведения. За некоторыми исключениями, я считаю их в большей мере какофонией, чем музыкой. Они ничего не говорят моему сердцу, ничего не будят в душе. Как социолог, я вынужден время от времени слушать их. Ведь они — зеркало нынешнего смятения умов, анархии стандартов, социальных антагонизмов и «культурных атональностей»[13]. Что до так называемой популярной музыки — джаза, спиричуэлс[14] и т. п. — я просто не выношу ее вульгарности, монотонии и отталкивающего звучания. Опять-таки, как социологу, мне время от времени приходится знакомиться с ней, но, как бы там ни было, мне глубоко жаль изобретателей разных музыкальных инструментов, детища которых так извращенно используют современные исполнители[15].

Сочувствую, кстати, и изобретателям радио и телевидения. Менее всего они предполагали, что дело их рук будет служить распространению пустых мыслей, безобразных жестокостей и вульгарности. Я пользуюсь этими замечательными изобретениями лишь для того, чтобы послушать новости, посмотреть хорошую телепостановку или документальные кадры о текущих событиях, о жизни животных, о путешествиях и дальних странах.

По тем же причинам я мало читаю популярные журналы или книги-«бестселлеры». Мой мозг не позволяет мне наслаждаться «интеллектуальной жевательной резинкой». Вместо того чтобы забивать голову миазмами бездуховной цивилизации, предпочитаю вечные ценности человеческой культуры. Откровенно говоря, я пресыщен господствующим культом безобразного и упором на негативное в современном искусстве. В не меньшей степени я устал и от нашей изобретательной занятости «ничегонеделанием». Культурная жизнь, похоже, состоит в основном из эффектных переливаний из пустого в порожнее и обратно. На здоровье, если кому-то нравятся такие манипуляции. Я же — слишком стар для подобных «культурных забав» и «цивилизованного досуга». Не посягая на право каждого сходить с ума по-своему, сам я решительно предпочитаю собственные старомодные способы отдыха и развлечений, которые заряжают меня энергией, дают интерес к жизни и чувство прекрасного.

ТУЧИ НАД МОЕЙ ЖИЗНЬЮ

Глава, которую я сейчас заканчиваю, описывает мою жизнь в почетной отставке. В целом она имеет свои приятные стороны. Конечно, как и в любой человеческой жизни, в ней есть печали, сомнения, разочарования. Я полной мерой испытал эти чувства в молодые годы, но и на старости лет они вернулись ко мне. Описывая свою жизнь на пенсии, я обошел их молчанием по причине, хорошо выраженной поговоркой «Держи свои беды при себе»[16]. К этому могу добавить философское утешение: как и облака в небе, тучи над нашей жизнью сгущаются и рассеиваются, приходят и уходят. Если трагические обстоятельства не разрушают цельность физического, умственного и нравственного облика человека, то они скорее обогащают его, чем наоборот. Изящная и гладкая жизнь, которой не коснулись трагедии, — мелка. Вот таким утешением себе я и завершу эту главу.

Глава семнадцатая.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОЙДЕННОМ ПУТИ

Путешествие по «Дальней дороге» я заключаю несколькими замечаниями. Рад, что имел возможность пройти по ней вместе с читателями, и глубоко благодарен всем, помогавшим мне в пути.

Я высоко ценю прошедшую жизнь, так что, повторяя слова Бенджамина Франклина, был бы не против прожить ее снова точно так же, а, если возможно, с небольшими поправками и уточнениями...

В то время как я пишу эти строки, в мире вокруг нас вот-вот разразится страшная гибельная буря. Сама судьба человечества балансирует на грани жизни и смерти. Силы уходящего в прошлое жестокого и неправедного социального порядка яростно сметают все, что противостоит ему. Во имя Бога, во имя ценностей прогресса и цивилизации, капитализма и коммунизма, демократии и свободы, во имя человеческого достоинства и под другими лозунгами они разрушают до основания сами эти ценности, убивая миллионы людей, угрожая выживанию человека как вида и ведя дело к превращению нашей планеты в «мерзость запустения»[1].

Лично я, с чисто эгоистической позиции, совершенно не напуган и не удивлен надвигающейся бурей. Худшее, что может произойти, — у меня отнимут или испортят последние годы жизни. Более ничем серьезно навредить мне невозможно. Для человека моего возраста не такая уж значительная разница, проживет ли он несколькими годами дольше в окружении множащихся болячек своего бренного тела или завтра его разнесет на куски какая-нибудь «цивилизованная и передовая в научном отношении» бомба. Разнесет в доказательство славы Имени Господа нашего либо за идею поголовного и полного счастья, которое столь бессовестно сулят и коммунизм, и капитализм, и демократия, и тоталитаризм, и все остальные бессмысленные культы и культики наших дней. И даже эта угроза компенсируется для меня тем, что, по крайней мере, последняя часть жизни будет волнующа и свободна от скуки монотонного доживания.

Я не только не напуган надвигающейся гибельной бурей, но и не удивлен ею: еще тридцать лет назад я правильно определил ее характер и предсказал неожиданный взрывной вариант развития подобной ситуации. С тех пор я постоянно предупреждал знакомых и друзей о подступающей опасности, настаивал на подготовке к ней, когда и где только было возможно, пытался предотвратить и смягчить возможные последствия катастрофы. Подобные же меры я принял и с целью защитить целостность моей личности и душевное равновесие.

Во-первых, дабы не быть вместе с теми, кто заваривает эту кашу, я отверг пустые ценности, ложные истины и напыщенные претензии существующих социальных порядков, умышленно противопоставив себя их мишуре, жажде быстрого, но непрочного успеха, их лицемерию, стремлению к власти и цивилизованному зверству.

Во-вторых, чтобы пройти сквозь хаос вакханалии бездуховности и не изменить себе, я создал собственное интегральное мировоззрение — целостную систему знаний и убеждений из ес-

тественных наук, религии, философии, социологии, психологии, этики, политики, экономики и изящных искусств. Это мировоззрение заменило мне остатки устаревшей и растерзанной эпохой философии эмпиризма и позитивизма.

Соединяющая в одно гармоничное целое универсальные и вечные ценности, имеющиеся как в материалистическом, так и в идеалистическом мировоззрении, и освобожденная от ложных ценностей каждого из них, интегральная точка зрения была для меня лучше любой другой. Воссоединивший в одном *summum bonum*[2] Верховную Троицу — Правду, Добро и Красоту, — интегрализм дал мне твердую основу для сохранения собственной цельности и мудро направлял меня в дебрях разлагающейся бездуховной цивилизации. Я не страдаю миссионерским зудом, чтобы обращать кого бы то ни было в «интегральную» веру, но не удивлюсь, если она сможет помочь многим, кто потерял себя в царящей в умах и нравственных принципах сумятице нашего времени.

В-третьих, желая смягчить последствия гибельной бури и предотвратить ее повторение в будущем, я начал исследования созидающей бескорыстной Любви. Вместе с созидающими Правдой и Красотой эти три ипостаси — единственные реальные силы, способные помочь в смягчении и предотвращении катастрофы.

Вот так, в трех направлениях, готовил я себя к встрече с той бурей, что вот-вот разразится в мире людей. Предпринятые мной шаги добавили мне сил, чтобы выстоять под ударами гибельной бури и спокойно встретить смерть.

К несчастью, я не могу сказать того же о бездуховной части человечества и ее лидерах. Они, похоже, не вполне еще осознали, ни в каком критическом положении мы находимся, ни того, что человек стоит перед бескомпромиссным выбором, предложенным ему то ли таинственным Провидением, то ли капризным случаем: погибнуть от своей собственной руки, от глупости и жестокости или подняться на более высокий уровень умственного, нравственного и социального развития при помощи конструктивной, созидающей и бескорыстной Любви.

Бездуховная элита Востока и Запада и большая часть всего человечества еще не сделали правильный выбор. Рожденные и воспитанные в декадентской атмосфере бездуховности, они все еще верят, живут и действуют согласно отжившим нормам этого распадающегося социально-культурного устройства. Вместо конструктивного созидания они продолжают бесплодные попытки решать проблемы бомбами и ракетами. Вместо того чтобы устранять конфликты, следуя наставлениям Нагорной проповеди, по-прежнему используются демонстрация силы, взаимное запугивание и истребление. Придерживаясь политики силы, эти могильщики человека и цивилизации растоптали все божеские и людские законы. Сейчас без зазрения совести они соперничают в подготовке «первого удара»[3] в междоусобной войне, которая унесет миллионы и миллионы жизней. Неудивительно, поэтому, что вмес-

то создания счастливой среды обитания «вожди слепые»[4] и их недалекие последователи ведут человечество от одной катастрофы к другой, пока не поставят его на край бесславной гибели. И если их не остановить, они положат конец жизни и созидающей миссии человека на этой планете.

Не уверен, но все же надеюсь, что конструктивный гений человека в последний гибельный час сумеет предотвратить *dies irae*[5] своего Страшного Суда. Если это удастся, я желаю удачи будущим поколениям, чтобы они выросли благороднее, мудрее и более способными к созиданию, чем мы. Если им удастся преодолеть главные слабости человеческой натуры и полностью реализовать все потенциальные возможности, они, без сомнения, установят на земле лучший межличностный, культурный и социальный порядок, чем смогли прошлые и нынешнее поколения людей. В этом смысле они выполнят предначертание Ницше[6]: «Современный человек — это стыд и позор, человек должен быть преодолен и превзойден»[7]. Я издали приветствую эти грядущие поколения, сверхчеловеков, отдаленных потомков нашей человеческой расы.

С болью за будущее и надеждой на человека я закончу мое повествование о дальней дороге, повторив здесь заключительные строки книги «Листки из русского дневника»:

> *Что бы ни случилось в будущем, я знаю теперь три вещи, которые сохраню в голове и сердце навсегда. Жизнь, даже самая тяжелая, — это лучшее сокровище в мире. Следование долгу — другое сокровище, делающее жизнь счастливой и дающее душе силы не изменять своим идеалам. Третья вещь, которую я познал, заключается в том, что жестокость, ненависть и несправедливость не могут и никогда не сумеют создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в материальном отношении.*

Приложение

Читателю предлагаются тексты статей, которых нет в оригинальном англоязычном издании автобиографии, но они упоминаются Сорокиным, а также в комментариях и примечаниях (расположены материалы в хронологическом порядке).

Послеоктябрьская публицистика Питирима Сорокина — свидетельство его яростного неприятия большевистского переворота — интересна не только сама по себе. Весьма любопытно проследить идейно-политическую эволюцию «неистового Питирима». Вслед двум статьям в газете «Воля народа» мы приводим его «покаянное» письмо в «Крестьянские и рабочие думы», а также редакционный комментарий газеты.

Следующий материал — речь Сорокина перед выпускниками и

студентами университета. Отказавшись от насильственных методов борьбы, он продолжал сражаться за умы и души молодежи, последней надежды России. Косвенным доказательством того большого резонанса, который вызвала эта речь, может служить, например, такой факт: ныне здравствующий В. Н. Пипуныров, девяностолетний зырянин, бывший в 1922 году в числе слушателей Сорокина, запомнил ее на всю жизнь. От него первого я и узнал об этой речи, когда несколько лет назад начал исследовать жизнь и творчество великого социолога. Интересно, что и сегодня слова П. А. Сорокина, произнесенные с кафедры в далеком 1922 году, не устарели. Они по-прежнему обращены к молодежи... Услышат ли его?

Последний материал — отчет о диспуте по магистерской диссертации П. А. Сорокина, в качестве каковой он представил на суд коллег «Систему социологии». Отчет был напечатан в журнале «Экономист» (№ 4—5, 1922), который издавался в Петрограде Русским техническим обществом тиражом 3 тыс. экземпляров. Анализ текста свидетельствует, что он подготовлен самим Сорокиным. Надеемся, что он заинтересует читателей и как биографический документ, и как образчик научных дискуссий тех лет. Стиль и орфография всех публикуемых материалов сохранены.

ПОБЕДИТЕЛЯМ

Прежде всего, вы гг. большевики, — лгуны, жалкие презренные лгуны. Съезда Советов нет, есть только сходбище большевиков. Вы лжете и говорите, что съезд есть. Это ложь номер первый.

Вы обращаетесь к стране от имени армии и солдат. Это ложь номер второй, ибо фронтовые делегаты ушли с вашего сходбища.

Вы обращаетесь к стране от имени крестьян и Совета крестьянских депутатов. Это ложь номер третий, ибо крестьян на съезде нет, и Советы крестьянских депутатов в съезде не участвуют.

Вы лгали бесстыдно все время. Вы обещали и обещаете народу хлеб, мир и свободу. Это новая великая ложь. Вместо хлеба — вы создаете голод. Скоро народ, лишенный хлеба, потребует его от вас. Что тогда скажете вы, жалкие лгуны, презренные авантюристы революции.

Мира вы не дадите. Послы союзных стран уже покидают Россию. Они не хотят даже разговаривать с вами. И правильно делают. Разве могут западные демократии говорить с лгунами и преступниками?

Теперь мы знаем и вашу свободу. Ваша свобода — это рабство. Ваша свобода хуже николаевского деспотизма.

Вы закрыли газеты, не только буржуазные, но и социалисти-

ческие. Вы наложили цепи на мысль и слово. И это вы называете свободой?

Вы захватили ряд типографий и рассыпали даже воззвание Центр⟨ального⟩ Ком⟨итета⟩ партии социал-революционеров.

Вы ввели цензуру более тупую, более суровую, чем цензура старого режима. Неужели же и это свобода!

Вы — грабители. Это второе ваше имя. Вы разграбили Зимний дворец, национальное достояние, изодрали редкие картины и растащили драгоценности.

Вы — пьяные илоты[1]. В трагические минуты революции что вы делаете? Добравшись до складов Зимнего дворца вы, как стая жадных псов, набрасываетесь на вина, напиваетесь и безумствуете в пьяном кошмаре.

Вы — просто негодяи. Ибо только отъявленные мерзавцы могут насиловать женщин. А вы это сделали. И не трудитесь обелять себя «опровержениями». Факты — неопровержимы, и вам никто не поверит.

Вы — убийцы. Убийцами вы были 3—5 июля. Убийцами являетесь и теперь. Не похоронены еще ваши жертвы. И кровь на вас. И клеймо убийц никакие силы не сотрут с вашего тупого лба.

Вы — предатели родины и революции. Предатели родины потому, что своими руками открываете путь полчищам германского императора. Предатели революции потому, что погубили и губите ее. Революция не с вами. Если бы вы были революционерами, почему же вся революционная демократия не с вами? С вами только — темные банды.

А все социалисты, все ответственные организации — против вас.

Они объединились в Комитете Спасения Революции и Родины. Они объявили борьбу с вами. И борьба эта — священна.

Вчера вашим лидерам не подали руки. Не подадут ее и завтра. Нельзя пожимать руки лгунов, тиранов, негодяев, грабителей и насильников.

Торжествуйте же, пока вы у власти. Гремят еще ваши барабаны. Горд и победен еще вид ваших вождей.

Вы еще можете отомстить ряду лиц. Но час вашего падения близок. Он наступает. Он неизбежен.

Страна пошлет вам проклятие. Проклятие пошлют вам и обманутые вами массы. И это проклятие — заслужено вами.

(«Воля народа». 1917, суббота 28 октября, № 156).

ВО ВЛАСТИ ПРЕТОРИАНЦЕВ

Опыт трех восстаний: бунта 3—5 июля, корниловщина и идущего к концу последнего мятежа большевиков, говорит нам, что Государство Российское попало в полосу преторианства. Этот факт является настоящим национальным бедствием. Само по себе сознательное участие армии в политической жизни, при ряде условий,

явление допустимое. Но от такого сознательного участия до преторианства расстояние огромное. Если бы части нашей армии, особенно тыловые, действительно сознательно участвовали в политической жизни, то мы не имели бы ни одного из этих восстаний.

Между тем история каждого из них говорит нам, что ни о какой сознательности войск, выходивших на улицу по зову большевиков или Корнилова, не может быть и речи. Во всех трех мятежах огромная масса выступавших солдат не отдавала и не отдает себе отчета, во имя чего она выступала и выступает. Относительно событий 3—5 июля этот факт установлен. Пишущий эти строки имел возможность лично убедиться в этом путем разговоров и споров с солдатами, осаждавшими Таврический дворец. В огромной своей части это были люди темные, не отдававшие себе отчета в том, чего они добиваются и против кого идут. Достаточно было нескольких выстрелов около дворца, произведенных ими же самими, чтобы в 2—5 минут они превратились из Савлов в Павлов[3], из нападающих на Таврический дворец в его защитников.

То же повторилось и в корниловские дни. Достаточно было объяснить дикой дивизии подлинные намерения их предводителей, — чтобы мираж восстания рассеялся.

То же, наконец, мы наблюдаем и в эти дни. Несомненно, и здесь есть маленькая горсть сознательных заговорщиков. Но подавляющая масса солдат, принимавших участие в восстании, — не отдавала себе отчета, что она делает.

Мне самому пришлось говорить с рядом солдат — участников переворота. На поставленный им вопрос, за кого они: за Врем⟨енное⟩ ли Правительство или за большевиков, они отвечали: «не знаем; поставили и стоим. Приказали выйти — и вышли». Прекрасным подтверждением сказанного служит тот факт, что даже матросы, наиболее активные участники заговора, и те, как показывает их делегация в город⟨скую⟩ думу, не знали истинного положения дел и громили дворец[4], не ведая, что они творят.

Такое обстоятельство заслуживает самого серьезного внимания общества. Судьбы государства у нас начинают определяться волею двух-трех полков, темных и невежественных, руководимых ловкими демагогами. Мы дошли до такого положения дел, когда из-за каждого пустяка люди берутся за оружие и выходят совершать государственный переворот по самому ничтожному поводу. И что всего хуже, выходящие вооруженные банды не только демонстрируют, но, не задумываясь, начинают убивать и расстреливать всех без разбора.

Легко понять социальную опасность таких явлений. Жизнь сотен и тысяч людей, судьба народа и государства оказываются отданными во власть небольшой банды солдат и матросов. Последние же, по-видимому, не прочь признать за собой право низвергать и воссоздавать власть и определять социально-политический строй государства.

Такой «преторианский демократизм» есть возврат к временам варварства и далее терпим быть не может. Он развращает солдатские массы, он опасен стране, он уже вызвал тысячи невинных жертв, он превращает части армии из защитников Родины — в банду заговорщиков, убийц и грабителей, наводящих ужас на своих сограждан. Он, наконец, вызывает такие преступления, которые позорят русскую революцию и всю революционную демократию.

Пора покончить с таким преторианством. Пора самим солдатам понять всю недопустимость таких выступлений.

Так или иначе, — но российскому преторианству должен быть положен конец.

Оно даже нетерпимо, оно гибельно.

(«Воля народа», 1917, № 157, 29 октября, воскресенье, с. 1)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «КРЕСТЬЯНСКИЕ И РАБОЧИЕ ДУМЫ»

Сим довожу до сведения граждан избирателей Вологодской и Северо-Двинской губернии членов партии — с-р, что я: 1) отказываюсь от звания члена Учредит⟨ельного⟩ собрания и всех прав и обязанностей, связанных с этим званием. 2) выхожу из состава партии соц⟨иалистов⟩-революционеров.

Основные мотивы, побуждавшие меня к этому шагу, таковы: 1) ввиду резко изменившихся, со времени выборов в Учред⟨ительное⟩ собрание политических и социальных условий страны, а равно и политического настроения народа, я не могу считать себя правильным выразителем воли народа. 2) ввиду того же обстоятельства и чрезвычайной сложности современного внутригосударственного положения я затрудняюсь не только другим, но и самому себе указывать спасительные политические рецепты и брать на себя ответственное дело политического руководительства и представительства народных масс.

При таких условиях каждый честный общественный деятель обязан сделать для себя надлежащий вывод, а именно: обязан отказаться от политики и прав и обязанностей политического работника. Этот отвод настоящим письмом я и делаю.

Сказанное объясняет и мой выход из партии соц⟨иалистов⟩-революционеров, раз я отказываюсь от всякой политической деятельности, то, естественно, я не могу состоять ни в какой политической партии, с одной стороны, числиться в партии мертвой единицей, с другой нести ответственность за ее политику.

К этим общественно-политическим мотивам должен еще присоединить мотив личного характера. Он состоит в моем горячем желании вернуться к прерванной чисто научной работе и к работе по культурному просвещению народа. Истекший год революции научил меня одной простой истине: политики могут ошибаться, политика может быть общественно полезной, но и может быть

общественно вредной, работа же в области науки и народного просвещения — всегда полезна и всегда нужна народу, в особенности же в эпохи коренного переустройства всей государственной и общественной жизни.

Этой работе, от которой на год с лишним я был оторван событиями и которую считал делом всей жизни, я и отдаю отныне все свои слабые силы.

Прив⟨ат⟩-доц⟨ент⟩ Петроградского Университета и Психоневрологического Института, бывший член Учред⟨ительного⟩ Собрания и бывший член партии с⟨оциалистов⟩-революционеров Питирим СОРОКИН.

От редакции: помещая письмо гр. Сорокина, обращаем внимание товарищей на целый ряд соглашательских перлов, щедро рассыпанных в этом письме.

1). Гр. Сорокин не считает себя «правильным выразителем воли народа в силу изменившихся условий страны». Очевидно, гр. Сорокин все же считает, что он был выразителем воли народа, что Учредительное собрание было органом выявлений народных стремлений. Ясно, что гр. Сорокин не отказывается от идеи Учредительного собрания.

2). Моменты жесточайшей схватки трудовых масс с капиталом гр. Сорокин определяет лишь как чрезвычайное сложное внутреннее и международное положение страны. Но раскаявшийся соглашатель не хочет видеть в диктатуре пролетариата смертный приговор его партии.

Соглашатель хочет скрываться за бюст не партийной науки, в храме народного просвещения. Гр. Сорокин заявляет, что не может состоять ни в какой политической партии.

Мы говорим гражданину Сорокину: «Вы хотите укрыться, не сознавши⟨сь⟩ в ваших ошибках. Двери науки закрыты для тех, кто жалким лепетом о своей партийности, не хочет помочь революционному пролетариату. Наука не нуждается в таких «тружениках».

(«Крестьянские и рабочие думы»
(орган Губсевдвинисполкома) 1922, 29 октября.)

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДОРОГУ

(РЕЧЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ В ДЕНЬ 103-Й ГОДОВЩИНЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 21 ФЕВРАЛЯ 1922 Г.)

Сегодняшняя годовщина Петроградского университета знаменательна не только тем, что она 103-я годовщина, но и тем, что она совпадает с моментом величайшего катаклизма в истории человечества и нашей родины. В результате войны и революции на-

ше отечество лежит в развалинах. Великая Русская Равнина стала великим кладбищем, где смерть пожинает великую жатву, где люди едят друг друга.

Задача возрождения России падает на ваши плечи, задача — бесконечно трудная и тяжелая. Сумеете ли вы выполнить ее? Сможете ли выдержать этот экзамен истории? Огромная трудность ее усугубляется еще тем, что вы оказались на великом распутье, без путей, дорог и спасительного плана. «Отцы» ваши не могут помочь вам: они сами оказались банкротами: их опыт, в форме традиционного мировоззрения русской интеллигенции, оказался недостаточным, иначе трагедии бы не было. От берега этого мировоззрения волей-неволей приходится вам оттолкнуться: он не спас нас, не спасет и вас. Он надолго исчез в зареве войн, грохоте революции и в темной бездне могил, все растущих и умножающихся на русской равнине. Если не мы сами, так эти могилы вопиют о неполноте опыта «отцов» и ошибочности их патентованных спасительных рецептов.

Но раз старые пути негодны, где же новые? Есть ли они у вас? Если есть — продуманы и осознаны ли? Боюсь, что нет. Мы сейчас похожи на людей, ошарашенных ударом дубины, заблудившихся и ищущих, страстно и горячо, до боли, до исступления — нужного до смерти выхода? Ищем, тычемся туда и сюда, подобно слепым щенятам, но темно кругом. А история не ждет, она ставит ультиматум; бьет грозное: *memento mori*[5], бьет двенадцатый час нашей судьбы и решается наше: быть или не быть.

В таких условиях вы поймете меня и не найдете нетактичным, если я позволю наметить некоторые «вехи» того пути, по которому, с моей точки зрения — возможно ошибочной, возможно, близорукой, — мы должны двинуться в дальнейшее историческое странствие. Это даже не вехи, а скорее указание на то, чем мы должны запастись, пускаясь в этот темный путь, чтобы выбраться вновь на светлую дорогу жизни и живой истории из мрачных бездн долины Смерти.

Первое, что вы должны взять с собой в дорогу, — это знание, это чистую науку, обязательную для всех, кроме дураков, не лакействующую ни перед кем и не склоняющую покорно главу пред чем бы то ни было; науку, точную, как проверенный компас, безошибочно указывающую, где Истина и где Заблуждение. Берите ее в максимально большом количестве. Без нее вам не выбраться на широкий путь истории. Но не берите суррогатов науки, тех ловко подделанных под нее псевдознаний, заблуждений, то «буржуазных», то «пролетарских», которые в изобилии преподносят вам тьмы фальсификаторов. Опыт и логика — вот те реактивы, которые помогут вам отличить одно от другого. Иных судей здесь нет. Вашим девизом в этом отношении должен служить завет Карлейля[6]: «Истина! хотя бы небеса раздавили меня за нее! Ни малейшей фальши! хотя бы за отступничество сулили все блаженства рая!»

Второе, что вы должны взять с собой, это любовь и волю к производительному труду — тяжелому, упорному, умственному и физическому. Времена «сладкого ничегонеделанья»[7] — *dolce far niente* — кончились. Мир — не зал для праздношатающихся, а великая мастерская, и человек — не мешок для переваривания пищи и пустого прожигания жизни, а прежде всего — творец и созидатель.

История не терпела и в прошлом праздных тунеядцев: рано или поздно она сбрасывала их в кучу ненужных отбросов. Тем более не терпит их она теперь и особенно среди нас: «не трудящийся, да не ест», — таков ее жестокий и безусловный ультиматум. Дорога предстоит бесконечно тяжелая. Только знание и труд, вместе взятые, могут преодолеть ее. Каждое из этих сокровищ, порознь взятое, — знание без труда или труд неумелый и слепой, — не спасут вас.

Но мало и этого. Нужно запастись вам еще и другими ценностями. В ряду их на первом месте стоит то, что я называю религиозным отношением к жизни. Мир — не только мастерская, но и величайший храм, где всякое существо и прежде всего всякий человек — луч божественного, неприкосновенная святыня. *Homo homini deus* (а не *lupus) est*[8] — вот что должно служить нашим девизом. Нарушение его, а тем более замена его противоположным заветом, заветом зверской борьбы, волчьей грызни друг с другом, заветом злобы ненависти и насилия не проходило никогда даром ни для победителя, ни для побежденных. Оправдалось это и в наши годы. Что выиграло человечество от войны? Что пожинаем мы от своей ненависти и кровавого пира? Ничего, кроме жатвы смерти, горя и океана страданий. Распиная других, мы распинаем себя. Так случилось теперь, так было и в прошлом. Пора это усвоить. Пора усвоить и другое: одно насилие никогда не ускоряет движение к далеким вершинам идеального. Вместо ускорения оно лишь замедляет его. Примером в нашей истории может служить эпоха Петра, не давшая ничего, кроме пышного фасада, закрепостившая сильнее народ и погрузившая его на полтора столетия в бездну невежества и бесправия. То же случилось и с нами: поспешив, мы очутились не в 22 столетии, а в 18 веке. Мало того, Тэн[9] прав, говоря: ни одно из хороших социальных жилищ не было выстроено сразу, по полном разрушении старого и по абсолютно новому, выданному искусным архитектором плану. Каждое из них, напр⟨имер⟩, английское общество, воздвигалось вокруг первичного, массивного ядра и опиралось на него; лишь постепенно и исподволь к нему делались пристройки и вводились изменения. Словом, хорошо и прочно строится лишь то, что строится исподволь и постепенно, а не «по щучьему велению», не путем конвульсивных и смелых разрушений старого дочиста. Подобно французскому народу в прошлом столетии, мы забывали эту истину. И платились, и платимся за ее забвение. Это обстоятельство диктует нам внимательнее оглянуться на наше

прошлое. Заботливое рассмотрение его показывает нам, что много хорошего было и в Московском государстве, и в России, попираемой ботфортами Петра. Не мало его было и более близком прошлом. Пора оценить это ценное, заботливо поднять его семена и оживить силою мысли и напряженного труда. Выполнение этой задачи означает восстановление, сохранение и улучшение нашего национального лица. Этот термин и эта задача так были запачканы в прошлом, что мешали нас рассмотреть то здоровое, что было и есть в желании иметь среди других народов истории свое национальное лицо, свои оригинальные черты и свое право на место и роль в великой драме истории. Теперь, когда история грозит нас обезличить, когда другие народы готовы исключить нас из числа главных действующих лиц и перевести нас на роль простых статистов, мы начинаем понимать великую ценность национального лица.

Если для каждого из нас иметь свое лицо лучше, чем быть безличным, то тоже относится и к целому народу. Пора понять, что всякая попытка отказаться от своего лица приводит либо к безличности, либо к искажению этого лица и к превращению его в истоптанный каблуками прохожих, бесформенный кусок мяса, с синяками, порезами и ранами. Если мы не хотим этого, пора отказаться от «чурания себя», пора исправить этот грех наших отцов. Нужно это сделать и потому, что международное братство мыслится не как братство безличных общественных организмов, а как братство народов, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ групп с определенным лицом, а не с гладким пустым местом. Мало того. Этот завет диктуется и мотивом, гласящим: «иди к униженным, иди к обиженным»[10]. Есть ли сейчас на земле другой народ, более обнищалый, более голодный, более несчастный, более эксплуатируемый, чем наш родной, великий — даже в своем несчастье — русский народ? А раз так, то наша обязанность всячески помочь сохранить ему его тело, его жизнь, его душу, его «лицо» и остатки его исторического достояния и богатств. Быть может, последнее нельзя спасти — уже поздно, — но спасти жизнь, душу и «лицо» это спасти главное: достояние и богатство — дело наживное.

Отправляясь в путь, запаситесь далее совестью, моральными богатствами. Не о высоких словах я говорю: они дешевы и никогда в таком изобилии не вращались на житейской бирже, как теперь, а говорю о моральных поступках, о нравственном поведении и делах. Это гораздо труднее, но это нужно сделать, ибо я не знаю ни одного великого народа, не имеющего здоровой морали в действиях. Иначе... смердяковщина и шигалевщина потопят вас[11]... Иначе вы будете иметь ту вакханалию зверства, хищничества, мошенничества, взяточничества, обмана, лжи, спекуляции, бессовестности, тот «шакализм», в котором мы сейчас захлебываемся и задыхаемся.

Придется подумать вам и о том, кого взять с собой в спутники и руководители. Настало время от ряда былых спутников отка-

заться: они завели нас в пропасть. Я бы взял в качестве таковых таких лиц, как Нил Сорский[12], Сергий Радонежский[13] — носители идеала старца Зосимы[14]; как Толстой и Достоевский. Такие «спутники», по моему мнению, не обманут.

Позволю обратить ваше внимание и еще на один факт: на семью. Вы знаете, что она разлагается. Но должны знать и то, что без здоровой семьи невозможно здоровое общество. Слишком далеко зашел здесь развал и духовный, и биологический, через половые болезни ускоряющий вымирание и вырождение русского народа. Пора остановить это бедствие. Оздоровление семьи, улучшение ее организации в том направлении, чтобы она, как первый скульптор, лепящий *socius'a*[15], создавала индивидуальность, чуждую и эгоистического шакализма и невежества слепой стадности.

Таковы те главные ценности, которыми вы, с моей — быть может, весьма несуразной — точки зрения, должны запастись, пускаясь в великий путь и подготовляясь к великому экзамену. Я не знаю, выдержите ли вы это тягчайшее из тяжких испытаний. Но надеюсь, что «Сим победиши». Хочу верить и всем сердцем желаю вам полного успеха. Ваш успех будет означать спасение 100-миллионного народа от физической и духовной смерти.

(«Утренники», Пг., 1922. Кн. 1. С. 10—13.)

ДИСПУТ ПРОФ⟨ЕССОРА⟩ П. А. СОРОКИНА

22 апреля в физической аудитории Петербургского университета состоялся под председательствованием проф. И. М. Гревса диспут о двухтомном труде проф. П. А. Сорокина «Система социологии» (изд. «Колос», 1920 г.). Краткие биографические сведения и диспутанте, оглашенные в начале заседания, таковы: родился П. А. в 1889 г., отец его рабочий, мать — крестьянка, учился сначала в Гамской 2-классной школе, затем в учительской семинарии, экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости, поступил в Психоневрологический институт, где пробыл год, а затем учился в Петербургском университете, каковой окончил в 1914 г., будучи оставлен для подготовки к профессорскому званию при кафедре уголовного права. С 1915 г. был преподавателем в Психоневрологическом институте. В 1916 г. сдает магистерские экзамены. С 1917 г. — пр.-доцент Петербургского университета, а с 1920 г. — профессор по кафедре социологии.

Первый крупный ученый труд П. А. Сорокина — «Преступление и кара. Подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали». Изд. Долбышева. СПБ., 1914 г. стр. L + 453, — представляет из себя его еще студенческую дипломную работу. До настоящего времени им напечатано около 38 различных статей, более 100 рефератов в различных периодических изданиях и следующие большие труды: «Элемен-

тарный учебник общей теории и права», Ярославль, 1920 г.; «Общедоступный учебник социологии», Яросл., 1920; представленная к защите «Система социологии» и печатающаяся в изд. «Колос» книга «Голод как фактор в истории и социологии».

Диспут открылся вступительным словом П. А. Сорокина, при большом стечении академической публики — профессуры и студенчества. В этом вступительном слове диспутант отмечает, что работа социологов распадается на две одинаково важные и существенные части: 1) на детальное и подробное исследование отдельных, относящихся к области социологии вопросов и 2) на построение цельных социологических систем. Если бы не существовало таких цельных систем, дающих возможность объединения, систематизации и классифицирования накопленного материала, то даже при наличии высоких по своим качествам исследований отдельных предметов, мы имели бы только разрозненные сведения, без их обобщения, наподобие вырванных из книги страниц. С другой стороны, и отсутствие монографических исследований сильно вредило бы прогрессу знания. Хотя эти истины известны уже давно, но тем не менее современное состояние социологии сильно отличается от прежнего. Более тщательная и углубленная разработка социологического материала привела к тому, что там, где прежде были общие, подчас малообоснованные утверждения, мы в настоящее время имеем точные и детализированные законы — теоремы, выраженные подчас не только с качественной стороны, но и со стороны количественной, на «языке богов», т. е. в цифрах. И чем дальше, тем больше растет такая детализация и углубление методов.

Что касается до построения цельного корпуса, то и здесь, благодаря монографическому исследованию частностей, является постоянно необходимость добавлять к старому зданию новые и новые постройки, добавочные флигеля, что, в свою очередь, ведет к усложнению архитектоники. Кроме того, есть разница и в содержании, так как отходит в область прошлого стремление с помощью одного ключа раскрыть все тайны, т. е. социологический монизм. В представленной на обсуждение работе и намечены эти два пути, а потому руководящими научными принципами являются: 1). В методологической части, согласно новейшему communis doctorum opinio[16], социология должна пользоваться естественнонаучными методами, поэтому старое противопоставление наук о духе — наукам о природе должно быть отвергнуто[17].

2). Задачей социолога является описание подведомственных ему явлений и установление между ними функционально-корреляционной связи. 3). Никакая оценка не может быть допущена; всякий нормативизм должен быть изгнан. 4). Объект социологии должен быть транссубъективным и вещественным; таковым является поведение людей. 5). Отсюда вытекает тенденция к пользованию объективным методом в смысле устранения психологизма[18]. Этим, конечно, не исключается субъективная (психологическая)

сторона и интроспективный метод[19], но они отходят на второй план и, помимо того, должны в своем изучении связываться с методом трансубъективным.

При выполнении задачи построения цельного корпуса необходимо признать узость старого деления социологии на статику и динамику[20], из коих первая вообще существовала в виде отдела социологии только номинально и заполнялась случайным содержанием. Исправить эту погрешность и пытаются обсуждаемые 2 тома социологии. Но и в динамике проблема поставлена слишком узко, так как все силы ученых до сего времени расходовались на открытие и установление эволюционных законов развития неповторяющегося процесса: повторяемые во времени и пространстве социальные процессы почему-то игнорировались и не изучались. Этот пробел должен быть заполнен в следующих томах системы, в социальной механике: в 1-й части ее изучаются явления повторяемые, во 2-й — неповторяемые; без изучения повторяемых явлений и само открытие эволюционных законов едва ли возможно. И здесь должны быть устранены упрощенные теории, монизм, так как простота и легкость объяснения процессов возможны только в Шехерезаде, но отнюдь не в науке. Это положение в равной степени применимо и к статике, где тоже надо прекратить попытки к расслоению агрегатов по одной линии: партийной, религиозной, национальной, государственной, классовой, расовой и т. д.

Первый официальный оппонент проф. К. М. Тахтарев, указывая на научную ценность и продуманность труда П. А. Сорокина, горячо приветствуя его появление, останавливается на своих разногласиях с диспутантом, и в частности, с последними словами его вступительной речи.

Первый недостаток работы, говорит К. М. Тахтарев, состоит в ее недостаточной социологичности. Задача состоит в выяснении закономерных соотношений между социальными явлениями, поэтому изучение взаимодействия и поведения людей будет скорее относиться к психологии или к этике, чем к социологии, так как эти последние также основаны на понятии взаимодействия. Социология должна изучать *соотношения* тех явлений, которые представляют из себя предмет изучения отдельных гуманитарных наук. Изгнание понятия «общества» из социологии и замена его понятием «коллективного единства», а этого последнего понятием «взаимодействия», ведет к тому, что мы должны будем признать обществом, а потому и предметом социологии взаимодействие волков и овец, муравьев и находимых у них в муравейниках вшей и т. д. Это совершенно неверный подход к делу.

Если мы обратимся теперь ко 2-й части «Системы», то, несмотря также на ее талантливость и ценность, надо признать, что и она недостаточно социологична. Большая заслуга диспутанта в детализации отдельных положений и установлении зависимости поведения индивида от тех групп, в которые он входит, как выражается диспутант, абонентом. Но и здесь имеются различные

пробелы вроде того, что проф. Сорокин указывает как на одну разновидность групп — на группы антагонистические. Признак антагонизма никоим образом не может служить fundamentum divisionis[21], так как в указанном случае мы будем иметь не одну группу, а антагонизирующие друг с другом две группы. В представленных к диспуту тезисах также неустранимое противоречие: один из них (17-й) требует изгнания из социологии монизма, а следующий (18-й) вводит монизм, так как в нем указывается, что голод как фактор влияет и на поведение людей, и на изменение социального устройства, и на убеждения socius'ов и т. д. Неверным представляется и путь, по которому идет проф. Сорокин под сильным влиянием behavior'изма[22], который в сущности представляет из себя разновидность психологической школы, хотелось бы, чтобы диспутант поскорее освободился от этого влияния и стал на чисто социологическую почву.

В заключение оппонент еще раз подчеркивает талантливость обсуждаемой работы, ее искренность, безбоязненность и смелость искания истины.

П. А. Сорокин, благодаря К. М. Тахтарева за лестный отзыв о книге и ее разбор, заявляет о невозможности соглашаться с возражениями. Относительно несоциологичности его системы он указывает, что устраняемое им понятие «общества» является настолько расплывчатым и туманным, что никак не может оказать помощи социологу, вреда же может причинить сколько угодно. Несоциологичность, якобы следующая из стремления подчинить социологию другим наукам, в частности биологии, таковой не является, так как и науки о мире органическом ничуть не стесняются обосновываться на науках о мире неорганическом, так биология черпает очень много из химии и физики и т. д. Разница между этикой и социологией совершенно очевидна, так как социология изучает «сущее», а этика указывает рецептуру «должного». Разница между психологией и социологией также совершенно отчетливо выражена в 1-м томе системы. Возражения, сделанные против признания антагонистической группы за особую разновидность, несостоятельны, так как это относится не к группам элементарным, а к группам кумулятивным[23]. Так, в настоящее время в такой группе, как кумуляция подданных РСФСР и православно верующих, представляющей из себя несомненное единство, мы имеем в то же время и сильный антагонизм, хотя бы по вопросу об изъятии церковных ценностей. Указанное противоречие между словами § 17 и § 18 тезисов противоречием вовсе не является, так как в § 18 не говорится о том, что голод есть единственный, все объясняющий и все производящий фактор, а говорится, что он является «одним из важнейших факторов». Поэтому упреки в монизме неосновательны.

Следующим официальным оппонентом выступал проф. Н. И. Кареев, также начавший с похвал диспутанту в его работе и с заявления, что работа представляет собою ценный вклад в науку,

что он многому от нее поучился, много почерпнул для себя новых данных, особенно об новейшем течении социологии — behavior'изме — и т. д. Переходя к возражениям, проф. Кареев прежде всего отмечает чрезвычайную размашистость труда, которая даже дает ему возможность применить к диспутанту характеристику: «раззудись плечо, размахнись рука», — и видит в этом, наряду с большим количеством чисто публицистических мест, один из существенных недостатков книги. Далее жестоким нападкам со стороны оппонента подвергается behavior'истическая позиция П. А. Сорокина, его стремление порвать с психологизмом, желание работать с помощью одних только объективных методов и то неуклонное развитие в данном направлении, которого он придерживается. Как особенная заслуга П. А. Сорокина и самой ценной частью его работы является, по мнению проф. Н. И. Кареева, разработка и изучение статики, с большинством положений которой он вполне согласен. Так, он считает совершенно правильным упразднение термина «общества» в его органическом виде, хотя находит, что необходимо его сохранить под иным названием, так как понятие населения для этой цели совершенно не подходит. (Оно есть простая сумма индивидов.)

Совершенно недопустимым считает оппонент злобное отношение диспутанта к философии, этике и т. д. и желание обособиться от них в своей работе. Неправильным является и упразднение проблемы о взаимоотношениях между личностью и обществом.

Заканчивает свое выступление проф. Н. И. Кареев словами, что хотя П. А. Сорокин и находится на верном пути, но он часто сбивается с него на одну глухую тропинку, которая может завести его в дебри, имя этой тропинки — behavior'изм.

П. А. Сорокин в своих ответах оппоненту указывает, что размашистость труда и в связи с этим некоторая его неразработанность отмечены им самим в предисловии к 1-му тому и что это объясняется исключительно условиями переживаемого времени[1]. Некоторая доза публицистики объясняется также отчасти указанным обстоятельством.

Что касается до вопроса о правильности его behavior'истической и объективистической позиции, то диспутант указывает, что в настоящее время и среди психологов замечается этот поворот, тем более он обязателен для социолога. Некоторая утрированность этого метода и его односторонность полезны в настоящее время, когда ему еще приходится бороться со своими врагами, но, несомненно, впоследствии отпадут от него. Диспутант не согласен с замечанием проф. Н. И. Кареева, что понятие «общества» надо сохранить, хотя бы под другим термином, потому что оно ничего из себя для науки не представляет. Злобное якобы отношение к философии относится совсем не к ней, а только к дурному философствованию, к умозрительности в социологии, каковая кроме вреда ничего не причиняла. Проблема «личности

[1] Книга писалась в 1918—1919 гг.

и общества» совершенно логически отпадает за отрицанием существования общества, но по отношению к отдельным социальным группам такая проблема остается.

Следующим официальным оппонентом выступал проф. И. И. Лапшин, который прежде всего отметил, что хотя П. А. Сорокин и против философствования, но в своем труде он такового не избежал, так как сам является сторонником материалистического монизма в своем стремлении свести психические процессы к физико-химическим и выражении надежд, что это со временем и будет достигнуто наукой. Behavior'истическая позиция неправильна потому, что доведенный до логических пределов behavior'изм сам себя хоронит. Единственно в виде чего он может быть допущен — это в виде известного методологического приема, и тогда он принесет известную пользу. Совершенно напрасно диспутант полагает, что восприятие чужой психики основывается на умозаключениях по аналогии или интуиции; оно основывается на эмоциональном взаимозаражении. Устанавливаемая проф. П. А. Сорокиным «мозаичность», «множественность душ» вовсе не представляет собою чего-либо нового. Эта концепция довольно старая. Заканчивая свои возражения, Иван Иванович Лапшин присоединяется к мнению предыдущих оппонентов о ценности и талантливости обсуждаемой работы.

В своем ответе диспутант, отметая в сторону упреки в материализме, как неправильные, сосредоточивается преимущественно на вопросе о behavior'изме и говорит, что если проф. Ив. Ив. Лапшин допускает объективизм как методологический прием, то и он в свою очередь допускает в качестве методологического приема — субъективизм. Неправильным он находит положение о самоуничтожении behavior'изма при его логическом продолжении. В заключение диспутант благодарит Ив. Ив. Лапшина за разбор его книги.

Из неофициальных оппонентов выступали проф. Н. А. Гредескул и пр.-доц. С. И. Тхоржевский, которые, в общем присоединяясь к предыдущим оппонентам в положительной оценке труда П. А. С., останавливались на некоторых разногласиях с ним.

Ввиду отмены в настоящее время ученых степеней и невозможности присудить диспутанту степень магистра, диспут закончился заявлением проф. И. М. Гревса о единогласном признании Историческим исследовательским институтом работы удовлетворительной, и таким образом косвенным путем цель диспута была достигнута. Многочисленная публика наградила диспутанта долго не смолкаемыми аплодисментами.

(«Экономист». 1922. № 4—5. С. 277—280.)

Комментарии и примечания

В основу настоящего издания положена единственная американская публикация на английском языке: *Pitirim A. Sorokin. A Long Journey. New Haven, 1963.* Текст автобиографии переведен полностью и без каких-либо изменений и сокращений. В книге сохранены также все авторские неточности, ошибки или небрежности, последнее особенно касается написания имен собственных: в одних случаях Сорокин приводит инициалы, в других только имя и фамилию, в третьих — одну фамилию. Не изменяя авторского текста, мы в необходимых случаях снабжаем его примечаниями и комментариями. Определенные коррективы внесены лишь в использование кавычек, поскольку Сорокин часто употреблял их, чтобы выделить чужеродные для американского языка слова, описывающие русские реалии. Что касается фактических ошибок и неточностей, то надо учитывать: Сорокин писал историю своей жизни на восьмом десятке лет, кое-что он мог просто запамятовать. Однако в ряде случаев можно предположить и авторский умысел, что также оговорено в комментариях. Наконец, мы посчитали необходимым снабдить примечаниями некоторые сугубо научные термины, которые Сорокин употреблял как социолог, и факты или события, малоизвестные современному читателю. Примечания и комментарии даны в сквозной нумерации по главам.

ПРОЛОГ

[1] «*...яко земля еси и в землю отъидеши*» — слова из «Последования по исходе души от тела», читаемого над телом умершего по обычаю Православной Церкви.

[2] *Тогда мне было около трех лет.* — Сорокину ко времени смерти матери (весной 1894 г.) было пять лет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

[1] *...в Яренском уезде Вологодской губернии...* — Ныне Княжпогостский район Коми АССР.

[2] *Коми* — народность северо-восточной части европейской территории РСФСР, около 300 тыс. человек. Различаются зыряне или собственно коми (коми-зыряне) и коми-пермяки. Этноним *зыряне* не является самоназванием коми-зырян, как то утверждают современные справочные издания. Впервые он упоминается в летописи под 1396 годом в связи с описанием кончины епископа Стефана Пермского в форме «сырьяне» (серьяне). Последние версии происхождения названия кладут в его основу лексику коми языка. Предполагают, что этноним произошел либо от гидронимов, таких, как Сурья, Зарья, Серья (реки Прикамья), либо от имени тотема племени — «сир» (щука), либо от общепермского слова «саран», означавшего «мужчину», «человека своего рода, племени», очень хорошо согласующегося

с названиями окружающих этносов — мари, мордва, удмурт, которые означают то же самое, но на своих языках. Еще одна распространенная версия гласит, что этноним «зырянин» прибалтийско-финского происхождения и означал для народов Балтики «житель края земли, границы» (совр. финское слово syrjä — граница). Предками зырян, по-видимому, следует считать племена чуди заволоцкой и перми вычегодской, обитавшие в бассейнах Северной Двины, Вычегды, Выми.

[3] *Турья* (или *Турьинское*) — село в верховьях реки Вымь (от зырянского «Емва» — чистая вода). Волостной центр Турья в конце XIX века — довольно большое село с населением около тысячи человек, расположенное на крутом берегу реки. Через него проходил знаменитый «Березовский тракт», торговый путь за Урал. Все лето шумела ярмарка, самая большая в районе. За турьинским приходом числились две церкви, каменная и деревянная. Имелись школа грамоты, церковноприходская школа, библиотека и земское училище. Тогдашняя Турья фактически превосходила по числу жителей уездный центр г. Яренск (около 900 человек населения) и уступала ему, пожалуй, только в количестве церквей — там их было пять. Впрочем, приход села Жешарт с близлежащими деревнями был еще больше — около 5 тыс. человек, — и вообще в Яренском уезде насчитывалось немало относительно крупных сел.

Родителей Питирима привела в Турью профессия отца, А. П. Сорокина, который был странствующим ремесленником, переезжавшим из села в село в поисках работы. В Турье Сорокины остановились на зиму в доме учителя Турьинского земского училища Ивана Алексеевича Панова.

[4] *...я родился 21 января 1889 года.* — На самом деле Питирим Сорокин родился 23 января 1889 г. (4 февраля по н. ст.), что подтверждается метрической записью турьинской Воскресенской церкви. О путанице с местом и датой его рождения см. мое предисловие к этой книге.

[5] *...умерла моя мать, вероятно, в 1892 или 1893 году.* — Мать Сорокина, Пелагея Васильевна (в девичестве предположительно — Ячменева) скончалась 7 марта 1894 г. в селе Коквицы (Метрическая книга Коквицкой Христорождественской церкви, хранящаяся в бюро ЗАГС Усть-Вымского района), где семья застряла с весны 1893 г. после рождения третьего сына — Прокопия.

[6] *...я прожил первые 10 лет своей жизни.* — Питирим Сорокин прожил в Коми крае не первые 10, а 15 с половиной лет, когда впервые выехал за его пределы на учебу в Костромскую губернию. Кстати, в другом автобиографическом очерке он пишет, что провел среди коми народа первые 12 лет своей жизни (Sociology of my mental life / P. I. Allen ed. P. Sorokin in Review: Duke Univ. Press, 1963. P. 7.). На самом же деле он жил в Коми крае постоянно с января 1889 по август 1904 г.

[7] *Усть-Сысольск* с 1930 г. переименован в Сыктывкар, столица Коми АССР.

[8] *Коми были православными...* — Православие пришло на земли зырян вместе с русскими; север Руси издавна манил к себе переселенцев. Форпостом православия и очагом христианизации северных народностей стал основанный в XII веке под Великим Устюгом Троицко-Гледенский мужской монастырь. В XIII столетии к нему добавился еще один великоустюжский монастырь — Михаило-Архангельский. Окончательное крещение этого края связано с именем Стефана Пермского и относится ко II половине XIII века. Однако первые русичи проторили дорогу в зырянские земли еще раньше, в XII столетии. Недавно, например, возле села Турья археологи открыли славянское поселение этого возраста. Горо-

дище, названное «Жигановским»*, своего рода факторию, основали выходцы из Новгорода, которые мирно уживались с угорскими племенами языческой культуры. Позднейшая христианизация поэтому протекала относительно спокойно, постепенно, естественным путем перемешивая и интегрируя культуры пришлого русского и автохтонного (коренного) зырянского населения. В результате места обитания зырян — бассейны рек Вычегды и Выми — превратились в уникальный бикультурный оазис Коми края, а Яренский уезд стал своеобразной «контактной зоной» для русских и нерусских жителей Севера. (* Жиган — баржа-волокуша; на таких посудинах везли до Турьи и далее, за Урал, хлеб, который обменивался на товары, составлявшие исконный промысел северян.)

[9] *Золотой век* — в представлениях многих древних народов означал самую раннюю эпоху жизни человечества, в которой еще не было социальной несправедливости, неравенства, вражды, болезней, а люди жили долго и счастливо.

[10] *Десять заповедей* содержатся в Пятикнижии Моисея (Ветхий Завет, Исход, 20). Они представляют собой культовые и нравственные заповеди, которые Бог, по преданию, сообщил Моисею на горе Синай. Шесть из них — нравственные императивы, считающиеся универсальными и общечеловеческими. (Почитание родителей, запрещение убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства и осуждение зависти и связанных с нею посягательств на чужое достояние.)

[11] *...народ коми никогда не знал рабства или крепостного права.* Несмотря на раннюю феодализацию зырян (уже в 1465 г. «Архангелогородская летопись» упоминает некоего зырянского князя Василия Вымского Ермолаевича, участвовавшего в походах при Иване III Васильевиче), крестьянское население Коми края оставалось некрепостным и именовалось государственными крестьянами.

[12] *«Гемайншафт» (Gemeinschaft)* — термин, введенный в 1887 г. немецким социологом Фердинандом Тённисом. Этому термину в дихотомии противоположен термин «Гезельшафт» (*Gesellschaft*). Первое, как понятие, применимо к крестьянской деревенской общине, а второе — к индустриально-городскому обществу. Черты «Гемайншафт» заключаются в том, что люди живут в соответствии с общинными принципами и мирскими обязанностями, право основывается на традициях и обычаях, специализация профессиональных ролей ограничена и не развита, религиозные ценности имеют основное значение, а ячейкой общества является семья. «Гезельшафт» базируется на стремлении к личной выгоде, формальных законах, светских ценностях, развитой системе разделения труда. Соответственно этому основой такого общества являются крупные корпоративные и ассоциативные формы объединения людей (индивидуумов).

[13] *...коми в то время имели лишь зачатки письменной литературы.* — Коми фактически не имели своего буквенного алфавита и письменности до начала XIX века, когда стали делаться первые попытки приспособить к звучанию коми-зырянского языка русский алфавит. Первый словарь (русско-зырянский, в 4 томах, 70 тыс. слов) создан к 1863 г., работа над ним продолжалась более 30 лет. Литература на современном коми языке появилась лишь в 1840-х гг.

[14] *...мама была...дочерью коми крестьянина.* — Пелагея Васильевна Сорокина была родом из села Жешарт Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Усть-Вымский р-н Коми АССР).

[15] *...малочисленность ремесленников с таким дипломом и поэтому меньшая конкуренция здесь обусловили его переезд.* — Основное население Яренского уезда составляли государственные крестьяне и мещане. Ремесленников среди пос-

ледних было очень мало. В административном центре уезда — Яренске — проживало в 1836 г. всего 13 ремесленников, а к 1909 г. их число возросло лишь в 4 раза и составило 48 человек (гос. архив Вологодской области, ф. 17, оп. 1, д. 529, л. 849). Возможно также, что Сорокин-старший уехал в Коми край по наказу Стефано-Прокопьевского братства в Великом Устюге, задачей которого было распространение христианства и влияния церкви среди северных народов. Ремесленный цех, где учился А. П. Сорокин, опекался братством.

[16] *...я жил с отцом до 11 лет.* — Точнее, до 10 с половиной лет.

[17] *...медицинская помощь была нам малодоступна...* — На весь уезд, а это в конце XIX века около 30 тыс. человек, приходился один земский врач (с 1895 г. — два) и шесть фельдшерских участков в селах Лена, Айкино, Часово, Серегово, Кослан и Важгорт.

[18] *...а отец в это время странствовал в другом.* — После ухода сыновей в 1899 г. Сорокин ходил по своему привычному маршруту: по Вычегде до устья Выми и далее вверх к ее истокам. Василий и Питирим отправились в противоположную сторону, дойдя до села Палевицы, где, кстати, за время работы Питирим окончил школу грамоты.

[19] *...он умер в селе, довольно далеко от нас.* — Александр Прокопьевич Сорокин умер в 1900 г.

[20] *...отец не имел ничего общего с фрейдовским типом «отца-тирана».* — Один из вариантов поведения родителя по отношению к ребенку, подавляющий его личность и способствующий развитию скрытой агрессивности, нервозов, комплекса неполноценности. Описан Зигмундом Фрейдом (1856—1939), австрийским психиатром, основоположником психоанализа.

[21] *Брат Василий был старше меня примерно на четыре года* — Василий Сорокин родился в 1885 г.

[22] *...освобожден правительством Керенского.* — Председателем Временного правительства в то время был князь Львов. Керенский занимал пост министра юстиции.

[23] *Они жили в маленькой деревушке Римья...* — Деревня Римья расположена примерно в пяти верстах от села Жешарт.

[24] *...мы неизменно находили...сердечную заботу в этом крестьянском доме.* — Римские жили в небольшой избе, на краю деревни, поэтому местные жители называли тетку Сорокина — «Лав-Анисья», т. е. Анисья с окраины. После ее смерти изба некоторое время использовалась деревенскими жителями как сарай, затем разрушилась. Остался лишь остов — несколько нижних обгоревших венцов, заросших крапивой. Тип строения выпадает из архитектурного стиля этой местности: по сравнению с солидными избами-пятистенками жилище Лав-Анисьи больше похоже на хижину. Очевидно, ее строили на скорую руку, «миром», а это значит, что В. И. Римских не был уроженцем деревни Римья. Видимо, по каким-то причинам Василий и Анисья были вынуждены переехать из Жешарта, где жили ее родители, в соседнюю деревушку. Созвучие фамилии и названия деревни ни о чем, в принципе, не говорит, поскольку первые упоминания фамилии Римских относятся еще к XVII веку, а в конце XIX столетия потомки первых Римских уже широко расселились по всему Коми краю.

[25] Любопытно, что после высылки Сорокина за рубеж, как вспоминают жители Римьи, местное начальство, будучи недовольно по тому или иному поводу, называло деревенских «сорокинцами», как бы попрекая тем, что Питирим жил вместе с ними.

[26] *...мужественно несла свой крест до самой смерти...* — Анисья Васильевна Римских (в девичестве Ячменева) скончалась в 1944(?) г. в селе Гам в доме престарелых, где жила после того, как потеряла зрение и подвижность.

[27] *...мог оказывать ей скромную финансовую помощь...* — Питирим Сорокин продолжал писать Анисье и после высылки из страны. Односельчане помнят, как она показывала его письма и подарки. Ответы под ее диктовку записывал П. И. Климушев. Каким образом осуществлялась переписка, пока не ясно. Тем не менее даже в годы сталинского террора Сорокин несколько раз ухитрялся присылать ей муку и деньги. Многие помнят, как Анисья горевала, не зная, куда девать доллары.

[28] *Там он жил с другой теткой, Анной, сестрой нашего отца...* — У Питирима были и другие тети, как по линии отца, так и по линии матери, однако достоверных данных о них у нас нет. Более или менее известно только, что младшая сестра его матери Анна(?) вышла замуж за Б. С. Малафеева из дер. Вездино; по непроверенным, но единодушным рассказам односельчан, была еще одна сестра — Елена.

ГЛАВА ВТОРАЯ

[1] *Аномия* (от греч. *а* и *nómos* — отсутствие закона) — термин, введенный Э. Дюркгеймом (французский социолог) в начале XX века. Под аномией он понимал такое состояние общества, когда существующая система общественных норм разрушается и распадается. Психологически она выражается в потере людьми ориентации в жизни, поскольку те ценности и идеалы, в которые человек верил и к которым стремился, теряют значение, притягательность, смысл. На смену им идут новые ценности, идеалы, нормы, противоречащие старым, и индивид попадает в ситуацию выбора между ними. Такой выбор, как показывал Дюркгейм, в ряде случаев заканчивается для человека душевными кризисами и даже самоубийством. Аномию считают одним из основных вариантов культурного конфликта. Термин часто употребляется не по отношению к обществу в целом, а по отношению к отдельному человеку, попадающему в ситуацию резкой смены жизненных обстоятельств и социально-групповых норм.

[2] *Живица* — сосновая смола.

[3] Практически все церкви и часовни, в которых мог работать Питирим Сорокин, сегодня разрушены. Часть деревянных строений сгорела, часть каменных взорвана, в прочих устроены самые разные непотребства, начиная от складов тары расположенных рядом магазинов до радиолокационных станций и пунктов космической связи. Я воочию убедился в этом, проехав по сорокинским маршрутам в 1989—1990 гг.

[4] Построенный в 1820 г. собор Всех скорбящих разрушен в годы советской власти. Работали Сорокины также в Спасо-Преображенском соборе.

[5] *...не было ни «одиноких толп»...* — Дэвид Рисмен, американский социолог, назвал «одинокой толпой» современных ему американцев. Его книга, написанная в соавторстве с Натаном Глэйзером и Руэллом Денни, была так и озаглавлена — «Одинокая толпа» (1950 г., издана Йельским университетом). Потребительское общество формировало особый тип личности — «извне управляемого» человека, обезличенного, стандартизированного, отчужденного индивида, остро ощущающего свое одиночество в «толпе» таких же стандартизированных людей-потре-

бителей. Обеспокоенные этим Рисмен и его коллеги считали идеалом «автономную личность» и показывали ее преимущества перед всеми другими типами социальных характеров.

[6] *...учился в школе второй ступени в селе Гам.* — Согласно «Правилам о церковноприходских школах», изданным 13 июня 1884 г., школы делились на одноклассные с двухлетним сроком обучения и второклассные — с четырехлетним. В ведении церкви находились также школы грамоты, где срок обучения составлял несколько месяцев. Второклассные школы были призваны готовить из «богобоязненных» крестьян и мещан учителей в школы грамоты. Дети обучались молитвам, священной истории, краткому катехизису, церковному пению, чтению и письму, арифметике, истории церкви и страны. Преподавание вели священники или церковнослужители, а также утвержденные епархиальным архиереем светские учителя. Право на поступление в гимназию окончившие второклассную школу не имели.

[7] *...мне удалось...поступить в школу второй ступени, открытую в селе Гам.* — Первая церковноприходская школа в селе Гам была открыта в 1867 г. при церкви Михаила Архангела (закрыта в 1878 г.). Второклассная школа открыта в 1889 г. Своего здания не имела, преподавание велось в доме священника. Второклассные школы созданы также в Сизябске, Пыёлдине и Деревянске (территория Коми края). Здание школы построено в 1901 г. по проекту инженера Дружинина. Занятия в новом двухэтажном деревянном здании начались 28 октября 1901 г. В число предметов входили закон божий, церковнославянский язык, чистописание, арифметика, природоведение, русский язык и церковное пение. В качестве трудового обучения преподавали столярное и переплетное дело. В 1918 г. Гамская второклассная школа преобразована в начальную. В 1901—1904 гг. во время учебы Сорокина школой руководил священник Гамской церкви И. С. Покровский, а старшим учителем был А. Н. Образцов, оба люди замечательно образованные и талантливые. Александр Николаевич Образцов провел в Гамской школе 15 лет, в народе так и говорили про нее — «Образцова школа».

[8] *Пять учителей в школе, возглавляемые...священником...* — Иван Степанович Покровский служил священником сначала в селе Пезмог, а позже и в селе Гам. Умер в 1904 г. Дальний родственник Сорокина по отцу. Именно он помог Питириму поступить в школу. В свое время он же помогал Сорокину-старшему освоиться в Коми крае, обеспечивал его работой. По-видимому, Покровский пригласил на работу в Гам и братьев Сорокиных. С семьей Покровских у Питирима сложились самые теплые отношения, которые поддерживались до 1918 г., когда Сорокин-эсер оказался по одну сторону баррикад, а сыновья Покровского Павел и Степан, ярые большевики, — по другую.

[9] *Большинство учащихся были способными мальчиками...* — Первый выпуск новой Гамской школы состоял из пяти человек. Вот их имена в алфавитном порядке, так, как они записаны на первых страницах книги учета выданных свидетельств об окончании учебного заведения: Балин Яков, солдатский сын; Захаров Иван, солдатский сын; Коковкин Федор, крестьянский сын; Матвеев Стефан, крестьянский сын; и Сорокин Питирим, сын мещанина. Примечательна судьба Федора Степановича Коковкина. Он родился 27 января (по ст. ст.) 1889 г. в селе Жешарт. Другими словами, он был всего на четыре дня моложе Питирима и жил всего в пяти верстах от деревни Римья, где много месяцев в году проводил Сорокин. И, по воспоминаниям односельчан и родственников Коковкина, они

сызмальства дружили. И, опять-таки в 1918 г., оказались по разные стороны баррикад: Ф. С. Коковкин назначен уездным военным комиссаром и в течение всей гражданской войны руководил красными отрядами, защищая советскую власть, против которой боролся Питирим Сорокин.

[10] *...стипендия...представлялась мне все три года учебы.* — В отдельных случаях, если позволяла подготовка учащихся, четырехлетнее обучение во второклассных школах заменялось на трехлетнее, поэтому Питирим, поступив в 1901 г., закончил школу в 1904 г. 2 июня.

[11] *Нагорная проповедь* — наставление, с которым Иисус Христос обратился к народу, взойдя на гору (Евангелие от Матфея, гл. 5, 1—7, 29; Евангелие от Луки, гл. 6.).

Блаженства Евангельские — девять поучений, начинающихся словом «блаженны...»: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» и т. д. (Евангелие от Матфея, гл. 5, 3—12.)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

[1] *В 1903 году в 14 лет я окончил Гамскую второклассную школу.* — Питирим Сорокин окончил Гамскую второклассную школу 2 июня 1904 г. в 15 с половиной лет. По-видимому, отнеся время окончания школы к 1903 г., он просто ошибся.

[2] *...выделили для меня скромную стипендию в Хреновской учительской семинарии Костромской губернии.* — Протекцию для поступления в Хреновскую церковно-учительскую духовную семинарию Сорокину составил Александр Николаевич Образцов, известный просветитель коми народа и руководитель Гамской школы после смерти И. С. Покровского. По воспоминаниям родственников, Образцов и его жена Елизавета Николаевна, учительница церковно-приходской школы, считали самым способным учеником в школе за весь период ее существования. Питирим Александрович переписывался с ними и после высылки из страны, но письма были уничтожены, когда умерла Елизавета Николаевна. Семинария, куда пошел учиться Сорокин, давала возможность продолжения светского образования после ее окончания. Другое, часто употребляемое название семинарии — церковно-учительская школа.

[3] *...в августе 1903 года отправился в дальнюю дорогу...* — в августе 1904, а не 1903 г. (см. примеч. выше).

[4] *Там началась... моя неразрывная дружба со студентом на год младше меня...* — Николай Кондратьев поступил в семинарию в 1905 г. в 13 лет.

[5] *В конце концов он сгинул в ссылке при сталинском режиме.* — Н. Д. Кондратьев осужден в 1931 г. на восемь лет лишения свободы по фальсифицированному обвинению в принадлежности к мифической «Трудовой крестьянской партии». Срок отбывал в Суздальском политизоляторе. Расстрелян в 1938 г. после пересмотра дела. В ссылке, как пишет Сорокин, не был.

[6] *...не имел ничего общего с марксизмом.* — Сорокин действительно никогда не симпатизировал марксизму. Однако, по иронии судьбы, уже после своей смерти Сорокин был поднят на щит леворадикальным движением социологов-неомарксистов. Они даже носили значки «Сорокин жив». Вероятно, основной причиной их обращения к имени великого ученого была его бескомпромиссная борьба с Талкоттом Парсонсом и созданными им теориями. Однако Сорокин критиковал

Парсонса, певца истеблишмента, совсем с иных позиций, нежели неомарксисты, чего те в пылу борьбы просто не замечали.

[7] *Вечером первого дня рождественских каникул 1906 года...* — К этому времени (декабрь 1906 г.) Сорокин проучился в семинарии два с половиной года.

[8] *Михайловский Николай Константинович* (1842—1904) — русский социолог XIX века, сторонник «крестьянского социализма», близкий по своим взглядам к народовольцам.

[9] *Лавров Петр Лаврович* (1823—1900) — русский философ и социолог XIX века, один из идеологов революционного народничества.

[10] *Бакунин Михаил Александрович* (1814—1876) *и кн. Кропоткин Петр Алексеевич* (1842—1921) — теоретики разных направлений анархизма.

[11] *Толстой Л. Н.* попал в компанию революционных классиков за свои анархические, хотя и своеобразные взгляды на право, государство и собственность. Сам Толстой не называл свое учение анархизмом. Основные сочинения, где изложены его взгляды: «Исповедь» (1879), «Краткое изложение евангелия» (1880), «В чем моя вера?» (1884), «Что делать» (1885), «О жизни» (1887), «Царство Божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» (1893). В число главных теоретиков анархизма Толстого включил П. Эльцбахер, написавший капитальный труд «Анархизм», в 1906 г. переведенный с немецкого языка на русский. Именно эту книгу с изложением основ анархических учений Годвина, Прудона, Кропоткина, Бакунина, Толстого и других мыслителей читал в Кинешемской тюрьме Питирим Сорокин, ибо по странной прихоти царских властей сочинение Эльцбахера обязательно имелось в каждой тюремной библиотеке, в то время как все перечисленные книги графа Толстого там отсутствовали.

[12] *Чернов Виктор Михайлович* (1873—1952) — основатель и теоретик партии социалистов-революционеров. В 1917 г. член Временного правительства, министр земледелия, председатель Учредительного собрания. Умер в эмиграции.

[13] *Спенсер Герберт* (1820—1903) — английский философ и социолог, основоположник органической школы в социологии.

[14] *Девиантное поведение* — отклоняющееся поведение, т. е. противоречащее существующим социальным нормам.

[15] На титульном листе книги значится: С.-Петербург. Издательство Я. Г. Долбышева. 1914.

[16] *Пенология* — наука о наказаниях и карательных системах.

[17] *Проведя четыре месяца за решеткой...* — На самом деле около трех с половиной месяцев.

[18] *...ни даже тесно спаянной организации.* — Имеются в виду социалисты-революционеры.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

[1] *...Павел Коковкин, один из моих друзей по Римье...* — На самом деле его звали не Павел, а Федор — Федор Николаевич Коковкин. Его брат, Василий Николаевич одно время бродил по деревням вместе с Василием Сорокиным, когда Питирим начал учебу в селе Гам. Федор же в 1905 г. перебрался в столицу, и именно у него останавливался Питирим, приехав в Санкт-Петербург. Кстати, Коковкины были в дальнем родстве с ним по линии матери*. Ну и, наконец, отметим, что другой Коковкин — Федор Степанович (см. прим. 10 к гл. второй) — был

женат на сестре Федора и Василия Коковкиных, Анисье Николаевне. По воспоминаниям ныне здравствующего племянника Федора, живущего в Римье Николая Васильевича Коковкина, его любимого дядю, приезжавшего из столицы с большим по тогдашним понятиям шиком, в деревне называли на местном диалекте: «Педя-Питеряк». Под этим именем-прозвищем и знал его Сорокин, так что не удивительно, если Питирим Александрович перепутал настоящее имя, пытаясь вспомнить его через шестьдесят лет после описываемых событий. (*Бабушка Питирима по матери — Марфа Стефановна Коковкина, сестра деда братьев Коковкиных, Василия Стефановича, в замужестве Ячменева.)

[2] *...решил...поступить на Черняевские курсы...* — Санкт-Петербургские общеобразовательные курсы Черняева — среднее учебное заведение в ведении Министерства народного просвещения. Учредителем-директором курсов был видный педагог и общественный деятель Александр Сергеевич Черняев (1873—1916). Курсы были рассчитаны на четыре года, принимались лица обоего пола, не моложе 15 лет без сословных и иных ограничений. Курсы были платными, но неимущие и хорошо успевающие учащиеся освобождались от платы за обучение. Курсы открылись в 1902 г., с 1906 г. на курсах начали читать лекции для «продвинутых» учеников по университетской программе, и на базе курсов было образовано реальное училище для детей в возрасте до 15 лет. Количество слушателей в 1908 г. составляло 1000 человек. В число преподавателей и лекторов входили лучшие ученые и педагоги Санкт-Петербурга, профессоры и приват-доценты ряда институтов и университета. 23 марта 1916 г. А. С. Черняев скончался, после его смерти заведующим стал К. Ф. Жаков. В 1917 г. курсы прекратили свое существование.

[3] *Жаков Каллистрат Фалалеевич* (1866—1926) — этнограф, философ, писатель (по национальности коми-зырянин). В 1902 г. защитил магистерскую диссертацию на тему: «О грамматическом строе зырянского языка». Работал преподавателем в Санкт-Петербургском университете, Психоневрологическом институте, на Черняевских курсах. Благодаря своим демократическим убеждениям, постоянно был на заметке у властей как «неблагонадежный в политическом отношении». С 1900 по 1912 гг. провел три продолжительных экспедиции в Коми край по поручению Российской Академии наук и Русского географического общества. Сотрудничал с Этнографическим бюро князя Б. А. Тенишева, был членом Архангельского общества изучения Русского Севера. Первая статья «Языческое миросозерцание зырян» опубликована в 1901 г. в журнале «Научное обозрение». Из художественных произведений наиболее известны сборники рассказов и сказок «Под шум северного ветра», «В хвойных лесах», «Из жизни и фантазии» и др., а также автобиографический трехтомник «Сквозь строй жизни». Основал в Санкт-Петербурге издательство «Парма» (тайга на коми языке), несколько его книг сказок вышли за границей во Франкфурте-на-Майне. В апреле 1917 г. выехал в отпуск по болезни на хутор отца своей второй жены близ города Валки в Латвии. Оттуда он ездил читать лекции в университет в эстонский город Тарту (тогда Юрьев). В конце 1917 г. вернулся в Петроград. Однако в связи с закрытием Психоневрологического института и голодом зимой 1918 г. он выехал в Псков, где работал до лета 1919 г. После захвата города войсками Юденича уехал в Валки, затем в Ригу, где жил до своей смерти в январе 1926 г. В последние годы жизни создал этико-философскую систему — *лимитизм*.

[4] *...госпожа Жакова...* — первая жена К. Ф. Жакова Глафира Никаноровна Николаевская.

[5] *Фокусированное интервью* — техника сбора информации, когда опрашиваемому задают вопросы, прямо или косвенно затрагивающие одну определенную тему.

[6] *Его происхождение и биография в чем-то напоминали мои.* — Действительно, биография Сорокина в основных чертах была удивительно схожа с жизнью К. Ф. Жакова. Каллистрат Фалалеевич родился 18 (30 по н. ст.) сентября 1866 г. в деревне Давпон села Выльгольт Усть-Сысольского уезда. Отец его был столяром-краснодеревщиком высокой квалификации и занимался отхожим промыслом — устанавливал иконостасы в возводимых или ремонтируемых церквях. Каллистрат с детства скитался вместе с отцом по селам Коми края вдоль рек Вычегды, Сысолы, Вишеры, Пожега, Ижмы и Выми. Окончив усть-сысольское уездное начальное училище, он поступил в Тотьме в церковно-учительскую духовную семинарию, которую блестяще окончил в 1884 г. Однако учителем не стал, так как распоряжением вологодского губернатора не был допущен к преподаванию как «атеист и вольнодумец». После трех лет скитаний поступает в пятый класс вологодского реального училища. Средства к существованию зарабатывает репетиторством. В 1890 г. «с 20 копейками в кармане» приезжает в Санкт-Петербург и поступает в Лесной институт. Затем бросает его, пытается стать монахом в Заонежской пустыни под Вологдой. Опять-таки за вольнодумство его изгоняют из монастыря. Затем в течение пяти лет он живет в Вологде под гласным надзором полиции. Сильно нуждается, но ему все же удается подготовиться и выдержать экзамены на аттестат зрелости экстерном с отличными показателями. Освободившись от полицейского надзора, К. Ф. Жаков получил разрешение поступать в университеты (кроме Московского и Санкт-Петербургского). В 30 лет он становится студентом естественного факультета Киевского университета. Через год переходит на историко-филологический факультет. После третьего курса переводится в Петербургский университет, в 1901 г. заканчивает его и остается преподавателем на факультете.

[7] *...и его эмиграции...* Фактически К. Ф. Жаков не эмигрировал, а оказался на оккупированной частями белых территории, откуда уехал к родственникам второй жены, латышки Алиды Ивановны, в город Валки.

[8] *...ежемесячные литературные вечера...* — Известно, что на этих литературных вечерах бывали писатели Александр Грин, Алексей Чапыгин, Виктор Шкловский, Янка Купала, Иван Шергин (редактор-издатель «Северного вестника») и другие. В одном из литературных собраний, посвященных памяти Л. Н. Толстого, в 1915 г. принял участие М. Горький.

[9] *Позже мы с Жаковым провели несколько экспедиций...* — Сорокин участвовал как минимум в двух экспедициях вместе с Жаковым (в 1908 и 1909 гг.: экспедиции по изучению Печорского края, в которых Жаков заведовал статистикой). Вероятно, что и позднее они вместе путешествовали по Коми краю, собирая фольклор и этнографические данные (1910 и 1911 гг.). Результатом этих совместных исследований явились: первая известная статья молодого ученого — «Колонизационные вожделения» (рукопись опубликована мной в «Социологических исследованиях», № 2, 1990); «Историко-статистический очерк зырян» (совместно с К. Ф. Жаковым, 1910); «Пережитки анимизма у зырян» (1910); «К вопросу об общине у зырян» (1910); «К вопросу об эволюции форм брака и семьи у зырян» (1911); «Современные зыряне» (1911) и др.

[10] *...у Жаковых я встретил свою жену...* — Баратынская Елена Петровна

(1894—1975) — дочь поместного дворянина Таврической губернии. Окончила Севастопольскую женскую гимназию с золотой медалью. В 1912 г. поступила на Высшие женские (Бестужевские) курсы в Санкт-Петербурге. Окончила их в 1917 г. По профессии ботаник-цитолог, докторскую диссертацию защитила в 1925 г. в Университете Миннесоты (США). Профессор, преподавала в ряде вузов Америки.

[11] *...до дома Павла...* — Не Павла, а Федора Коковкина (см. прим. № 1 к гл. 4).

[12] Термин *«социальная мобильность»* введен в научный обиход самим Сорокиным в книге «Социальная мобильность» (1927). Чтобы не упоминать имя Сорокина, некоторые советские социологи пытались и пытаются использовать термин «социальные перемещения». Так, в «Краткий словарь по социологии», выпущенный в 1989 г. Политиздатом, вошел именно этот термин, естественно, без упоминания о Сорокине.

[13] Адрес Черняевских курсов в Санкт-Петербурге: Татарский переулок, д. 3-5.

[14] В учебных заведениях А. С. Черняева преподавали доктор физики И. И. Боргман, доктор ботаники А. Г. Генкель, профессоры Н. И. Кареев, В. И. Бауман, Н. Е. Введенский, С. А. Венгеров, П. Л. Мальчевский, К. Ф. Жаков, С. А. Золотарев, А. К. Ксенофонтов, М. М. Ковалевский, М. К. Линген, Г. С. Смирнов, И. Л. Сербинов, Г. В. Флейшер и другие.

[15] Н. Д. Кондратьев исключен из учительской семинарии летом 1907 г.

[16] Сын крупного усть-сысольского купца-мецената Кузьбожева.

[17] В 1917 г. Н. Д. Кондратьев работал в Лиге аграрных реформ и Комиссии по аграрной реформе при Главном земельном комитете; депутат Учредительного собрания. 18 октября (по ст. ст.) вошел в состав Временного правительства в качестве товарища (по-нынешнему — заместителя) министра продовольствия. После октябрьского переворота работал в Плановой комиссии Народного комиссариата земледелия, ряде других организаций, был директором Конъюнктурного института.

[18] В 1918—1921 гг. Н. Д. Кондратьев несколько раз подвергался краткосрочным арестам, однако после «занятия высокого кресла» (по выражению Сорокина) с 1922 г. он в тюрьме не сидел. Кондратьева арестовали в 1930 г., и более на свободу он уже не вышел.

[19] *Последний раз мы встретились в университете штата Миннесота (США) в 1927 году...* — Кондратьев уехал в командировку в США в 1924 г., вернулся в 1925-м. В 1927 г. никаких загранкомандировок у него не было. Десять дней, которые Кондратьев с супругой провели в гостях у Сорокиных, относятся к началу 1925 г.

[20] См. примеч. 5 к гл. третьей.

[21] Сочные эпитеты, которыми Сорокин описывает тип современного ему обывателя-американца, являющегося продуктом общества потребления, заимствованы из книги Д. Рисмена «Одинокая толпа» (1950).

[22] У Сорокина в англоязычном оригинале — «жевательная резинка» (*bubble gum*).

[23] *Hit* (амер. слэнг) — успех, удача, отличный результат.

[24] *Я* — понятие, выражающее в психологии осознаваемые человеком единство и целостность своей личности, результат выделения человеком самого себя из окружающей среды.

[25] *...более близкое знакомство с позитивистской философией...* — Позитивизм (франц. *positivisme*, от лат. *positivus* — положительный) — философское направ-

ление, сложившееся в XIX веке в противовес спекулятивным социально-философским теоретизированиям. Термин введен французским социологом Огюстом Контом (1798—1857), который провозгласил решительный разрыв с «метафизической» философией и создание «позитивной» социальной науки, столь же доказуемой и общезначимой, как и естественные науки. «Позитивная» наука не пытается искать причины и сущности, а исследует сами явления, отвечая не на вопрос «почему», а на вопрос «как», «каким образом». Философии в позитивизме отводилась роль синтеза знания всех социальных и естественных наук. Со временем из позитивизма вырос феноменализм, сам позитивизм превратился в неопозитивизм, переболев детской болезнью субъективного идеализма. По сути, почти вся современная наука — прямая наследница позитивизма. Тем не менее термин этот несет в себе сейчас привкус «ретро», а еще недавно слово «позитивист» было просто ругательным в контексте научных споров.

[26] *...на все пятерки.* — Сорокин преувеличивает: пятерок и четверок у него было примерно поровну. Сохранилось свидетельство об окончании им экстерном Великоустюжской мужской гимназии (архив ЛГИА), в котором записано:

«Дано сыну мещанина Питириму Александровичу Сорокину православного вероисповедания, родившемуся в Яренском уезде Вологодской губернии 23 января 1889 г., обучавшемуся в Хреновской церковно-учительской школе Костромской губернии в том, что он в мае и июне сего 1909 г. подвергался испытанию зрелости в Велико-Устюгской мужской гимназии и оказал на сем испытании нижеследующие познания:

В Законе Божием — отличные (5)
Русском языке с Церковно-славянским и словесности — хорошие (4)
Философской пропедевтике — отличные (5)
Латинском языке — хорошие (4)
Законоведении — хорошие (4)
Математике — хорошие (4)
Математической географии — хорошие (4)
Физике — хорошие (4)
Истории — отличные (5)
Географии с природоведением — отличные (5)
Французском языке — отличные (5)

Г. Великий-Устюг Вологодской губ. Июня 4-го дня 1909 года.»

[27] *Зепалов* Петр Николаевич родился 20 июля (1 августа по н. ст.) 1892 года в г. Великий Устюг. В 1902 г. поступил в Великоустюжскую мужскую гимназию и в 1910 г. закончил ее с семью пятерками и пятью четверками в аттестате зрелости. Осенью того же года он поступает на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, однако за участие в студенческих выступлениях, поводом для которых послужила смерть Л. Н. Толстого, его арестовывают 31 января и исключают из университета 5 февраля 1911 г. Через год, осенью 1912 г. он восстанавливается в университете на юридическом факультете. 27 апреля 1915 г. Зепалова снова арестовывают и, по-видимому, лишают вида на жительство, т. к. он переводится на юридический факультет Московского университета с сентября 1915 г. Так и не закончив его, в 1917 г. Зепалов уезжает в Великий Устюг. В октябре 1918 г. его расстреляли чекисты. Сорокин посвятил Петру Зепалову свою книгу «Система социологии» (1920).

[1] *Психоневрологический институт* задуман русским психиатром и психологом Владимиром Михайловичем Бехтеревым (1857—1927), на его организацию ушло пять лет. Благодаря пожертвованиям семьи Алафузовых, Н. Ф. Головнина, В. Т. Зимина, М. П. Скоропадского, А. Н. Шитовой и других, были собраны необходимые для начала работы средства. Торжественное открытие института состоялось 3 февраля 1908 г. Первое время лекции читались в помещении биологической лаборатории Бехтерева, затем в доме № 104 по Невскому проспекту. Из кабинетных земель институту было пожаловано 30 тыс. кв. саженей земли в бывшей Глухоозерской ферме, неподалеку от Александро-Невской лавры, где со временем воздвигли здание института на средства, собранные специальным комитетом. В год принималось около 300 человек, из них более половины — женщины. В институте читались лекции по анатомии, физиологии, химии, физике, биологии, психологии, философии, логике, социологии, истории, литературе, искусству, математике, праву и т. д. При учебном заведении открыты два вспомогательных учебно-научных института — педологический и криминологический. Среди преподавателей были: Ф. Д. Батюшков, С. К. Булич, Н. Е. Введенский, В. А. Вагнер, А. В. Гервер, Н. А. Гредескул, Э. Д. Гримм, М. С. Добротворский, Д. А. Дриль, М. Н. Жуковский, Н. П. Гундобин, М. М. Ковалевский, Д. Н. Овсянико-Куликовский, М. А. Рейснер, М. А. Салетти, Е. В. Тарле, Е. В. Де Роберти, С. О. Грузенберг, В. А. Мякотин, Л. Г. Оршанский, С. Л. Франк, И. П. Павлов, С. И. Шорох-Троцкий и др. Президентом института являлся академик В. М. Бехтерев. Обучение было платным. В конце 1917 г. институт закрылся, позднее преобразован в научно-исследовательский, в настоящее время носит имя В. М. Бехтерева.

[2] *Ковалевский Михаил Максимович* (1851—1916) — русский социолог, историк, правовед, с 1914 г. — академик Российской АН. Преподавал в Петербургском университете, открыл в Париже (1901) Русскую высшую школу общественных наук, возглавил вместе с Е. В. Де Роберти первую в России кафедру социологии в Психоневрологическом институте. Один из основателей партии «демократических реформ», депутат I Государственной Думы, с 1907 г. член Государственного Совета. Социологические взгляды Ковалевского сложились под воздействием позитивизма, основным методом социологии считал историко-сравнительный, на основе которого создал теорию генетического родства всех социальных явлений и общественных институтов — т. н. «генетическую социологию».

[3] *Де Роберти Евгений Валентинович* (1843—1915) — русский социолог и философ, позитивист, сторонник, т. н. социального психизма (психологического редукционизма), сводящего все общественные явления к психологическому взаимодействию людей и социальных групп. Видный деятель кадетской партии.

[4] *...осенью 1909 года я стал студентом...* — Обучение в Психоневрологическом институте было платным, и стоимость его на 1909—1910 учебный год составляла 150 рублей. Сорокин не смог собрать требуемую сумму: в прошении на имя Бехтерева о приеме в число студентов института он пишет, что вносит в счет платы за обучение 30 руб., «а остальные 45 руб. за I полугодие уплачу в сентябре и в виде гарантии прилагаю карточку К. Ф. Жакова». В архивном деле студента Сорокина сохранилась эта визитка. Жаков написал на ней записку А. В. Герверу, ученому секретарю института: «Глубокоуважаемый Александр Владимирович. Мой ученик

(по курсам Черняева) Питирим Сорокин может внести только 30 рублей. Остальные 45 будут внесены в сентябре. Я за него ручаюсь и гарантирую его плату за учение. Кланяюсь Вам и желаю всего доброго от Провидения». Однако в сентябре Сорокин деньги не внес, как, впрочем, не заплатил и за второе полугодие, после чего встал вопрос о его отчислении, но Сорокин сумел поступить в университет, где платили стипендию, и расстался с Психоневрологическим институтом сам.

[5] *...приходилось тратить... два часа на дорогу пешком от нашей квартиры до института и обратно.* — Адрес квартиры: Малая Пушкарская ул., д. 11, кв. 13.

[6] *Петражицкий Лев Иосифович* (1867—1931) — русский юрист, профессор Петербургского университета. Основатель психологической школы права. После революции уехал в Польшу, где преподавал в Варшавском университете. Покончил жизнь самоубийством.

[7] *Ростовцев Михаил Иванович* (1870—1952) — русский историк и археолог. После революции эмигрировал и жил в США.

[8] *Павлов Иван Петрович* (1849—1936) — русский физиолог, академик, создатель учения о высшей нервной деятельности.

[9] *Розин Николай Николаевич* (1871—1919) — русский правовед, профессор Петербургского университета, читал курс уголовного судопроизводства.

[10] *Полонский Вячеслав Павлович* (наст. фамилия Гусин, 1886—1932) — литературный критик, историк.

[11] *Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович* (1898—1942) — писатель, журналист, сотрудничал в «Правде».

[12] *Смилга Ивар Тенисович* (1892—1938) — советский партийный и государственный деятель. Участник революции, в 1911—1913 гг. был в ссылке в Великом Устюге.

[13] *Элиава Шалва Зурабович* (1883—1937) — советский и государственный, деятель, в годы гражданской войны был комиссаром в Вологде. Позднее занимал ряд крупных партийных и советских постов, репрессирован.

[14] *...мое глубокое нежелание быть призванным в царскую армию.* — Сорокин лукавит: не внеся плату за обучение, он был весной 1910 г. отстранен от занятий, о чем свидетельствует сохранившаяся переписка Сорокина с канцелярией института. По-видимому, та же участь постигла и Н. Д. Кондратьева, во всяком случае они вдвоем в конце февраля уехали в село Баки Варнавинского уезда Костромской губернии (ныне г. Красные Баки Нижегородской обл.), откуда и вели переписку. В июне 1910 г. они подают прошения о приеме в число студентов юридического факультета Санкт-Петербургского университета и в середине июля получают извещение о зачислении.

[15] Документы отосланы в университет 8 июля 1910 г.

[16] К экзаменам в институте Сорокин допущен не был.

[17] Стипендия составляла 300 руб. в год, и получал ее Сорокин в 1910—1911 и 1912—1913 гг.

[18] Сорокин упорно именует Петражицкого Леоном, хотя его звали Львом (Иосифовичем).

[19] *Туган-Барановский Михаил Иванович* (1865—1919) — выдающийся русский экономист и историк. По политическим взглядам был близок к «легальному марксизму». Научный руководитель Кондратьева. Сорокин слушал его лекции по политэкономии.

[20] *Жижиленко Александр Александрович* (1873—193?) — профессор университета, читал уголовное право.

[21] *Н. М. Покровский, Д. Д. Гримм* — профессоры университета, читали историю римского права и догмы римского права, соответственно.

[22] *Лосский Николай Онуфриевич* (1870—1965) — русский философ, один из крупнейших представителей интуитивизма и персонализма в России. В 1922 г. выслан за границу, жил в Праге.

[23] См. примеч. 15 к гл. третьей.

[24] Полное название «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма».

[25] *...Я приобрел солидные знания...* — Не оспаривая факт глубоких познаний Сорокина, приведем любопытное воспоминание дочери Н. Д. Кондратьева — Елены Николаевны — о забавном случае, приключившемся с Питиримом Сорокиным на экзамене, который был рассказан ее отцом. Экзаменатор гонял Сорокина по материалу, спрашивая то про одного, то про другого ученого, а Питирим, не теряя присутствия духа, без запинки излагал суть выдвинутых этими учеными теорий. Решив развлечься, профессор сказал, что Сорокин упустил из виду работу демографов Штолля и Шмидта. (По другой версии это произошло на диспуте в Психоневрологическом институте, где Питирим выступал с докладом, а его оппонентом была Л. М. Рейснер). Подвох заключался в фамилиях «авторов», которые были оптовыми торговцами аптекарскими товарами и чья вывеска виднелась из окна аудитории. В пылу дискуссии Сорокин необдуманно заявил, что с работой этих ученых знаком, но не видит в ней ничего особенного по сравнению с уже изложенными им трудами других авторов.

[26] *Тард Габриэль* (1843—1904) — французский социолог, один из основоположников социальной психологии и главный представитель психологического направления в социологии.

[27] *Зиммель Георг* (1858—1918) — немецкий философ и социолог, основоположник т. н. «формальной социологии».

[28] *Вебер Макс* (1864—1920) — немецкий социолог, социальный историк и философ, основоположник понимающей социологии и теории социального действия.

[29] *Парето Вильфредо* (1848—1923) — итальянский социолог и экономист, создатель позитивистской теории «нелогического действия». Важное место в построениях Парето занимала концепция круговорота элит, оказавшая большое влияние на Сорокина. Многие идеи заимствованы позднее структурным функционализмом.

[30] *Вестермарк Эдвард Александер* (1862—1939) — финский антрополог и социолог, профессор социологии с 1904 г., ректор университета города Турку в 1907—1930 гг. Известен сравнительными исследованиями форм брака, семьи и нравов разных народов.

[31] *Штаммлер Рудольф* (1856—1938) — немецкий теоретик права, сторонник марбургской школы неокантиантства, утверждал первичность права по отношению к экономике и государству. Социологические взгляды Штаммлера, особенно понятие общества в его интерпретации, являли собой ярко выраженный правовой детерминизм.

[32] *...стипендия... обеспечивали мою жизнь...* — Стипендия составляла 1200 руб. в год.

[33] *Руссо Жан Жак* (1712—1778) — французский философ и писатель. С позиций деизма осуждал официальную церковь и религиозную нетерпимость, а также обосновывал естественное право народа на свержение абсолютизма. Именно эта его идея послужила поводом для иронического сравнения с Сорокиным.

[34] В те годы, о которых пишет Сорокин, А. Ф. Керенский был лидером партии и думской фракции трудовиков. Эсером стал с марта 1917 г.

[35] *Карахан (Караханян) Лев Михайлович* (1889—1937) — советский государственный деятель, дипломат, в 1918—1920, 1927—1934 г. — зам. наркома иностранных дел. В 1921 — посланник в Польше, в 1922 — член коллегии Наркоминдела, с 1923 по 1926 гг. — посол в Китае.

[36] *Пятаков Георгий Леонидович* (1890—1937) — советский государственный деятель, занимал разные ответственные посты в правительстве, в начале 20-х гг. был членом Совета Труда и Обороны, зам. председателя ВСНХ.

[37] См. Ветхий Завет, Екклесиаст, гл. 11, 1.

[38] *...кончая недавними революциями...* — *Недавними* относительно 1962 года, когда писалась автобиография.

[39] *...мне удавалось... избегать «архангелов» и «фараонов»...* — В 1917 г. в автобиографии, приложенной к брошюре по выборам в Учредительное собрание, Сорокин напишет, что бежал от полицейского сыска в «Подолию», имея в виду Подолье — территорию современных Винницкой и Хмельницкой областей УССР, а уж затем только отправился за границу.

[40] *«...и дало первое впечатление...»* — После возвращения из-за границы Сорокин написал и опубликовал путевые заметки «Проезжая по Европе», чем изрядно повеселил друзей, знавших, что Сорокин проехал туда и обратно, практически не выходя из вагона.

[41] *...я не стал сдавать их в знак протеста...* — Этот демарш, символизировавший якобы протест против самодержавия, понадобился Сорокину, чтобы реабилитировать себя в глазах тех студентов, которые подвергались гонениям, когда он вояжировал за рубежом, пережидая пока улягутся страсти.

[42] *Азеф Евно Фишелевич* (1869—1918) — один из создателей партии эсеров, руководитель боевой организации и одновременно провокатор, агент полиции с 1892 по 1908 гг.

[43] На самом деле имеется в виду Малиновский Роман Вацлавович (1876—1918), провокатор в рядах социал-демократов, агент охранки. Соратник и друг Ленина, благодаря чему долго избегал разоблачения. Главным редактором «Правды» он не был. В «Правде» работал, но не редактором, а секретарем, другой провокатор М. Е. Черномазов, с которым, по-видимому, и путает его Сорокин.

[44] *...обнаружил «архангелов», поджидавших меня.* — Установлено, что с 1912 г. полиция вела наблюдение за Сорокиным. В начале 1913 г. столичные эсеры решили распространить прокламацию с призывом ко всем торгово-промышленным предприятиям и учебным заведениям выразить протест против празднования 300-летия дома Романовых однодневной забастовкой. Об этом стало известно полиции. 10 февраля были проведены обыски и аресты наиболее активных эсеров. В их число попал и Сорокин. Сведений, что именно он писал прокламацию и арестован по подозрению в ее авторстве, не имеется.

[45] *...около трех недель.* — Сорокин просидел в камере предварительного заключения Спасской части ровно две недели. Через несколько дней после ареста ему разрешили написать М. М. Ковалевскому, секретарем у которого он работал с 1912 г. Письмо было изъято и подшито к делу арестанта. Из письма следует, что Сорокина обвиняют в принадлежности к левоэсеровской организации, а это для него — «абсолютная неожиданность». Далее он пишет: «Я сидел себе над книгами, читал много докладов в ряде научных кружков, писал статьи, написал за

зиму книгу о карах и наградах, которую вы знаете и... Право же, при таких обстоятельствах, я думаю, мудрено еще заниматься политикой. Впрочем, Вы это сами знаете... Ни книг, ни пособий здесь нет и не дают. Бумаг, чернил — тоже. Света так мало, что я при своей близорукости боюсь ослепнуть. Одним словом — скверно. Единственной надеждой и утешением является то, что должно же это недоразумение кончиться, должна же истина выявиться. Неужели же ни за что ни про что сидеть... Может быть, Вы, дорогой профессор, зная достаточно хорошо меня и мое отношение к «политике», поможете как-нибудь выяснить это печальное недоразумение или же хотя бы как-нибудь улучшить мое положение в смысле книг, бумаги и разрешения свиданий...» М. М. Ковалевский все-таки узнал об участи своего секретаря, и по его прошению Сорокина освободили из-под стражи 24 февраля 1913 г.

[46] Через тернии к звездам (лат.).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

[1] *Соловьев Владимир Сергеевич* (1853—1900) — русский религиозный философ, поэт, публицист.

[2] *Чупров Александр Александрович* (1874—1926) — русский статистик и экономист, профессор, член-корреспондент Российской АН, с 1917 г. в эмиграции.

[3] *Струве Петр Бернгардович* (1870—1944) — русский экономист, философ, историк, публицист. Теоретик «легального марксизма», один из лидеров кадетов, с 1922 г. в эмиграции.

[4] *...в период, когда поездка за рубеж и работа с иностранными учеными стали невозможными.* — Сорокин выезжал в 1915 г. в Финляндию и Румынию.

[5] *Пийп Антс* — профессор-юрист, первый премьер Эстонии, а не Латвии, как пишет Сорокин.

[6] Жизнеописание (лат.).

[7] *«...чтобы получить степень доктора социологии...»* — Сорокин защищал не докторскую, а магистерскую диссертацию.

[8] *...в противоположность «красным профессорам»...* — Сорокин имеет в виду выпускников Института красной профессуры, созданного Н. И. Бухариным и до конца 20-х г. являвшегося основным поставщиком «остепененных» марксистов.

[9] *Седенко Ферапонт Иванович* (Седенко-Витязев, 1886—1938) — известен также под псевдонимами П. Витязев, Ф. И. Витязев, Лаврист и др. Русский журналист и библиограф, исследователь творчества П. Л. Лаврова, глава петроградского кооперативного книгоиздательства «Колос», до революции — член партии эсеров.

[10] *...и его сотрудников...* — Из писем Сорокина к Витязеву, хранящихся в ЦГАЛИ, известно, что этими сотрудниками были Александра Ивановна Доброхотова, секретарь правления; Р. В. Иванов-Разумник — литературовед и социолог; Ф. Я. Шевченко — зав. технической частью издательства.

[11] *...отпечатали по десять тысяч экземпляров каждого тома...* — Тираж каждого тома «Системы социологии» составил 5 тыс. экземпляров, по крайней мере такие выходные данные стоят на обложке книг.

[12] *...в качестве докторской диссертации.* — Не докторской, а магистерской диссертации.

[13] *Гревс Иван Михайлович* (1860—1941) — русский историк, специалист по

истории римского землевладения и средневековой культуре, профессор Петербургского университета.

[14] *Тахтарев Константин Михайлович* (1872—1925) — русский социолог, последний, кто преподавал социологию в России после высылки Сорокина. Лекции Тахтарева были запрещены в 1924 г., с того времени социология как учебная дисциплина исчезает из программ вузов на 60 лет.

[15] *Кареев Николай Иванович* (1850—1931) — русский историк и социолог, профессор Санкт-Петербургского университета, представитель психологического направления в социологии. Член партии кадетов, депутат I Государственной Думы.

[16] *Лапшин Иван Иванович* (1870—1952) — русский философ, профессор Санкт-Петербургского университета, выслан в 1922 г., читал философию в Пражском университете.

[17] *Гредескул Н. А., Тхоржевский С. Н.* — преподаватели Петроградского университета, причем Тхоржевский — не профессор, а приват-доцент.

[18] В цитате из «Экономиста» Сорокин намеренно выпускает несколько ключевых слов для того, чтобы представить американскому читателю эту защиту как докторскую. Сравните с подлинником, где пропущенные места выделены курсивом.

«В виду отмены в настоящее время ученых степеней и *невозможности присудить диспутанту степень магистра*, диспут закончился заявлением проф. И. М. Гревса о единогласном признании *историческим исследовательским институтом* работы удовлетворительной *и таким образом косвенным путем цель диспута была достигнута*. Многочисленная публика наградила диспутанта долго не смолкаемыми аплодисментами».

Отметим также, что защита проводилась не на юридическом факультете, который в то время был заменен факультетом общественных наук, а в историческом исследовательском институте при университете, поскольку Сорокина в конце 1921 г. отстранили от преподавательской деятельности на факультете. Полный отчет о диспуте см. в Приложении.

[19] 1-й том имел подзаголовок «Социальная аналитика. Учение о строении простейшего (родового) социального явления», 2-й — «Социальная аналитика. Учение о строении сложных социальных агрегатов».

[20] «*Система социологии*» задумывалась автором как минимум в восьми томах. Однако полностью изданы только два тома. Сжатое изложение третьего тома «Социальной механики» содержится во второй части «Общедоступного учебника социологии» (1920).

[21] *Шульгин Василий Витальевич* (1878—1976) — депутат Государственной Думы, прогрессист. Член Временного комитета Думы, принимал отречение Николая II от престола, позднее выступал против Советов и за выполнение союзнических обязательств на фронте, организовал Добровольческую армию, эмигрировал в 1920 г. В 1944 г. возвращен в СССР, осужден и отбывал срок до 1956 г.

[22] *Милюков Павел Николаевич* (1859—1943) — лидер партии кадетов, историк, редактор газеты «Речь», министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В 1920 г. эмигрировал.

[23] *...обвинение правительства в «глупости и измене»...* — В ноябре 1916 г. на заседании Государственной Думы Милюков произнес историческую речь, обвиняя германофильскую клику при дворе и в правительстве за попытки расколоть союзни-

ков и поссорить Россию и Англию. Обличая политику председателя совета министров Штюрмера, Милюков произнес фразу: «Если это не глупость, то измена!»

[24] *...обещания, торжественно данные нашей группе...* — Сорокин имеет в виду военную организацию вологодского отделения «Союза возрождения России» и политический центр эсеров.

[25] *Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна* (1844—1934) — одна из организаторов и лидеров партии эсеров. С 1873 г. участвовала в народническом движении, в 1874—1896 гг. на каторге и в ссылке. В 1907 г. вновь арестована и сослана. Освобождена в марте 1917 г. В 1918 г. — член Комуча (антибольшевистского правительства в Самаре). В 1919 г. эмигрировала в США.

[26] *Чайковский Николай Васильевич* (1850/51—1926) — русский политический деятель, народник, руководитель кружка «чайковцев», вернулся в Россию из эмиграции в 1906 г., был эсером, с 1917 г. — трудовик, т. е. член трудовой народно-социалистической партии. В 1918 г. — глава Верховного управления Северной области.

[27] *Плеханов Георгий Валентинович* (1856—1918) — теоретик и пропагандист марксизма, основатель первой группы русских марксистов «Освобождение труда» и РСДРП, лидер меньшевизма.

[28] Временный Совет Российской республики (предпарламент, Всероссийский демократический совет) — совещательный орган при Временном правительстве. Решение о его создании принято Демократическим совещанием 20 сентября (3 окт. по н. ст.) 1917 г. Первое заседание состоялось 7 (20) октября в Мариинском дворце, председателем избран эсер Н. Д. Авксентьев. Большевики бойкотировали предпарламент, а 25 октября (7 нояб.) окружили дворец и распустили совет.

[29] *...необходимо упомянуть смерть моих учителей и друзей...* — М. М. Ковалевский скончался 23 марта 1916 г. Сорокин, как его секретарь и ассистент, буквально на следующий же день дает несколько статей-некрологов в газеты «День», «Биржевые ведомости», «Русские ведомости». Несколько дней спустя он публикует еще несколько материалов мемуарного характера. Чувство меры несколько подвело Сорокина, в результате чего небольшая заметка «Исповедь М. М. Ковалевского» вызвала негодование православного общественного мнения. Он описал в газете, как исповедовался профессор исключительно «ради памяти своей матери», поскольку был атеистом. «Голос Руси» (29 марта) назвал сорокинские воспоминания «гнусностью», отметив, что, «если все это фантазия гос. Сорокина, то она весьма характерна для определения личности автора». В том же ключе выступила и газета «Земщина» (2 апреля). В мае 1916 г. преподаватели кафедры социологии Психоневрологического института во главе с Сорокиным задумали создать Социологическое общество им. М. М. Ковалевского. Первое учредительное собрание общества состоялось 13 ноября 1916 г. в здании курсов Лесгафта. В повестке заседания была речь Н. И. Кареева, посвященная памяти Ковалевского, а также выборы комитета и президиума общества и обмен мнениями о плане работ. Общество просуществовало до конца 1918 г., затем на его основе был создан факультет (отделение) социологии (общественных наук) при Петроградском университете. В число членов-учредителей общества входили 63 человека: Бехтерев В. М., Виноградов П. Г., Дьяконов М. А., Лаппо-Данилевский А. С., Овсянико-Куликовский Д. Н., Павлов И. П. — академики; профессоры Вернадский М. В., Вагнер В. А., Васильев А. В., Гамбаров Ю. С., Жижиленко А. А., Кареев Н. И., Лапшин И. И., Петражицкий Л. И., Ростовцев М. И., Струве П. Б., Тарле Е. В., Туган-Баранов-

ский М. И., Чупров А. А. и другие; кроме того в обществе состояли Гизетти А. А., Ковалевский Е. П., Маклаков В. А., Милюков П. Н., Пешехонов А. В. и т. д. Секретарями общества избрали Сорокина и Кондратьева (Архив АН СССР, ф. 113, оп. 2, ед. хр. 87.)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

[1] *...два полка при оружии и с красными флагами покинули казармы...* — Имеются в виду Преображенский гвардейский и Волынский резервный гвардейский полки.

[2] *...выполнял фактические обязанности Временного правительства.* — Временное правительство было создано по соглашению между Временным комитетом Государственной Думы и Петроградским советом рабочих депутатов. В первый состав правительства вошли князь Г. Е. Львов, П. Н. Милюков, А. И. Гучков и другие представители буржуазно-либеральных партий, в основном — кадеты. Керенский — единственный эсер. Исполком Думы был сформирован с целью поддержания порядка и в противовес исполкому Петросовета, его возглавил М. В. Родзянко, лидер октябристов.

[3] *Возле Думы жил адвокат Грузенберг.* — Сорокин имеет в виду известного петроградского юриста Оскара Осиповича Грузенберга (1866—1940), жившего на ул. Кирочной.

[4] *«В каждом революционере прячется жандарм* — фраза из романа Г. Флобера «Воспитание чувств».

[5] *...Вопрос остался без ответа.* — Пожары и погромы судебных и полицейских учреждений потребовались для уничтожения архивов.

[6] *...Совет рабочих и солдат...* — Имеется в виду Петроградский Совет рабочих депутатов, Советом *рабочих и солдатских* депутатов он стал позднее.

[7] *Суханов (Гиммер) Николай Николаевич* (1881—1940) — революционер, эсер, с 1917 г. меньшевик. После гражданской войны работал в экономических учреждениях. В 1931 г. репрессирован.

[8] *Нахамкес (Стеклов Юрий Михайлович)* (1873—1941) — российский революционный деятель, член социал-демократической партии с 1893 г., до 1917 г. меньшевик. Член Петроградского Совета, затем редактор «Известий» и ряда других изданий.

[9] *Чхеидзе Николай Семенович* (1864—1926) — член Государственной Думы, меньшевик, после Февральской революции — член Временного комитета Думы и председатель Петросовета, председатель ВЦИК первого созыва. В 1918 г. — председатель Учредительного собрания Грузии. В 1921 г. эмигрировал.

[10] *Набоков Владимир Дмитриевич* (1869—1922) — юрист, адвокат, публицист, лидер кадетов. Депутат Государственной Думы, редактор-издатель «Вестника партии народной свободы». В 1917 г. управляющий делами Временного правительства. Отец писателя Набокова В. В.

[11] См. прим. 2 к гл. седьмой.

[12] *Кровопролитие не было серьезным.* — По оценкам западных дипломатов, число убитых во время беспорядков на улицах составляло около тысячи человек.

[13] *...отказался от трона.* — Великий князь Михаил Александрович подписал манифест, что примет верховную власть только в том случае, если таково будет желание народа, ясно выраженное Учредительным собранием, которое и определит

окончательную форму правления. Далее они призвал всех граждан повиноваться Временному правительству. Таким образом, он *не отрекался* от престола.

[14] Позднее Сорокин и А. И. Гуковский вместе боролись с большевиками на Севере России. Гуковский входил в правительство Н. В. Чайковского в Архангельске.

[15] Первый номер газеты «Дело народа» вышел 15(28) марта 1917 г.

[16] Похороны жертв революции проходили на Марсовом поле, без религиозных церемоний. Всего было захоронено в тот день около 200 гробов.

[17] Дата ошибочна: на самом деле 22 марта (4 апреля).

[18] *«Воля народа»* — ежедневная петроградская газета, выходила с 29 апреля (12 мая) 1917 г. Редакторы: А. А. Аргунов, Е. К. Брешко-Брешковская, В. Миролюбов, В. М. Чернов, Е. А. Сталинский, А. И. Гуковский, П. А. Сорокин и позднее Б. В. Савинков. С ноября 1917 г. из-за закрытий несколько раз меняла названия. Окончательно разгромлена в феврале 1918 г.

[19] *Ленин и его компаньоны приехали.* — Ленин прибыл в Петроград 4 (17) апреля 1917 г.

[20] *Правительство объявило, что Милюков будет смещен.* — Нота Милюкова от 18 (30) апреля привела к кризису в правительстве и созданию 5 (18) мая коалиционного кабинета, куда вошли шесть министров-социалистов. Милюков был смещен с поста министра иностранных дел. Его место занял М. И. Терещенко, не принадлежавший ни к одной из партий.

[21] *Де Брукер Луи* (1870—1951) — один из лидеров Бельгийской рабочей партии; *Вандервельде Эмиль* (1866—1938) — руководитель партии, с 1914 г. входил в состав правительства Бельгии.

[22] *...дали обед в честь Альбера Томá* — французский министр снабжения, два месяца исполнявший обязанности посла в России после отзыва Мориса Палеолога.

[23] *Крестьянский съезд открылся...* — Имеется в виду 1-й Всероссийский съезд крестьянских депутатов.

[24] *Зиновьев* (Апфельбаум Евсей-Гершен Аронович, 1883—1936) — видный деятель большевиков, после революции председатель Петроградского Совета.

[25] *26 мая 1917 был днем моей свадьбы.* — Женой Сорокина стала Е. П. Баратынская (см. примеч. 10 к главе четвертой). В Коми крае ходили упорные слухи, что у Сорокина была еще одна жена, дочь крупного купца из Усть-Сысольска, на деньги которого Питирима откупили от смертной казни в 1918 г. Здесь ему явно приписывают факты из биографии Степана Осиповича Латкина, председателя Усть-Сысольской уездной земской управы, непримиримого борца с советской властью и близкого знакомого Сорокина по учебе в Петербурге. Латкин также был весьма известной личностью в Коми крае, и неудивительно, что сплетни о них обоих частично повторяли друг друга. Во всяком случае, тщательные архивные поиски подтверждают, что Сорокин был женат только один раз — на Елене Петровне Баратынской.

[26] *...мне уже надо было поторапливаться на другое окаянное мероприятие.* — По свидетельству Е. Н. Кондратьевой, ее отец часто, смеясь, вспоминал этот эпизод. Посидев некоторое время в ресторане в компании приглашенных друзей, Сорокин встал и ушел с женой, предоставив друзьям самим расплачиваться за съеденное и выпитое.

[27] *Масарик Томаш* (1850—1937) — философ-позитивист религиозно-этического направления, в 1918—1935 гг. президент Чехословакии.

[28] *Возник очень серьезный кризис.* — Сорокин имеет в виду «июньский кризис». Начался забастовкой на нескольких заводах, 8 (21) июня, которую спровоцировали большевики и анархисты после попытки властей освободить дачу бывшего царского министра П. Н. Дурново от захвативших ее «экспроприаторов». Большевики воспользовались моментом, и в день забастовки их ЦК партии назначил выступление рабочих и солдат против правительства на 10(23) июня. Съезд Советов 9(22) июня запретил демонстрацию, и большевики вынуждены были подчиниться, так как большинство населения их не поддерживало. Съезд принял решение о проведении 18 июня (1 июля) мирной демонстрации на Марсовом поле для возложения венков к могилам жертв Февральской революции.

[29] *Наше наступление на фронте началось блестяще.* — Совокупность наступательных операций ряда русских фронтов летом 1917 г., так называемое «июньское наступление». Керенский, тогда военный и морской министр, отдал приказ о начале наступления под давлением генералитета. Основной удар наносился Юго-Западным фронтом (главком — генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов). Были взяты города Калуш, Станиславов и Галич. Однако большевики усилили революционную пропаганду, стремясь разложением армии ослабить правительство и сорвать наступление, добиться разгрома и ощутимых потерь наших войск. Это привело бы к перемене общественного мнения против продолжения войны и возмущению масс, которое большевики планировали использовать для захвата власти. Начавшееся 18—19 июня (1—2 июля) наступление из-за массового ухода солдат с позиций развито не было.

[30] *Наша революционная армия потерпела поражение.* — 6(19) июля австро-германские войска нанесли контрудар на Тарнополь, затем контратаковали на Румынском фронте 24 июля (6 августа), бои продолжались до 30 июля (13 авг.). Наши войска оставили Галицию, и общие потери в июньском наступлении и последующих боях составили около 150 тыс. человек убитыми и ранеными. Описывая эти события как «катастрофу», Сорокин забегает вперед, поскольку она случилась после июльского кризиса, о котором речь впереди.

[31] *Савинков Борис Викторович* (1879—1925) — эсер, руководитель боевой организации партии. В то время товарищ (зам.) военного министра (А. Ф. Керенского), комиссар Временного правительства при Ставке Верховного главнокомандующего (А. А. Брусилова).

[32] *...требуют введения смертной казни для дезертиров.* — 7 июля, после начала контрудара немцев, Корнилов послал Керенскому телеграмму, в которой требовал ввести смертную казнь за дезертирство и отказ выполнять приказы. Получив копию телеграммы, его поддержал Союз офицеров.

[33] *Опять верх берут большевики и анархисты.* — Сорокин имеет в виду события 3(16) июля, когда солдаты 1-го пулеметного полка, находившиеся под сильным влиянием анархистов, призвали солдат и рабочих Петрограда к вооруженному выступлению. Все началось с того, что стало известно о намерении правительства вывести часть войск петроградского гарнизона на передовую в качестве резервов. 1-й пулеметный полк поддержали Московский гренадерский, Павловский, 180-й, 1-й запасные полки и 6-й саперный батальон. Большевики сумели настроить солдат этих частей против войны и в первую очередь против отправки на фронт. Возбуждая массы против правительства, большевики все же не решались призвать к открытому вооруженному восстанию и выдвинули лозунг «мирной вооруженной демонстрации».

[34] *Это я... бросил бомбу в царского министра.* — Имеется в виду министр внутренних дел В. К. Плеве, убитый эсером Е. С. Сазоновым. Савинков принимал непосредственное участие в этом покушении, а также в убийствах Великого Князя Сергея Александровича, шефа отдельного корпуса жандармов бывшего министра внутренних дел П. Н. Дурново и других.

[35] *«Финляндия, Украина и Кавказ объявили о своей независимости».* — Гельсингфорсский сейм рабочих организаций, созданный в марте 1917 г. в Великом княжестве Финляндском, под идейным руководством социал-демократов, несмотря на права широкой автономии, данные Финляндии Временным правительством, под шумок июльского кризиса 5(18) июля принял «Закон о власти», ограничивший компетенцию Временного правительства только внешней политикой и военными вопросами. Организаторы этого демарша финские большевики и здесь, естественно, ставили задачей всемерное ослабление центральной власти для ее захвата. 18(31) июля Временное правительство разогнало самозваный сейм и восстановило статус-кво. Подобные акции предпринимались и в других частях Российской империи.

[36] *...ее революционный энтузиазм — не что иное, как опосредованное удовлетворение ее нимфомании.* — Сорокин намекает на любовные похождения А. М. Коллонтай под лозунгом свободной «революционной» любви. Позже Ленин и другие руководители большевиков вынуждены были даже пожурить ее за очередную связь с П. Е. Дыбенко.

[37] *Большевики... дадут ему все, чего он добивается.* — После прибытия в Россию Л. Д. Троцкий, выжидая, присоединился к небольшой социал-демократической группе под названием «Объединенные социал-демократы», более известной как «межрайонцы», которая существовала с 1913 г. и заявляла о своей независимости от большевиков и меньшевиков. В июле 1917 г. эта группа (около 4 тыс. человек) наконец, после колебаний, присоединилась к большевикам. Именно поэтому меньшевики обозлились на Троцкого.

[38] *Дан (Гурвич) Федор Ильич* (1871—1947) — лидер меньшевиков, в социал-демократическом движении с 1894 г. В 1917 г. член исполкома Петроградского совета, член ВЦИК. В 1922 г. выслан за границу.

[39] *Бунтовщики рассеяны.* — Основной ударной силой верных правительству войск были казаки, которые быстро разогнали и разоружили несколько тысяч кронштадтских матросов.

[40] *...большевистские лидеры получили большие суммы денег от немецкого генерального штаба.* — Вопрос получения денег большевиками аналогичен тайным протоколам Молотова — Риббентропа. Сначала он замалчивался, затем от него открещивались, и наконец тайное стало явным. После обстоятельного исследования Авторханова и публикаций ряда документов сомнений в этом неблаговидном поступке большевиков не остается (см. *Авторханов А.* Происхождение партократии. Т 1. Ленин и ЦК. Франкфурт-на-Майне, 1981. С. 318—329).

[41] *...и секретаря премьер-министра Керенского.* — Керенский получил пост министра-председателя 8(21) июля 1917 г.

[42] *Тобольск* — город в Тюменской области на реке Иртыш вблизи впадения в нее р. Тобол. В дореволюционной, да и послереволюционной России место политической ссылки.

[43] *..мой старый друг и соратник господин Панкратов...* — Имеется в виду Василий Семенович Панкратов, один из первых рабочих-революционеров, член «Народ-

ной воли», 14 лет из 20, на которые был осужден, провел в Шлиссельбургской крепости. В 1905 г. бежал из Якутской ссылки, вступил в партию эсеров и принимал участие в Московском восстании 1905 г. В 1917-м назначен комиссаром Временного правительства по «охране бывшего царя». В 1923 г. опубликовал свои воспоминания. Николая Второго сопровождал также комиссар Временного правительства Макаров, отвечавший за размещение бывшего царя.

[44] *...Керенский хотел выслать семью в Англию.* — История с высылкой царской семьи довольно запутана. Весьма неблаговидно выглядит препирательство между Милюковым и бывшим английским послом в России Дж. Бьюкененом по поводу приглашения императора в Англию (см. статью Бьюкенена в «Revue de Paris» от 15 марта 1920 г.). Временное правительство запросило английское правительство и короля о возможности приезда в страну Николая Второго и его семьи. Англичане вроде сначала согласились, но затем Ллойд Джордж отказал царю в разрешении на въезд. Английский посол отрицал это и валил все на слабость Временного правительства, которое не могло и боялось преодолеть сопротивление Советов, а точнее большевиков, опасавшихся, что вокруг царя будут объединяться все их противники-несоциалисты. Милюков в своей газете «Последние новости» опровергал доводы посла. Керенский в своем сборнике статей «Издалека» также пишет, что «Временное правительство... вело соответствующие дипломатические переговоры с лондонским кабинетом. Однако уже летом, когда оставление царской семьи в Царском Селе сделалось совершенно невозможным, мы... получили категорическое официальное заявление о том, что до окончания войны въезд бывш. монарха и его семьи в пределы Британской империи невозможен (см. Приложение к книге Дж. Бьюкенена «Мемуары дипломата». М., 1924).

[45] *26 августа генерал Корнилов начал ее...* — Началом корниловского мятежа принято считать 25 августа (7 сентября) 1917 г. 24 августа Корнилов отдал приказ о создании отдельной армии под командованием генерала А. М. Крымова. 25 августа несколько подразделений конного корпуса и Кавказская («Дикая») дивизия (неукомплектована — всего 1350 шашек) были посажены в эшелоны и двинулись к Петрограду. 26 августа Корнилов предъявил Керенскому ультиматум: явиться в Ставку и сдать властные полномочия.

[46] *Группа прокорниловских несоциалистов...* — В число несоциалистов, поддерживавших Корнилова, входили председатель «Республиканского центра» К. Николаевский, кадеты П. Н. Милюков, Н. М. Кишкин, В. А. Маклаков, Н. В. Львов, А. И. Шингарев, октябристы С. И. Шидловский, М. В. Родзянко и другие. В первой половине августа было проведено несколько конспиративных встреч представителя Корнилова с этими деятелями. Результатом стала договоренность об организации кадетами правительственного кризиса после выступления Корнилова. Так и случилось: 26 августа министры-кадеты, выполняя обещание, подали в отставку.

[47] *Керенский... характеризовал Корнилова и его сторонников как государственных изменников.* — Государственными изменниками Керенский величал их после начала мятежа. Однако стоит упомянуть, что не кто иной, как Александр Федорович в июле, ввиду неудач на фронтах, развала армии и усиления противостояния с большевиками стал искать генерала на роль военного диктатора. Первым делом он обратился к генералу А. А. Брусилову, верховному главнокомандующему, учитывая его популярность в армии. Брусилов отказал, дав понять, что считает любую попытку установления диктатуры «подарком» большевикам. Затем Керенский попытался столковаться с другими генералами, но встретил явную неприязнь

с их стороны и благоразумно оставил этот замысел. Последним козырем был Лавр Георгиевич Корнилов, которого «опекал» личный представитель министра-председателя Б. В. Савинков. Два авантюриста быстро нашли общий язык, и 18 июля Верховным главкомом русской армии стал Корнилов. Однако уже к 12 августа стало ясно: новый главком успел сговориться с правыми лидерами, что сразу бросилось в глаза на Государственном совещании в Москве. Керенский стал побаиваться Корнилова, не без оснований полагая, что диктатор вполне обойдется и без него. После ультиматума они стали врагами. Есть, правда, сомнения, был ли ультиматум вообще или это отсебятина Н. В. Львова, доставившего послание Корнилова.

[48] *...армия патриотов разделилась на три лагеря.* — Под тремя лагерями Сорокин подразумевает эсеров, мечущихся кадетов и партии крупной буржуазии, делавших ставку на Корнилова.

[49] *Верховный комитет по борьбе с контрреволюцией...* — Сорокин имеет в виду Комитет народной борьбы с контрреволюцией, образованный 27 августа (9 сентября) 1917 г. В него вошли по пять человек от ВЦИК и исполкома Совета крестьянских депутатов (в том числе Сорокин), по три человека от большевиков, меньшевиков и эсеров (как партий), трое от профсоюзных органов и др., всего 30 человек.

[50] *Рязанов* (Гольдендах) Давид Борисович (1870—1938) — участник российского социал-демократического движения. В 1917 г. «межрайонец», затем большевик. В 1921—1931 гг. директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса.

[51] *Следующим утром генерал Крымов... застрелился.* — Крымов застрелился 31 августа (13 сентября) 1917 г.

[52] *...и первый Всероссийский Совет...* — Имеется в виду Временный Совет Российской республики, первоначально называвшийся Всероссийский демократический совет (см. примеч. 28 к гл. шестой).

[53] *Чтобы уничтожить предыдущее правительство... потребовалось всего лишь 24 часа.* — Это далеко не так. Хотя утром 25 октября (за 16 часов до ареста части министров) большевики и объявили о низложении Временного правительства, оно еще в течение трех недель продолжало по мере сил и возможностей выполнять свои функции. Во-первых, не всех министров арестовали, во-вторых, не тронули заместителей (товарищей) министров. С возможностями дело обстояло хуже. Тем не менее работа правительства продолжалась. Петроград — не вся Россия. Декреты, которые «пекли» большевики, оставались пустыми бумажками. Основная задача правительства в этот момент — обеспечение выборов в Учредительное собрание, назначенных на 12 ноября. Важнейший документ — Обращение Временного правительства к народу России, опубликованное в кадетской газете «Наша речь» от 17 (30) ноября, когда началось проведение выборов. Обращение перепечатали примерно полтора десятка либерально-демократических и социалистических газет. В нем правительство, дав оценку положению, призвало народ сплотиться вокруг Учредительного собрания, которое должно на законных основаниях принять всю полноту власти. За Обращением следовало последнее постановление правительства, заканчивавшееся так:

«...Не считая возможным откладывать дня созыва Учредительного собрания, Временное правительство постановляет: назначить открытие Учредительного собрания в Петрограде в Таврическом дворце 28 ноября в два часа дня.»

Подписали Обращение и постановление и. о. министра-председателя, министр

продовольствия С. Прокопович; министр юстиции П. Малянтович; министр внутренних дел, почт и телеграфов А. Никитин; министр труда К. Гвоздев; министр путей сообщения А. Ливеровский; министр земледелия С. Маслов; за мин. просвещения, товарищ министра В. Вернадский; за министра иностранных дел, товарищ министра А. Нератов; за министра финансов, товарищ министра М. Фридман; управляющий министерством торговли и промышленности Н. Саввин; за министра государственного призрения, товарищ министра К. Голубков; за государственного контролера, и. о. члена совета государственного контроля Г. Краснов. (Подписано в Петрограде, 16 ноября.) Правительство, выполняя свой долг и обещания народу, передавало власть Учредительному собранию и слагало с себя полномочия. Грубому насилию самозванцев оно противопоставило моральную силу и закон. Но уже в день выхода газет с Обращением срочное заседание военно-революционного комитета Петрограда постановило арестовать всех подписавших документ («Известия», 18 ноября 1917 г., № 229, с. 3). В постановлении ВРК, под видом «заботы о безопасности» подлежащих аресту членов Временного правительства, предписывалось отправить их в Кронштадт, что фактически означало разрешение на самосуд анархически настроенным матросам. К счастью, подписавшиеся не были дураками и прекрасно понимали смысл «заботы» большевиков. Препровождать в Кронштадт оказалось некого... Заодно большевики свели счеты и с газетами (в том числе и сорокинской), которые напечатали Обращение: были закрыты редакции, разгромлены типографии, арестованы сотрудники. Уцелели только «Вольность» и левоэсеровская «Дело народа». После этого большевики всерьез озаботились подготовкой к разгону Учредительного собрания, но открыто выступить против воли большинства народа еще боялись. Результаты выборов были далеко не в их пользу. Начались маневры: 26 ноября Совнарком принимает решение, что открыть собрание можно только при наличии 400 депутатов, и одновременно большевики приступают к физическому устранению конкурентов: кадетов и эсеров.

54 См. примеч. 52 к настоящей главе.

55 *...и трех сотен кадетов.* — Кадеты, воспитанники средних военных учебных заведений, соответствующих современным суворовским училищам.

56 *...бросили в Петропавловскую крепость к царским министрам.* — Министров арестовали в 2 часа 10 минут в ночь на 26 октября и пешком погнали в Петропавловскую крепость. Сидевшие уже там царские министры в общем-то сочувственно встретили новых заключенных. (Забавная деталь: когда Щегловитов, царский министр юстиции, увидел Терещенко, министра финансов, а позже иностранных дел во Временном правительстве, он слегка пожурил товарища по несчастью: «Вы заплатили 5 млн. рублей, чтобы оказаться здесь, а я бы засадил вас сюда бесплатно.» Ходили слухи, что семейство Терещенко, миллионеры, как, впрочем и другие толстосумы вроде Саввы Морозова, тайно финансировали революционеров.) Часть арестованных министров-социалистов вскоре была отпущена (С. Н. Прокопович, А. М. Никитин, К. А. Гвоздев).

57 *Некоторых...убили с садистской жестокостью.* — Так, помощника военного министра князя Туманова бросили в Неву и утопили.

58 *...и подписал ее полным именем...* — Две статьи действительно вышли в газете «Воля народа» буквально в следующие дни после большевистского мятежа; назывались они «Победителям» и «Во власти преторианцев». Сорокин подписал их полным именем, сразу поставив себя в непримиримую позицию по отношению к захватившим власть. Обе статьи см. в Приложении.

[59] *Генералиссимус Духонин убит вместе с сотнями других офицеров.* — Военно-революционные комитеты в войсках подняли бунт неповиновения и в первую очередь начали уничтожать офицеров, которые могли бы заставить верные воинские части выступить в поддержку законной власти. Однако Верховный главнокомандующий Н. Н. Духонин был убит 20 ноября (1 дек.) 1917 г. в результате солдатского самосуда в Могилеве. Массовое избиение офицеров началось несколько раньше, после провала наступления частей генерала П. Н. Краснова на Петроград. Об этом несколькими строками выше пишет Сорокин: «Керенский потерпел поражение». Краснов двинул по просьбе министра-председателя около тысячи сабель 1-й Донской и Уссурийской казачьих дивизий днем 26 октября на столицу. 27 октября занял Гатчину, а 28 октября — Царское Село. Перевес в силах большевиков был многократным, так как они сняли почти весь плавсостав с кораблей Балтфлота. 1 ноября они отбили Гатчину. Командующий большевистскими войсками подполковник М. А. Муравьев (левый эсер) 2(15) ноября отдал официальный приказ расправляться «на месте самосудом» с взятыми в плен офицерами.

[60] *Аргунов А. А.*, редактор «Воли народа», а также С. В. Дмитриевский, В. Я. Яроцкий, сотрудники газеты народных социалистов «Трудовое слово», Д. Д. Протопопов, редактор кадетских изданий и член ЦК своей партии, были арестованы 17 ноября в день опубликования Обращения Временного правительства. Через несколько дней выпущены — это было первым предупреждением, — большевики еще не решались осудить депутатов Учредительного собрания, которые формально пользовались парламентской неприкосновенностью. Вскоре и это обстоятельство уже не остановит их.

[61] Хронология не выдержана: выборы начались 12 ноября, но проходили долго, преодолевая трудности. Большевики делали все, чтобы сорвать их, а затем объявить результаты недействительными.

[62] *За последнюю неделю я выступал на двенадцати митингах.* — Небезынтересно вспомнить характеристику, которую один член ЦК партии эсеров И. Бунаков (Фундаминский Илья Исидорович) давал другому — В. М. Чернову: «...Чернов негодяй, но он может *тринадцать* речей в один день произнести!» Стиль тогда, наверное, был такой. (См. воспоминания З. Н. Гиппиус «Дмитрий Мережковский». М., 1991. С. 460.)

[63] В Учредительное собрание народ избрал 715 депутатов: эсеров — 412, из них 30 левых эсеров, большевиков — 183, меньшевиков — 17, от национальных групп — 81, кадетов — 16, народных социалистов — 2, невыясненной партийности — 4. Эти данные приведены в книге М. В. Вишняка «Всероссийское Учредительное собрание» (Париж., 1932). В книге «Всероссийское Учредительное собрание» (М.; Л., 1930. С. 115) даны другие цифры, которые, однако, незначительно отличаются от приведенных. Дело в том, что выборы были проведены не во всех 79 округах, и протоколы выборов так никогда и не были окончательно оформлены. Также незначительно расходятся с вышеприведенными данные из энциклопедии «Великая Октябрьская соц. революция» (М., 1977. С. 625): большевиков по этим сведениям было избрано еще меньше — 175 человек.

[64] *...набрал на выборах ...около 90 % голосов.* — По Вологодскому губернскому округу список № 1 от эсеровской партии и губернского Совета крестьянских депутатов включал С. С. Маслова, П. А. Сорокина — от партии, В. А. Баскакова, П. С. Юрецкого, Н. В. Расчесаева, И. И. Галкина — от крестьян. Голосование шло списком: все прошли. Точное количество голосов поданных за список эсеров

неизвестно, но ни один другой кандидат по иным спискам депутатом не стал. Результаты голосования определялись по т. н. системе Д'Ондта.

[65] *...сегодня должно открыться Учредительное собрание.* — Сорокин неточен: день открытия Учредительного собрания был назначен на 28 ноября (11 декабря) 1917 г. Демонстрация состоялась в тот же день.

[66] *Была принята резолюция, что... Учредительное собрание откроется 5 января.* — Большевики еще опасались разогнать Учредительное собрание, но и не хотели признать свое поражение на выборах. Поэтому они объявили охоту на членов партии кадетов (26 ноября), поставив их вне закона, если считать «законом» беззаконие большевиков. Естественно, спасаясь от арестов, кадеты не могли присутствовать на открытии Учредительного собрания. Парламентская неприкосновенность не действовала. Так, 28 ноября утром были арестованы члены ЦК кадетской партии А. И. Шингарев и Ф. Ф. Кокошкин, позже зверски убитые в Мариинской больнице ворвавшимися туда матросами. Под шумок арестовывали и многих правых эсеров. Большевики же мотивировали закрытие Таврического дворца тем, что на собрании не было кворума.

Совнарком попытался сделать вид, что такой резолюции вроде и не существует. Однако спустя месяц, 20 декабря (2 января), вынужден был принять собственную резолюцию, также назначавшую открытие на 5(18) января 1918 г.

[67] *Эти совещания... проходили у меня на квартире.* — Адрес квартиры: Петроградская сторона, Большой пр., 13, кв. 8.

[68] *...после слов, произнесенных моим другом К.* — Имеется в виду Н. Д. Кондратьев. В момент написания дневников, выдержки из которых приводит Сорокин, фамилии многих друзей он зашифровывал.

[69] Хор пришлых людей из первого действия оперы М. Мусоргского «Хованщина». Текст в переводе со старославянского (см. клавир оперы под ред. П. Ламма. М.: Музыка, 1932. С. 79.).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

[1] *Из бездны* (воззвал к Тебе, Господи) — лат. *De profundis (clamavi ad te Domine)*, начальные слова 129-го псалма латинского перевода Библии, выполненного блаженным Иеронимом. В русской православной Библии начало 129-го псалма переведено иначе: Из глубины взываю к Тебе Господи.

[2] *Я был арестован 2 января 1918 года.* — 1 января 1918 года машина, в которой ехал Ленин, была обстреляна неизвестными. Никто не пострадал. Сообщение о «покушении» опубликовано в «Правде» 3 января. Время для выстрела неизвестные лица выбрали очень удачно — накануне открытия Учредительного собрания. Большевики произвели массовые аресты эсеров и прочих своих противников. Показательно, во всяком случае, что только большевики явились на открытие Учредиловки в полном составе, остальных депутатов было вполовину меньше.

[3] Комитет (членов) Учредительного собрания, «Комуч» — правительство, образованное 8 июня 1918 г. в Самаре после ее захвата белочехами. Действовал от имени Учредительного собрания, состоял из депутатов, в основном эсеров. Сорокин ошибочно назвал комитетом ту организацию, о которой пишет. На самом деле она называлась «Союз защиты Учредительного собрания». Союз возник в ноябре 1917 г. после распада «Комитета спасения родины и революции». В него входили

эсеры, меньшевики, народные социалисты и кадеты. Организация издавала «Известия Союза защиты Учредительного собрания» до января 1918 г., распространяла сотни тысяч листовок в защиту собрания и организовала 5 января демонстрацию в поддержку Учредительного собрания, которая была расстреляна большевиками. После разгона Учредительного собрания союз распался.

[4] *Аргунов Александр Александрович* — русский революционер, один из лидеров эсеров, младший брат историка Р. А. Аргунова, после 1920 года в эмиграции.

[5] См. примеч. № 2 к гл. восьмой.

[6] *«Сколь славен наш Господь...»* — начало неканонического гимна на слова псалма Давида (Пс. 64, 2) в переложении Г. Державина. Часы отбивали эту мелодию каждый час, и лишь в 12 часов дня звучало: «Боже, царя храни!» (Экскурсия по Санкт-Петербургу. 1903. С. 8). Те же мелодии вызванивали и кремлевские куранты. После Февральской революции часы исполняли псалом и в полдень.

[7] *Кокошкин Федор Федорович* (1871—1918) — русский юрист, публицист, лидер партии кадетов, депутат Государственной Думы, во Временном правительстве занимал пост государственного контролера; *Шингарев Андрей Иванович* (1869—1918) — врач, русский общественный деятель, член ЦК партии кадетов, во Временном правительстве министр земледелия, затем министр финансов. Оба арестованы 28 ноября (10 дек.) 1917 г. за компанию с графиней С. В. Паниной, товарищем министра просвещения. Обвинения при аресте им не предъявили, и лишь спустя 12 часов задним числом был принят декрет, объявлявший всех кадетов «врагами народа». По состоянию здоровья их из Петропавловской крепости в начале января перевезли в Мариинскую больницу и содержали там под охраной, которая, впрочем, не помешала пьяным матросам и красноармейцам ворваться в больницу и убить Кокошкина и Шингарева в ночь в 6 на 7 января 1918 г.

[8] *Авксентьев Николай Дмитриевич* (1878—1943) — член ЦК партии эсеров, в 1917 г. — председатель исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, в июле — августе министр внутренних дел Временного правительства, руководитель Комитета спасения родины и революции и Союза защиты Учредительного собрания. Арестован вместе с несколькими деятелями Союза 17 (30) декабря 1917 г. за «организацию контрреволюционного заговора», как было сказано в «Известиях» от 22 декабря 1917 (4 янв. 1918) г. С конца 1918 г. в эмиграции.

[9] В последнем составе Временного правительства М. И. Терещенко был министром иностранных дел, Н. М. Кишкин — министром государственного призрения, М. В. Бернацкий — министром финансов.

[10] *Князь Долгоруков Павел Дмитриевич* (1866—1927) — земский деятель, участник создания партии кадетов, в 1917 г. в число членов ЦК партии не входил. Арестовали его вместе с прочими кадетами в конце ноября 1917 г. Позднее расстреляли как заложника на следующий день после убийства в Варшаве посланника П. Л. Войкова, о чем сообщалось в «Правде» 10 июня 1927 г. Второй брат Долгоруков Петр Дмитриевич в эмиграции дожил до 30-х гг.

[11] *Пальчинский Петр Иакимович* (1875—1929) — инженер, во Временном правительстве товарищ министра торговли и промышленности. С 28 августа (10 сент.) 1917 г. помощник по гражданской части военного ген.-губернатора Петрограда и окрестностей. Арестован 25 окт. (7 ноября) 1917 г. Расстрелян по «Шахтинскому делу о вредительстве», которое от первой до последней строчки было сфабриковано ОГПУ.

[12] Буквально: *как надо, как следует* (фр.). В данном контексте означает — щеголь; мужчина, следящий за своей внешностью.

[13] «Правда», 3 января 1918 г.

[14] В принципе, это возможно, ибо нет никаких доказательств, что покушение в самом деле имело место.

[15] Председателем был избран В. М. Чернов.

[16] См. примеч. 3 к гл. восьмой. Расстрел демонстрации произошел на углу Невского и Литейного проспектов и в районе Кирочной улицы. Была рассеяна главная колонна численностью примерно в 60 тыс. человек, однако другие колонны демонстрантов достигли Таврического дворца и были рассеяны только после подхода дополнительных войск. Руководил разгоном демонстрации специальный штаб во главе с Лениным, Свердловым, Подвойским, Урицким, Бонч-Бруевичем.

[17] *В. Н. Павлов*, член РСДРП(б), входил в состав Петроградского военно-революционного комитета, активный участник октябрьского переворота, сопровождал арестованных министров в Петропавловскую крепость, назначен ее комендантом.

[18] *Однажды меня навестил крестьянин из Вологодской губернии...* — По-видимому, один из депутатов Учредительного собрания от Вологодской губернии.

[19] *Ленин... приостановил их.* — Действительно, Ленин распорядился строго наказать виновных, но дело было спущено на тормозах.

[20] *Крамаров Г. М.*, меньшевик-интернационалист, также входил в состав Петроградского военно-революционного комитета и был участником октябрьского переворота.

[21] *...правительство большевиков переезжало в Москву.* — Москва была провозглашена столицей 10 марта 1918 г.

[22] *«Союз возрождения России»* возник в 1918 г. после подписания мира с немцами в Брест-Литовске. Основан кадетами, эсерами и народными социалистами, негерманофильского направления (Н. И. Астров, Н. Н. Щепкин, Н. М. Кишкин, Д. И. Шаховской, Н. В. Чайковский, Н. Д. Авксентьев, А. А. Аргунов, С. П. Мельгунов и др.); *«Союз за отечество и революцию»* — название неправильное, имеется в виду «Союз защиты родины и свободы», организованный в феврале 1918 г. Б. В. Савинковым.

[23] *Чехословацкий корпус* — соединение воинских частей (около 45 тыс. человек), сформированных из бывших военнопленных австро-венгерской армии. Политическое руководство осуществлял Чехословацкий национальный совет, созданный в 1915 г. в Париже, во главе с Тадеушем Масариком. Большевики дали разрешение корпусу эвакуироваться из России через Дальний Восток, но нарушили обещание и попытались разоружить его. 25 мая начался мятеж «белочехов», как называют корпус в партийной историографии.

[24] *...этот мужчина был фактическим правителем России.* — На встрече Керенский просил своего бывшего секретаря позаботиться о жене и детях. Сорокин, выезжая из Москвы на Север, забрал их с собой в Коми край и поселил в деревне Кочпон у родственников своего друга архитектора А. Холопова, где Ольга Львовна Керенская и ее дети жили до осени 1918 г., когда их забрали местные чекисты и отправили в Великий Устюг. Дальнейшая судьба их неизвестна, лишь однажды, в воспоминаниях Громыко промелькнуло, что в 1925 г. брак Ольги Львовны и Александра Федоровича был расторгнут «по причине оставления жены мужем». Однако в воспоминаниях Громыко столько ошибок (я имею в виду главу о Керен-

ском), что признать это сообщение достоверным нельзя. Во всяком случае судьба жены и детей бывшего министра-председателя вряд ли была счастливой в застенках ВЧК-ОГПУ.

[25] Сорокин выехал в Вологодскую губернию не один, более того, он был лишь рядовым посланником в помощь С. С. Маслову и Н. В. Чайковскому. В Архангельске он не появлялся.

[26] *Кедров Михаил Сергеевич* (1878—1941) — в описываемое время начальник особого отдела ВЧК в северных областях, отличался патологической жестокостью, уничтожил тысячи людей в ходе карательных операций, ввел практику заполнения барж арестованными и затем расстрела их пулеметами до потопления барж. Подробное изложение преступлений Кедрова содержится в книге С. П. Мельгунова «Красный террор» (М.: Постскриптум, 1990).

[27] Сорокин имеет в виду Сухонские склады, в которых хранилось резервное военное имущество всей русской армии.

[28] 2 августа союзники высадились в Архангельске, после чего большевики бежали, и власть перешла к правительству во главе с Н. В. Чайковским, военным министром стал С. С. Маслов.

[29] Лето 1918 г. Сорокин провел в Яренском уезде, агитируя против большевиков, за Учредительное собрание. Сведений о его деятельности немного. Наиболее известна двухчасовая лекция «О текущем моменте», прочитанная им в Яренске 13 июня 1918 г. при огромном стечении обывателей. Отчет с изложением речи Сорокина помещен в «Известиях Яренского уездного совета крестьянских депутатов» 17 июня. Кончается отчет так: «Публика аплодировала. Впечатление от лекции небывало сильное. Большинство поверило в правоту его слов и благодарно, что помог разобраться в насущных вопросах и указал путь из того тупика, куда нас загнала наша русская темень, беднота, отсутствие воли и энергии, отсутствие сознания национальных интересов.» Интересно, что во время лекции старый друг Питирима — Федор Коковкин, который был тогда председателем уисполкома и уездным военным комиссаром, послал ему записку: «Пит, меняй тему или слазь с трибуны!», но Сорокин не дал себя прервать. В отчете о лекции содержание записки тоже приведено, но в облагороженном виде: «П. А.! Богом прошу, перемените тему или прекратите лекцию.» Как бы там ни было, серьезного противодействия Сорокину в Яренском уезде не оказывали. В Великом Устюге организация эсеров действовала неэффективно, встречая сопротивление большевиков, что хорошо видно из воспоминаний В. И. Игнатьева, члена ЦК партии народных социалистов, одного из деятельных участников «Союза возрождения России» (см. «Красную книгу ВЧК». Т. 2. С. 94—131. М.: Политиздат, 1990). Заявление Сорокина о готовности к перевороту и взятию власти в В. Устюге — преувеличение.

[30] *Большевики начали на нас охоту...* — 13 июля 1918 г. председатель Северо-Двинского губисполкома Иван Михайлович Шумилов, женатый на Екатерине Ивановне Покровской, дочери И. С. Покровского, того самого священника, руководителя Гамской школы и дальнего родственника Сорокиных, предлагает следственной комиссии «в срочном порядке произвести предварительное следствие по контрреволюционной деятельности П. А. Сорокина...и, если нужно, подвергнуть его аресту с препровождением в Вологду». Несколько соратников Питирима было арестовано за распространение листовок и организацию боевых дружин. Он начинает скрываться, менять места ночевок, но в подполье еще не уходит, разъезжает в Коми крае относительно свободно. 14 сентября 1918 г. проэсеровский Совет

крестьянских депутатов в Яренске разгоняют прибывшие большевики во главе с Розалией Землячкой. В Яренск вернулись к этому времени и братья Покровские, Павел и Степан, которые стали председателем уисполкома и редактором яренской газеты, соответственно. С середины сентября ЧК пожелала поближе познакомиться с Сорокиным, и он, будучи предупрежден кем-то из друзей, скорее всего тем же Коковкиным или Катей Покровской, уходит в леса.

[31] Из Данте А. Божественная комедия. (Ад, песнь третья, ст. 9.) Перевод Д. Мина.

[32] *Когда выпал снег...* — Снег в тех местах выпадает в начале или середине октября.

[33] *До Устюга было пятьдесят верст с гаком...* — Скорее всего это преувеличение.

[34] *Сорвачев Василий Иванович* (1884—1942) — председатель Северо-Двинской губернской ЧК в 1918—1919 гг. Затем возглавил губернский совнархоз, позднее работал в финансовых органах. Губернская ЧК в 1918 г. располагалась в Великом Устюге.

[35] Все, что пишет Сорокин об истории своего ареста и т. д. мягко говоря, не совсем правдиво, однако о реальных событиях и их подоплеке мы поговорим далее. Отметим только, что до сих пор нет каких-либо свидетельств вынесения Сорокину смертного приговора ни до, ни после ареста, хотя тогда ЧК и не утруждала себя судом и следствием в подобных случаях, поэтому приговор такой вполне мог быть не документирован, если был вынесен заочно. Тем более, что 5 сентября Совнарком издал постановление, по которому расстрелу подлежали все лица, имевшие касательство к заговорам и мятежам.

[36] *В камере Великоустюжской тюрьмы...* — В то время называлась губернским исправительным домом.

[37] *...их бросают в тюрьмы как заложников...* — Наркомвнудел И. Г. Петровский 5 сентября 1918 г. разослал всем Советам телеграфный приказ во исполнение постановления Совнаркома (см. выше). Этот приказ опубликован в № 1 «Еженедельника ВЧК» под заголовком «Приказ о заложниках». Вот выдержка из него: *«...все известные местным советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен приниматься безоговорочно массовый расстрел. Местные губисполкомы должны проявлять в этом особую инициативу.»*

[38] *Петерсон Карл Андреевич* (1877—1926) — участник октябрьского переворота в Петрограде, член военно-революционного комитета. Вошел в первый состав ВЧК, затем направлен в Северо-Двинскую губернию комиссаром дивизии латышских стрелков в 1918 г. Дивизия занималась карательными операциями в прифронтовой полосе.

[39] *Бихевиоризм* (от англ. behavior — поведение) — направление в психологии, социологии, педагогике, в основе которого лежит понимание поведения человека как совокупности реакций на воздействия (стимулы) внешней среды.

[40] *...и сделать хронометрическую фотографию движений.* — Последовательная, с фиксацией затраченного времени запись совокупности простых движений при выполнении какой-либо деятельности. Используется в эргономике, социологии, экспериментальной психологии, криминологии, управлении и менеджменте.

[41] См. примеч. 27 к гл. четвертой.

[42] *М. К. Ветошкин* — в 1918 г. председатель Вологодского губисполкома.

[43] ...и вошел *комиссар юстиции.* — Это, вероятно, начальник милиции. Однако ни один из реальных людей, занимавших этот пост в Великом Устюге, не подходит под описание Сорокина. Похоже, что упоминаемый эпизод он просто выдумал, желая скрыть истинную картину своих тюремных приключений.

[44] Тут Сорокин совершенно точен: до ноябрьских праздников он не виделся со своей женой, поскольку та ездила в Гам к Покровским забирать золото, которое Сорокин хранил в доме своего учителя. В основном это были золотые монеты. Сорокин, по воспоминаниям Ф. П. Чукичева, близко знавшего и Питирима, и К. Ф. Жакова, менял по селам монеты на ассигнации. Во-первых, сказывалось трепетное отношение к драгметаллам, воспитанное еще отцом — золотых дел мастером. Во-вторых, Сорокин был достаточно умен, чтобы понимать надежность тезаврации денег в нестабильной экономической ситуации в годы первой мировой войны. Наконец, в-третьих, имея обширные знакомства в среде экономистов, финансистов, политиков и пр., он вполне мог знать о планировавшемся и осуществленном отказе правительства от свободного обмена бумажных денег на золото. Так или иначе, какие-то деньги у него были, и именно ими жена откупила его от расстрела, дав взятку И. М. Шумилову. Мало того: с 10 по 28 ноября Сорокин виделся с женой шесть раз: 10, 13, 17, 20, 24 и 28 ноября, о чем свидетельствуют сохранившиеся в архивном деле арестанта шесть пропусков «гр-ке Сорокиной Елене для свидания с арестованным Сорокиным П. А.» (Великоустюгский филиал госархива Вологодской обл. Ф. Р-20, оп. 1, ед. хр. 107.)

[45] *«Не имамы иныя помощи...»* — какон молебный к Богородице, песнь 6.

[46] *...много крестьян убито, сотня арестована.* — Имеется в виду восстание крестьян на Удоре. Присланный карательный отряд расправился с крестьянами нескольких деревень, но окончательно восстание было подавлено только весной 1919 г.

[47] Дата указана неверно: на станцию Луза Вятского направления Сорокин с сопровождающими прибыли 29 ноября 1918 г.

[48] *Он показал статью Ленина обо мне.* — Статья В. И. Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина» (ПСС, т. 37).

[49] *Мы получили приказ от самого Ленина.* — Самой телеграммы от Ленина по поводу Сорокина в архивах не обнаружено.

[50] Дата указана неверно: на самом деле — 2 или 3 декабря 1918 г.

[51] *Петерс Яков Христофорович* (1866—1938) — зам. председателя ВЧК, позднее уполномоченный ВЧК по Туркестану.

[52] *А Ленин... приказал освободить меня.* — Итак, *версия Сорокина* состоит в том, что некий бывший студент дал знать Пятакову и Карахану, а те уже пошли к Ленину и потребовали его освобождения. Ленин же, по словам Сорокина, хитроумно разыграл припадок великодушия с далеко идущими политическими целями. Рассчитывал Питирим Александрович на доверчивых американских читателей, но на самом деле все было не совсем так. Сорокин решил идти каяться и написал «отречение», с ним, по-видимому, от отправился в местную газету, где его заявление было напечатано 29 октября 1918 г. (см. статью из «Крестьянских и рабочих дум» в приложении). Поскольку эта газета — орган Северо-Двинского губисполкома, то, надо полагать, такой шаг был заранее согласован с его председателем Шумиловым И. М. На следующий день 30 октября Сорокин идет сдаваться в ЧК, где

постановлением № 1021 на него заведено «Дело № 617». В постановлении № 1251 от 30 октября 1918 сказано:

«1918 года, октября 30 дня г. В. Устюге губсевдвинЧК по допросу заподозренного в (белогвардеец, личн. секретарь Керенского) гражданина П. А. Сорокина.

Нашла необходимым впредь до особого распоряжения заключить его под стражу при В.-Устюгской тюрьме.

В силу чего

Постановила: сообщить для исполнения копию сего постановления начальнику Вел.-Устюгской тюрьмы и препроводить арестованного.

Зав. отд. Н. Шергин»

План спасения явно разработал сам Питирим, поскольку Шумилов в тот же день звонит в Вологду М. К. Ветошкину и просит его связаться с Ш. З. Элиавой, который в должности губернского продкомиссара работал тогда в Вологде. Сам Шумилов не мог знать, что Сорокин и Элиава в годы учебы были близкими друзьями. Мифический «комиссар юстиции», вероятно понадобился Сорокину, чтобы прикрыть сговор с Шумиловым и не подвести родственника. Ведь «Листки из русского дневника», откуда взяты эти эпизоды автобиографии, писались в 1923 г. в США, когда все действующие лица были еще живы. Деньги, которые жена передала Шумилову, вероятно, понадобились на подкуп сотрудников ЧК и Исправдома, дабы те не поторопились и не пустили Питирима «в расход» по ошибке. Не забудем, что обвинение его в связях с белогвардейцами означало в прифронтовой зоне расстрел, и ничего иного. Элиава связался с Пятаковым и Караханом, а они с письмом Сорокина, напечатанным в «Крестьянских и рабочих думах» отправились к В. И. Ленину, у которого и возникла мысль использовать отречение известного правого эсера для привлечения на сторону большевиков определенной части противников нового режима. 20 ноября 1918 г. «Правда» публикует по указанию В. И. Ленина письмо Сорокина, вернее, просто перепечатывает его из «Крестьянских и рабочих дум», совершив две ошибки. Письму «Правда» предпослала введение: «Петроград. *19 ноября*. В *«Известиях Северо-Двинского Исполнительного Комитета»* помещено следующее письмо члена учредилки «небезызвестного» Питирима Сорокина... (курс. мой. — А. Л.)» Здесь совершенно неверно указана дата первой публикации письма: мы знаем, что оно появилось почти на месяц раньше — 29 октября. Неверно указано и название газеты, которая, хотя и была органом губисполкома, но именовалась по-иному. Первую ошибку объяснить легко: она была намеренной, так как публикация шла в рубрике «По советской России», где публиковался обзор *текущей* прессы. Возникает вопрос, почему между сообщением Ленину обстоятельств дела и публикацией в «Правде» прошло примерно две недели? Все очень просто: Ленин не спешил решать судьбу Сорокина, однако после 13 ноября, когда был аннулирован кабальный Брест-Литовский Договор, великий мастер политического маневрирования В. И. Ленин, решил использовать момент для того, чтобы договориться с германофобами, каковыми были многие и многие противники большевиков, и ослабить их противостояние властям. Письмо Сорокина в газету оказалось очень кстати. Ленин пишет свою статью, где призывает всех образумиться и приглашает к сотрудничеству. Под названием «Ценные признания Питирима Сорокина» она опубликована в «Правде» 21 ноября, а накануне там же появилась и перепечатка «покаяния» Сорокина. 20—22 ноября Ленин в нескольких устных выступлениях снова говорит о Сорокине, оценивая несуществующее письмо

как имеющее огромное политическое значение. Никому и невдомек, что Сорокин писал его в другую газету и вовсе не под влиянием расторжения Брестского мира с немцами. Сорокина увозят в столицу. Последний документ в «Деле № 617» — постановление № 872 от 28 ноября 1918 г.:

Заведующему Исправ. Домом.
Согласно постановлению комиссии и согласно телеграммы от Предсовнаркома Ленина просим сдать арестованного Питирима Сорокина предъявителю сего для отправки его на Москву, во Всероссийскую ЧК.

Зав. от. Шергин,
секр. М. Бергис.

На обороте постановления расписка:
1918 года ноября 28 дня арестованного Питирима Сорокина и в путевое довольствие хлеба — 5 фунтов принял (Петерсон).

Зав. Исправ. Домом Баданин

Шумиха, поднятая вокруг «письма» Сорокина большевиками, нанесла политической репутации Сорокина смертельный удар. Непримиримая эмиграция считала его предателем и довольно холодно встретила. В немалой степени поэтому он отправился в США из Европы. Показательно, на следствии по т. н. «делу правых эсеров» никто не назвал его имени. Бывшие соратники подвергли его остракизму столь своеобразным, но нельзя не признать, достойным способом. В дальнейшем это обстоятельство, несомненно, мучило Сорокина, отсюда болезненное отношение к его, как ему казалось, непризнанию и гипертрофированное желание самоутвердиться.

[53] *...слово чести меня не связывало...* — Действительно, подписки об отказе от борьбы против Советской власти он не давал.

[54] Адрес Дармолатовой Марии Николаевны: Васильевский остров, 8-я линия, д. 31, кв. 5.

[55] *...карточки едва позволяли не умирать с голоду.*— Месячный «академический паек» состоял из 40 фунтов черного хлеба, 4 фунтов растительного масла или жира, 15 фунтов селедки; изредка давали мяса, 12 фунтов крупы, 6 фунтов гороху или фасоли, 2,5 фунта сахара, четверть фунта чая и 2 фунта соли.

[56] *Мне снова предложили ...должность...* — 23 декабря 1918 г. Сорокин восстановлен в числе преподавателей юридического факультета (позднее вошедшего в состав факультета общественных наук) Петроградского университета и со второго полугодия приступил к чтению объявленного еще летом 1917 г. курса «Уголовной социологии».

[57] См. примеч. 9 к гл. шестой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

[1] От греч. trōglodytēs — живущий в норе, пещере.

[2] *Хвостов В. М.* — историк, правовед, умер в конце 1918 г.

[3] *Иностранцев А. А.* (1843—1919) — русский геолог, академик, профессор Санкт-Петербургского университета с 1873 г.

[4] Список не совсем верен: Ф. Батюшков умер в 1920 г., а М. И. Каринский (у Сорокина — Карпинский) в 1917 г.

[5] *Десять казней египетских* — по библейскому сюжету кары, насылаемые на Египет Богом, дабы заставить фараона отпустить евреев в землю обетованную.

[6] *Ca ira* (это пойдет на лад, фр.) — припев песенки санкюлотов времен Французской революции.

[7] *Лазерсон Макс* (Максим Яковлевич) (1887—1951) — историк, политолог, после 1920 г. эмигрировал, преподавал в Риге.

[8] Непонятно, о каком Щепкине идет речь. Скорее всего, это руководитель «Национального центра» Н. Н. Щепкин. Организация была раскрыта, и участники расстреляны осенью 1919 г. А «Правый центр», где в руководстве состоял Д. М. Щепкин, распалась в первой половине 1918 г., а ее участники влились в другие организации.

[9] В тот период название было изменено на Детское Село.

[10] *Радлов Эрнест Леопольдович* (1854—1928) — русский философ, директор Петербургской публичной библиотеки.

[11] *Шимкевич Владимир Михайлович* (1858—1923) — русский зоолог, академик, теоретик эволюционного учения, ректор Петербургского университета в 1918—1920 гг. Фамилия «первокурсника, отобравшего печать», — не *Цвибак*, а *Бошняк*.

[12] Домогательство милостей (лат.)

[13] Зиновьева, председателя Петроградского совета, считали самозванцем, намекая кличкой «Гришка III», что у него были предшественники: Гришка Отрепьев и Гришка Распутин.

[14] В советской историографии считается, что мятеж начался 28 февраля 1921 г.

[15] Речь на торжественном собрании в день 103-й годовщины Петербургского университета была прочитана Сорокиным 21 февраля 1922 г. Текст речи «Отправляясь в дорогу» опубликован в альманахе «Утренники» (Пг., 1922. Кн. 1. С. 10—13). См. Приложение.

[16] Большевикам срочно понадобилось объяснить кронштадтский мятеж и крестьянские восстания влиянием контрреволюционеров. В июне 1921 г. чекисты начали «лепить» дело т. н. «Петроградской боевой организации», на роль руководителя которого «выбрали» профессора В. Н. Таганцева, участвовавшего ранее в деятельности «Национального центра», но отошедшего от политики. Как выяснилось уже в наши дни, весь заговор от начала и до конца выдуман чекистами под руководством Якова Агранова.

[17] *Бог не забудет ваше доброе дело.* — Имеется в виду деятельность АРА (ARA, сокр. от англ. *American Relief Administration* — Американская администрация помощи) — создана в 1919 г. под руководством Г. Гувера, функционировала до 1923 г. Создавалась для оказания помощи (безвозмездной) европейским странам, пострадавшим в первой мировой войне, с 1921 г. в связи с массовым голодом в Поволжье большевики разрешили ей действовать в России совместно с общественным Комитетом помощи голодающим, миссией Нансена при Лиге Наций и *YMCA* (Христианской организацией молодых людей).

[18] См. Второзаконие: 28, 16; 28, 18; 28, 53.

[19] Книга «Голод как фактор» с подзаголовком «Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь» явилась результатом исследований, которые Сорокин начал, работая в Институте мозга у Бехтерева и Павлова. Книга должна была выйти в кооперативном издательском товариществе

«Колос» в Петрограде, которым руководил Ф. И. Седенко. (См. примеч. № 9 к гл. шестой.) Книга была в наборе к моменту высылки Сорокина за границу: успели отпечатать только около 280 страниц, всего же в ней должно было быть примерно 560 страниц. Набор рассыпали, уцелело лишь 10 экземпляров корректурных гранок первых 280 страниц. Сохранилось лишь два экземпляра: один хранится в Библиотеке им. В. И. Ленина, а второй — в библиотеке ИНИОН АН СССР. Из переписки Седенко и Сорокина перед выездом в Прагу явствует, что Сорокин взял с собой рукопись книги и имевшиеся корректурные листы, однако на Западе книга так и не вышла, хотя отдельные ее части он позднее включал в другие свои работы. Известно, что последние годы жизни Е. П. Сорокина посвятила разбору наследия своего мужа и, в том числе, пыталась перевести на английский язык книгу «Голод как фактор», но успела сделать и издать только ее краткий реферат, из которого, однако, видно, какие главы книги были уничтожены в России.

[20] *...многие параграфы и даже целые главы были вырезаны цензурой.* — Фамилия цензора — Бородина. Она выбрасывала из книги все статистические данные, которые могли быть, по выражению Салтыкова-Щедрина, «истолкованы в смысле укора настоящему». Она же приказала уничтожить книгу после высылки автора.

[21] *...в один день взяли более ста пятидесяти человек...* — Ленин лично приказал выслать всю верхушку общественно активной интеллигенции, голос которой становился все слышнее по мере оживления страны в годы нэпа. В письме к Ф. Э. Дзержинскому он писал 19 мая 1922 г.: «Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим...» Партийным комитетам после этого было приказано составить проскрипционные списки на интеллигенцию. О том, как это делалось, см.: *Б. Харитон* «К истории нашей высылки»; *М. Осоргин* «Как нас уехали» (Социологические исследования, 1990, № 3. С. 114—124.); *М. Геллер* «"Первое предостережение" — удар хлыстом» (Вестник РХД, Париж, 1978, № 127). Собственно, образец метóды содержится в самом письме Ленина (ПСС. Т. 54. С. 265—266), который пишет по поводу журнала «Экономист»: «Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 (только третьем!!! это *nota bene*) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все — законченнейшие кандидаты на высылку за границу». Надо сказать, что список сотрудников, напечатанный по оплошности главного редактора Д. А. Лутохина, включал 53(!) фамилии. В общей сложности к высылке приговорили около 200 человек.

[22] Выслан (фр.). Строго говоря, в паспортах на трех языках было написано: «высылается за пределы РСФСР».

[23] Книга Н. И. Бухарина называлась «Теория исторического материализма» (М.: Госиздат, 1922). Статья, вернее рецензия Сорокина появилась в «Экономисте» (№ 4—5, 1922. С. 143—148). Рецензия была весьма строга, но общий тон ее — вполне благожелательный. Сорокин заканчивает ее так: «...по сравнению с обычными трудами русских марксистов-коммунистов по затронутым вопросам книга гр. Бухарина гораздо грамотнее, интереснее и научнее. По сравнению с современным состоянием «буржуазной социологии» она во многом грешит, во многом неверна и во многом отстала. И тем не менее появление ее я приветствую. Ознакомление с нею буржуазных исследователей рельефнее подчеркнет здоровое ядро социологической доктрины марксизма».

[24] *Кускова Екатерина Дмитриевна* (1869—1958) — писательница, русский об-

щественный деятель, автор знаменитого «Кредо» (1899), в 1921 г. вместе с мужем С. Н. Прокоповичем возглавляла Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол). Вместе с мужем и выслана. Жила в Праге, затем в Женеве.

[25] См. примеч. 20 к этой главе.

[26] К повествованию П. А. Сорокина следует добавить несколько фактов, опущенных им по тем или иным причинам и относящихся к 1920—1922 гг.

31 января 1920 г. факультет общественных наук 29 голосами против 19 избрал преподавателя социально-экономического отделения факультета Сорокина Питирима Александровича профессором по кафедре социологии Петроградского государственного университета. 23 февраля он утвержден в должности.

В 1920 г. группа учредителей (Н. А. Рожков, С. В. Вознесенский, В. Н. Лебедев, С. А. Оранский и другие) под председательством Е. А. Энгеля основала Научное общество марксистов (НОМ), задачей которого, как следует из устава, являлась выработка у обществоведов «твердого марксистского мировоззрения» (ЛО Архива АН СССР, ф. 238, оп. 1, 1925, д. 3, л. 21 об.). Убогий теоретический уровень членов общества и крикливая оппозиция старым философским обществам России давали известным ученым повод относиться к НОМ с презрением. Сорокин также в статье «Состояние русской социологии за 1918—1922 гг.» (Новая русская книга. Берлин. 1922, № 10 С. 7—10) охарактеризовал НОМ, как «чисто коммунистическую и краснопрофессорскую группу». Тем не менее сам он попытался в апреле 1920 г. вступить в общество, о чем говорит его собственноручное заявление, сохранившееся в ЛО ААН СССР, однако принят не был, вероятно из-за взаимной неприязни между ним и Энгелем.

На любопытные размышления наводит адрес двух командировок Сорокина: в начале 1920-го и летом 1921 г. он ездил читать лекции в Тамбовский университет. В промежутке между поездками вспыхнуло, долго полыхало, а затем было жестоко подавлено крестьянское восстание на Тамбовщине под руководством бывшего эсера А. С. Антонова.

В октябре 1921 г. в Италии должен был состояться очередной Международный социологический конгресс. Сорокин приглашен в Турин выступить на конгрессе с докладом. В университете он получает командировку за границу на два месяца. Выезд, назначенный на 15 сентября, не состоялся, так как буквально за день до отъезда в печати было опубликовано сообщение о раскрытии «заговора», в котором якобы участвовали известные профессора, коллеги Сорокина. Среди расстрелянных были его учителя и друзья, в первую очередь — Гизетти и Лазаревский. Вскоре Сорокину запрещают преподавание в университете.

В начале 1922 г. противостояние с властями стало совершенно явным. В печати началась кампания травли Сорокина, его критиковали Ленин, Троцкий, Зиновьев, Невский, Боричевский и многие другие представители власти. Начавшийся затем процесс по делу правых эсеров окончательно показал Сорокину, что его ждет на Родине. Решение уехать созрело, оставалось только ждать случая, который и представился в конце лета. 13 сентября Сорокин подписал в московском ГПУ обязательство покинуть пределы РСФСР в течение десяти дней.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

[1] *Немец Богумил* (1873—1966) — чешский ботаник. Один из основоположников экспериментальной цитологии растений.

[2] Сорокин несколько раз выступал в эмигрантских газетах с описанием положения дел в России («Руль», «Дни» и др.). Он также давал показания на лозаннском процессе по делу Конради об убийстве Воровского. Сорокин был вызван свидетелем со стороны защиты, как и С. П. Мельгунов, и рассказывал о зверствах коммунистов в России, приводил статистические данные.

[3] На титуле книги стоит дата выхода — 1923 г.

[4] Всего Сорокиным издано пять книг за это время, в том числе сокращенный вариант «Системы социологии».

[5] *Новгородцев Павел Иванович* (1866—1924) — русский юрист и философ, профессор Московского университета, сторонник неокантианства. *Зубашев Ефим Лукич* — профессор, директор Томского технологического института, член Государственного совета, председатель комитета по делам бумажной промышленности в 1917 г.

[6] *Росс Эдвард Олсворт* (1866—1951) — один из основателей американской социологии и социальной психологии.

[7] *Уорд Лестер Франк* (1841—1913) — американский социолог, основоположник психологического эволюционизма в США, первый президент Американского социологического общества; *Гиддингс Франклин Генри* (1855—1931) — эволюционист, эмпирик-позитивист и первый полный профессор социологии в США (Колумбийский ун-т, 1894); *Смолл Олбион Вудбери* (1854—1926) — один из зачинателей социологии в США, руководитель первого в Америке факультета социологии в Чикагском университете, автор первого учебника по социологии в США (1894).

[8] *Сциентизм* (от лат. *scientia* — знание, наука) — это абсолютизация науки, противопоставление ее другим формам культуры, идея обусловленности социального прогресса развитием науки.

[9] *...от теологической к позитивной стадии развития общества...* — Термины введены Огюстом Контом в т. н. «законе трех стадий» исторического развития, согласно которому «...все наши мысли необходимо проходят три сменяющих друг друга состояния: сначала теологическое состояние, где открыто господствуют спонтанно возникающие фикции, не имеющие доказательств; затем метафизическое состояние с привычным преобладанием абстракций или сущностей, принимаемых за реальность; и, наконец, позитивное состояние, неизменно основывающееся на точной оценке внешней реальности». Каждое из этих трех состояний образует основу всего социального устройства. («Система позитивной политики, или Трактат о социологии, устанавливающий религию Человечества», Париж. 1851.)

[10] Слова из Библии: 3-я книга Ездры, 8,28.

[11] *Экзистенциальные* — здесь в смысле условий существования.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

[1] *Виноградов Павел Гаврилович* (1854—1925) — русский историк, либерал, академик, с 1911 г. в Великобритании, специализировался на истории аграрных отношений в средние века.

[2] *Сикорский Игорь Иванович* (1889—1972) — русский инженер авиаконструктор, с 1919 г. эмигрировал в США. С 1923 г. работал в собственной фирме, где создал множество самолетов и вертолетов.

[3] В американских университетах факультет возглавляет выбираемый препо-

давателями председатель, университет или колледж — избираемый президент. Деканы — это представители администрации, они назначаются.

[4] *Сазерлэнд (Сатерленд) Эдвин* — американский социолог и социальный психолог, известен исследованиями в области девиантного поведения, предложил теорию дифференцированной связи для описания процесса передачи норм делинквентной (способствующей совершению правонарушений) субкультуры.

[5] Название кампуса (университетского городка).

[6] *Кули Чарльз Хортон* (1864—1929) — американский социолог, социальный психолог, автор теории «зеркального Я», один из основоположников теории малых групп, профессор Мичиганского университета.

[7] Имеется в виду новый УК РСФСР, принятый в 1922 г.

[8] Дорога скорби (лат.)

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

[1] *«Субботний» год* — положенный профессорам полностью оплачиваемый академический отпуск после шести лет преподавания в одном университете. Обычно используется учеными для написания книг по результатам исследований в предыдущие годы или проведения исследований, несовместимых с преподавательской работой. Называется «субботним» по аналогии с библейским сюжетом о сотворении мира: Бог шесть дней трудился, седьмой отдыхал. Седьмой день недели в иудаизме — суббота.

[2] Каждый университет имеет свою эмблему, у старых учебных заведений — это гербы с девизами, у более современных используется иная символика.

[3] *Фолвелл Холл* — название аудитории, где Сорокин читал лекции.

[4] Содержание курса примерно соответствует современным дисциплинам: социальные изменения и социальная структура, читаемым в университетах.

[5] Конституция США принята в 1787 г. *Билль о правах* — первые десять поправок к этой конституции, одобренные в 1789 г. и вступившие в силу в 1791 г. Провозглашал свободы слова, печати, собраний, религиозного исповедания, отделение церкви от государства, неприкосновенность личности и т. д.

[6] *«Коммьюнити»* (от англ. *community*) — поселенческая общность людей, община.

[7] *Твин Ситиз* (англ. двойной город) — города Сент-Пол и Миннеаполис, разделенные рекой и образующие единый мегаполис.

[8] *Бернард Лютер Ли* (1881—1951) — американский социолог и социальный психолог, последователь психологической социологии Ч. Эллвуда. Являлся президентом Американского социологического общества в 1932 г., был одним из организаторов журнала «Американское социологическое обозрение». Разрабатывал теорию социального конфликта, занимался социальной экологией и историей американской общественной мысли.

[9] И книги имеют свою судьбу, смотря по тому, как их принимают читатели (лат.). — Афоризм из трактата «О буквах, слогах, стопах и метрах» (стих 258) римского грамматика Теренциана Мавра (III в. н. э.).

[10] Парками в США часто называют заповедники.

[11] *Высочайший пик Колорадо* — вершина Элберт (4399 м над уровнем моря).

[12] *«Форд-Т»* — первая в мире модель автомобиля массового производства, собиралась на конвейере.

[13] Жизненная энергия, сила (фр.), «жизненный порыв» в категориальном аппарате философии Бергсона.

[14] См. примеч. № 12 к гл. восьмой.

[15] *Кусевицкий Сергей Александрович* (1874—1951) — русский дирижер, контрабасист, музыкальный деятель. Концертировал как контрабасист-виртуоз и дирижер. В 1908 г. создал в Москве свой оркестр, с которым гастролировал по России. В 1909-м основал «Российское муз. издательство», с 1917 г. руководитель Государственного симфонического оркестра (бывш. Придворный) в Петрограде. С 1920 г. в эмиграции. В 1924—1949 гг. руководил Бостонским симфоническим оркестром. Один из создателей Беркширского музыкального центра, организатор Американо-советского музыкального об-ва (1946).

[16] См. примеч. № 5 к гл. третьей.

[17] Сорокин ошибается. Троцкий выехал в свою первую ссылку в Среднюю Азию только *17 января 1928 г.* Турция, Норвегия, Америка, Мексика были позже, следовательно пребывание на острове Принципо (1929) никак не могло иметь место «два года спустя» после высылки Сорокина.

[18] Сорокин часто сокращает названия своих книг, здесь и далее мы оставляем авторское написание.

[19] *«Хрестоматия»* — не совсем точно, но я использовал это слово в переводе за неимением лучшего. Англ. *Source-book* означает книгу, где собраны материалы с анализом всех основных источников информации по какой-либо тематике с обширными цитатами и кратким изложением каждого источника. Наиболее точно было бы назвать такую книгу — «Справочно-аналитический обзор-хрестоматия».

[20] *Гарвардская корпорация* — нечто вроде «мини-академии наук», закрытое научное сообщество, которое само избирает новых членов. Осуществляет через Совет попечителей общее руководство университетом и разрабатывает стратегическую линию его развития. Подобные органы есть практически в каждом университете, однако они не имеют единого названия или одинаковой организационной структуры.

[21] Названия преподавательских должностей разнятся в зависимости от университета. *Ассоциированный профессор* — примерно соответствует доценту, ранее приват-доценту. *Тутор* — младший преподаватель с функциями куратора. *Инструктор* — преподаватель, ведущий практические или семинарские занятия.

[22] *Инбридинг* (от англ. *in breeding* — разведение внутри) — в биологии означает скрещивание близкородственных организмов, внутри одного вида. Здесь употреблено семантически буквально: выращивание преподавательских кадров в самом университете.

[23] *Кэмбридж* — город, где расположен Гарвардский университет. Не путать с Кэмбриджским университетом в Англии. Американский Кэмбридж находится в штате Массачусетс рядом с Бостоном.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

[1] В англоязычных странах принято считать студентами только учащихся первых четырех курсов. Университет или колледж выпускает бакалавров. Лучшие (или самые богатые) из них могут поступать в т. н. *graduate scholl*, что соответствует нашей аспирантуре. Первые два — три года занятий позволяют студенту защитить магистерскую степень (*master degree*), следующие три — пять лет уходят

на подготовку к докторской степени. Название докторской степени одинаково для всех социальных (поведенческих) и естественных наук — *доктор философии*. Это не более чем дань средневековой схоластической традиции. Еще существуют степени в области технических наук, социального обеспечения, медицины, изящных искусств и т. п.

[2] *Парсонс Талкотт* (1902—1979) — американский социолог, создатель теории социального действия и системно-функциональной школы в социологии. Президент Американской социологической ассоциации (1949). Парсонс, пожалуй, крупнейший западный социолог второй половины XX века. Будучи учеником Сорокина, он превзошел его в популярности своих идей, чего мэтр никогда не простил ему. Развивавшиеся болезненные черты характера Сорокина, его отношение к критике, стремление уличить других ученых в плагиате (что частенько случалось) и в недооценке его вклада в науку отмечали многие из работавших с ним. Т. Парсонс стоял во главе инициаторов перестройки факультета социологии Гарварда, и между ним и Сорокиным в 1950-е годы шла настоящая война. Этим и можно объяснить включение данного эпизода в автобиографию.

[3] Строго говоря, факультет в Петроградском университете не создавался. Была организована социологическая кафедра, на социально-экономическом отделении, создан Социологический институт при университете. Во главе этих начинаний стоял Сорокин, но отдельного факультета не существовало. Социально-экономическое отделение в 1919 г. вошло в состав факультета общественных наук. 31 января 1920 г. П. А. Сорокин был возведен в звание профессора *факультетом общественных наук*, а 23 февраля утвержден Советом университета. Деканом факультета, кстати, был вовсе не Сорокин, а Д. Д. Гримм.

[4] *...гипотезы...окажутся нерелевантными.* — Релевантный (от англ. relevant — уместный, относящийся к делу) — социологический термин, обозначающий, что некое суждение, факт или статистические данные имеют отношение к рассматриваемой проблеме или уместны в некотором заданном контексте. *Нерелевантный*, соответственно, — неуместный.

[5] *Тимашев Николай Сергеевич* (1886—1970) — русский социолог и правовед. Профессор Петроградского политехнического института (1916—1920). С 1921 г. в эмиграции, с 1936-го — в США. Основные труды выполнил в области социологии права (психологическая школа), был близок по взглядам к Сорокину, создал ряд работ по истории социологии и социально-политическому развитию России после 1917 г.

[6] Буквально: *summa* — высшая оценка; *magna* — великолепная; *cum laude* — похвальная (лат.), что могло бы соответствовать нашим 5+, 5, 5—.

[7] Так у Сорокина.

[8] *Гурвич Георгий Давыдович* (Жорж) (1894—1965) — российский социолог и философ, преподавал в Томском и Петроградском университетах, эмигрировал в 1920 г. С 1948 г. возглавлял кафедру социологии в Сорбонне (Париж). Основные труды создал в области истории социологии, теории и методологии социологических исследований, социологии морали и права, метатеории социологии.

[9] Так у Сорокина.

[10] Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше... (лат.).

[11] *Преобразование* факультета социологии — результат интриг более молодых профессоров. Идея принадлежала Т. Парсонсу. Он предложил упразднить факультет социологии, а на новый факультет Сорокина уже не пригласили. Он оказался

в Гарварде почти в полной изоляции, справедливо усматривая в этом немалую вину Парсонса, который стал играть ведущую роль на новом факультете. С этого момента и началась «война» между двумя выдающимися учеными.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

[1] *Публичными школами* в Новой Англии (США) называются частные платные учебные заведения для детей и подростков.

[2] *IBM* (International Business Machine) — американская транснациональная корпорация, крупнейший производитель электронно-вычислительной техники. Ведет широкомасштабные исследования и разработки новых технологий.

[3] Адрес последнего дома Сорокина: США, г. Винчестер, штат Массачусетс, (ул.) Клифф стрит, д. 8. Дом двухэтажный, на первом этаже холл-прихожая, большая гостиная, столовая и кухня, на втором — две спальни, кабинет Сорокина и библиотека.

[4] *Тэнглвудский музыкальный центр* более известен как Беркширский музыкальный центр.

[5] *Через Кусевицкого я познакомился со многими выдающимися композиторами и исполнителями нашего времени.* — Сорокин имеет в виду прежде всего композиторов С. В. Рахманинова, А. Т. Гречанинова, дирижера Н. А. Малько.

[6] *Клика* (от фр. clique — банда, шайка) — термин, означающий в западной социологии первичную неформальную группу соратников или единомышленников. В этом случае не несет обычного негативного и уничижительного смысла.

[7] В книге «Социальная и культурная динамика» Сорокин разработал новую концепцию исторического развития культуры, положив в ее основу теорию социокультурной динамики, которая рассматривает изменения в обществе как закономерный диалектический процесс колебательного характера. Длительность динамических циклов в этом процессе больше, чем у конъюнктурных волн Кондратьева, а совершают эти циклические колебания *социокультурные системы*, ядром которых являются определенные *мировоззрения*. К таким суперсистемам он относит сенсативную, т. е. *бездуховную* (или чувственную), *духовную* (или умозрительную) и *рациональную* (или интеллектуальную). В рамках первой системы реальность воспринимается чувствами, в духовной познают ее интуицией, а в рациональной — интеллектом. Господствующее в обществе мировоззрение и организованная вокруг него социокультурная система постепенно исчерпывают свои возможности для познания реальности и заменяются одним из двух других альтернативных мировоззрений. Эти изменения происходят *ритмически и периодично*, что и показал на огромном фактическом материале Сорокин. Процесс перехода от одной суперсистемы к другой сопровождается культурным кризисом: радикальным изменением социальных институтов, ценностей и норм, что, естественно, влияет на поведение людей. Вот, в общем-то, если коротко, и вся суть книги. Структура четырехтомника выглядит следующим образом: том 1: «Изменения форм искусства», 745 стр.; том 2: «Изменение систем истин, этики и права», 727 стр.; том 3: «Изменение общественных отношений, циклы войн и революций», 636 стр.; том 4: «Основные проблемы, принципы и методы», 804 стр. Значение книги, хотя ее и считают едва ли не самым выдающимся трудом по социологии нашего столетия, до конца, похоже, еще не осознано.

Концепция Сорокина — самодостаточна, т. е. содержит в себе ответы на все

вопросы, которые мы в состоянии поставить перед собой сегодня и в относительно недалеком будущем. Это не означает, что концепция содержит готовые ответы на все случаи жизни. Она дает больше — метод анализа социальных явлений и инструмент для уменьшения прогностической неопределенности. Для современной науки концепция Сорокина как костюмчик на вырост: знаем, что есть, но когда еще станет впору!

[8] *Зайонский парк* расположен на плато Колорадо.

[9] *Йосемитский парк* находится в горах Сьерра-Невады.

[10] Название лекции «Сумерки бездуховной культуры» перекликается с сочинением Освальда Шпенглера «Закат Европы» и со всей очевидностью заимствовано из статьи, с которой Сорокин познакомился еще в 1914 г., готовясь к магистерскому экзамену. Статью написал Г. Ландау, и называлась она «Сумерки Европы» («Северные записки», 1914, № 10—12).

[11] *...политики и элита развязали фатальный конфликт...* — Имеется в виду Берлинский кризис 1948—1949 гг.

[12] Агнец Божий, искупающий грехи мира, помилуй нас. Даждь нам мир (лат.) — цитата из реквиема.

[13] Сначала жить, потом философствовать (лат.).

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

[1] Приветственная речь называлась «Таинственная энергия Любви».

[2] Тайна великая и завораживающая (лат.).

[3] *...его участие в «глупом проекте».* — Намек на то, что некоторые оппоненты Сорокина издевались над его темой Любви, считая такой проект соискателем премии «Золотого Руна». Эту «награду» ежегодно вручает сенатор Вильям Проксмайер за самое *глупое, ненаучное или бесполезное* исследование, на которое впустую расходуются деньги налогоплательщиков. Американское научное сообщество отвергало саму по себе идею исследований, основанных на религии. Вторая половина XX века — это время бурного развития прикладной социологии, базирующейся на математических методах. Призывы Сорокина к изменению общества путем нравственного совершенствования американцами просто не воспринимались. Эти идеи скорее получали отклик и одобрение в Индии, Японии, Испании, чем в США.

[4] *«Эли Лилли энд ко.»* — девятая по масштабам операций фармацевтическая фирма США. Около $^{2}/_{3}$ продаж выпускаемых ею лекарств приходится на долю антибиотиков. Имеет 18 пр-й в США и 32 (с совместными) за рубежом. Чистая прибыль в 1986 г. составила 558 млн долл. — 29-е место среди всех фирм США.

[5] *«Лилли Эндоумент»* — благотворительный фонд.

[6] *Будучи супершотландцем...* — отличительной национальной чертой характера шотландца считается сдержанность, недоверчивость, осторожность при начале нового дела и знакомстве с новым человеком.

[7] *Пилотажные исследования* — (от англ. pilot — лоцман) — предварительные, оценочные исследования.

[8] *Дзен-буддизм* — одно из ответвлений буддизма, характеризующееся непосредственной передачей учения от человека к человеку, прямым контактом с духовной сущностью человека, независимостью от письменных изложений учения. Дзен-буддизм означает буквально: созерцательный, медитирующий буддизм. *Суфизм* — одно из направлений ислама, характеризующееся аскетизмом и мисти-

кой. Основа — учение о постепенном приближении прозелита через мистическую любовь к познанию бога и слиянию с ним. *Соматофизика* — здесь: укрощение плоти.

[9] *Св. Василий Великий Кесарийский* (ок. 330—379) — деятель церкви, теолог, философ-платоник, проповедовал аскетизм, поддерживал монашество. *Св. Бенедикт Нурсийский* (ок. 490—540) — основатель первого в Европе христианского монашеского ордена бенедиктинцев. Устав ордена включает три обета — постоянное проживание в монастыре, послушание и воздержание. *Св. Франциск Ассизский* (1181 (2?) — 1226) — основатель «братства», призывал к отказу от собственности и аскетизму. Братство получило название Ордена меньших братьев или францисканцев. Св. *Бернард (Бернар) Клервоский* (1090—1153) — теолог, реорганизовал орден цистерианцев, которые стали называться бернардинцами. *Св. Игнаций Лойола* (1491?—1556) — основатель ордена иезуитов.

[10] *Коменский Ян Амос* (1592—1670) — чешский педагог, философ и писатель, рассматривал демократическое воспитание как подготовку к вечной жизни, а всеобщее образование как условие гуманизации нравов. *Песталоцци Иоганн Генрих* (1746—1827) — швейцарский педагог-демократ, основоположник теории начального обучения — развивающего обучения, вводил психологию в педагогику. *Монтессори Мария* (1870—1952) — итальянский педагог, разработавший методы развития органов чувств у детей, сторонница свободного воспитания. *Фробель Фридрих Вильгельм Август* (1782—1852) — немецкий педагог, теоретик развивающего образования.

[11] *Ганди Мохандас Карамчанд* (1869—1948) — индийский мыслитель, общественный и религиозный деятель.

[12] *Швейцер Альберт* (1875—1965) — немецко-французский мыслитель, протестантский теолог, врач и миссионер, музыковед и органист. Лауреат Нобелевской премии мира (1952).

[13] *Хаас Теодор* — исследователь американских индейцев и защитник их прав. *Франклин Бенджамин* (1706—1790) — американский мыслитель, экономист, публицист и политический деятель. *Вулман Джон* (1720—1772) — американский проповедник и миссионер-квакер.

[14] *Августин Аврелий* (354—430) — христианский теолог и философ, признан в православии блаженным, а в католичестве святым. Играл важную роль в разработке церковной догматики — учение о божественном предопределении, о благодати и о воздаянии. *Св. Павел* — «апостол язычников», распространитель христианства среди языческих народов Римской империи. *Брат Джозеф из Сант-Бене* (1654—1723) — испанский монах-бенедиктинец, проповедник аскетизма, религиозный поэт. *Вайл Симон* (1909—1943) — французский религиозный философ и социальный мыслитель.

[15] *Св. Феодосий Великий* (ок. 424—529) — основатель монастыря в Палестине. *Св. Терезия* (1515—1582) — испанская монахиня, писательница, считается покровительницей Испании. *Рамакришна, Гададхар Чаттерджи* (1836—1886) — реформатор индуизма. Опираясь на учение о бессмертии души, проповедовал равенство людей. Общественную деятельность понимал как всеобщую заботу о духовном совершенствовании.

[16] *Фрустрация* (от лат. frustratio — обман, тщетное ожидание, расстройство) — психологическое состояние напряжения, тревожности, чувства безысходности и отчаяния.

[17] *Тойнби Арнольд* (1889—1975) — английский историк и философ. Рассматривал историю как ряд дискретных цивилизаций: главный труд жизни «Исследование истории».

[18] *Милтон Джон* (1608—1674) — английский поэт, политик.

[19] *Хартман (Карл Роберт) Эдуард фон* (1842—1906) — немецкий философ, эстетик, теоретик искусства. *Жане Пьер* (1859—1947) — французский психолог, основоположник психологии автоматизмов.

[20] Порыв, сила (фр.).

[21] Разум, мысль (греч.).

[22] Дух, дыхание (греч.).

[23] *Ид* — оно, *эго* — Я, *суперэго* — сверх-Я — понятия, отражающие представления Зигмунда Фрейда о структуре личности. Три эти понятия выделяются Фрейдом в интрапсихической структуре личности: *ид* представляет собой источник энергии, подпитывающий стремление к получению удовольствия. При высвобождении энергии ослабляется напряжение и возникает чувство удовлетворения. Так, *ид* мотивирует наши занятия сексом, еду и отправление естественных надобностей. *Эго* — внутренний цензор, что-то вроде, пользуясь выражением Нейла Смелзера, семафора на путях сообщения между личностью и окружающим миром. *Эго* руководствуется принципом приспособления к реальности, т. е. задерживает высвобождение энергии *ид* до появления подходящих места, времени и объекта разрядки напряжения. *Суперэго* — это «идеализированный родитель», осуществляющий нравственно-оценочную функцию, требуя от человека такого поведения, которое соответствовало бы стандартам морали сначала родителей, а затем и общества в целом.

[24] Евангелие от Матфея, гл. 12, 25.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

[1] *Операционализм* — направление в методологии, сводящее теоретическое знание к эмпирическим процедурам измерения. *Псевдооперационализмом* Сорокин называет неоправданное стремление социологов измерять в принципе неизмеримые величины и явления, каковых много в социальных науках, для чего выдумываются шкалы измерения, не имеющие ничего общего с самим измеряемым феноменом.

[2] *Квантофрения* — остроумное соединение англ. слов: *quantity* (количество) и *schizophrenia* (шизофрения). Означает чрезмерное, доходящее до абсурда увлечение количественными методами в ущерб содержательному анализу.

[3] *...культ «социальной физики с умственной механикой»...* — Намек на упрощенные позитивистские представления об обществе и его закономерностях (термин социальная физика принадлежит О. Конту — родоначальнику позитивизма) и умственную неполноценность тех, что исповедует подобные взгляды («умственная механика»).

[4] *Миллз Райт Чарльз* (1916—1962) — американский социолог леворадикальной ориентации. Один из идеологов движения «новых левых».

[5] *«Не надейтесь на князей...»* — неточная цитата из 145 псалма (Пс. 145, 3): «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения.»

[6] *...я бы даже сказал довольно недружественных отношений с редакторами «Обозрения».* — Основателем журнала был профессор Бернард, место которого в Миннесоте занял Сорокин.

[7] Сорокина неоднократно приглашали приезжающие в США советские социологи посетить Россию, но когда дело доходило до оформления официального приглашения, оно стопорилось где-то на самом верху. Американская сторона также была не расположена пускать Сорокина на Родину. Известно, что летом 1962 г. президент Всемирного совета мира Джон Берналл пригласил его в качестве гостя на Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир в Москву. Однако госсекретарь Дин Раск, который, как и Джон Ф. Кеннеди, слушал лекции Сорокина в Гарварде, прислал ему официальное письмо с рекомендацией не принимать приглашения. По свидетельству сотрудника нашего посольства в Вашингтоне, в 1963 г. повторилась та же история. Сорокины были очень расстроены, что не удастся перед смертью побывать на Родине (см.: Отчизна, 1990, № 3. С. 43—47).

[8] *...в ближайшем будущем одна или несколько моих книг выйдут в Советском Союзе.* — По всей вероятности, первой книгой Сорокина, изданной в СССР, станет его автобиография.

[9] Сорокин был избран президентом Американской социологической ассоциации в 1964 г. на 1965 год.

[10] *Сан-Фернандо Вэлли* — пригород Лос-Анджелеса.

[11] Сладкое ничегонеделание (лат.) Цитируемое даосское изречение взято из древнекитайского трактата «Дао дэ дзин», написанного основателем даосизма Лао-Цзы (VI в. до н. э.). Имеется в виду учение о недеянии (у-вэй), т. е. подчинении естественному порядку, «пути» (дао) всех вещей, отсутствии всяких стремлений, идущих вразрез с «дао».

[12] От англ. сокращения *hi-fi (high fidelity)* — высокая точность (качество).

[13] *Культурные атональности* — термин, изобретенный Сорокиным.

[14] *Спиричуэлс* — духовные песни американских негров южных штатов, предшественники блюза.

[10] *...жаль изобретателей...музыкальных инструментов...* — Сорокин явно намекает на Адольфа Сакса, создавшего в 1846 г. саксофон. Мастер и не предполагал, что его детище будет с таким успехом освоено джаз-музыкантами.

[16] *«Держи свои беды при себе».* — Имеется в виду латинское выражение: *habeas tibi* — держи про себя.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

[1] Выражение из Библии (Книга пророка Даниила 11, 31).

[2] Высшее благо, Бог (лат.).

[3] *...они соперничали в подготовке «первого удара»...* — Концепция первого удара предполагает достижение такого качественного или количественного перевеса в оружии массового поражения и средствах его доставки к целям на территории противника, которое бы позволило, начав («ударив») первыми, вывести из строя аналогичные средства доставки у противника и нанести ему неприемлемый ущерб.

[4] Выражение из Библии (Евангелие от Матфея 24, 23).

[5] День гнева (лат.).

[6] *Ницше Фридрих* (1844—1900) — немецкий философ, профессор Базельского университета в 1869—1879 гг., один из основоположников «философии жизни». Сорокин в последние годы увлекался работами этого великого немецкого ученого. Многие идеи Ницше перекликаются с сорокинскими. Так, например, две фазы

развития социокультурных систем — сенсативная и умозрительная — у Сорокина схожи с двумя началами бытия — «дионисийское» (жизненно-оргиастическое) и «аполлоновское» (созерцательно-упорядочивающее) — противопоставленными у Ницше. Декаданс Сорокин также понимает совершенно по-ницшеански, как упадок не только искусства, но и всей европейской цивилизации, ее вырождение, утерю «воли к жизни».

[7] Приведенное «предначертание» не является буквальной цитатой. Сорокин соединил несколько высказываний Ницше из разных произведений («Так говорил Заратустра», «Антихрист» и др.). Современного человека Ницше называл «слабым», «низким», «уродливым», «презреннейшим». «Человек, — писал он, — есть нечто, что дóлжно преодолеть». (Ницше Ф. Соч. в 2-х томах. М., 1990. Т. 2. С. 142—143, 633—635.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

[1] *Илоты* — низший слой земледельческого населения в древней Спарте, считавшийся собственностью государства. Образовался в основном за счет бывших рабов, формально освобожденных, но лишенных прав свободного гражданина и прикрепленных к земле. Здесь в переносном смысле люди с рабской психологией.

[2] *Преторианцы* — первоначально личная охрана полководца в Древнем Риме, впоследствии — императорская гвардия, пользовавшаяся привилегированным положением, часто играла большую роль в дворцовых переворотах. В переносном смысле — люди, незаконно захватившие и удерживающие власть с помощью грубой военной силы.

[3] *...превратились из Савлов в Павлы.* — Имеется в виду библейский сюжет (Деяния 8, 1—3; 9,1—9; 13, 9) о превращении гонителя христиан Савла после явления ему Иисуса Христа в апостола Павла.

[4] Сорокин имеет в виду Зимний дворец.

[5] Помни о смерти (лат.).

[6] *Карлейль Томас* (1795—1881) — английский историк, философ и писатель, по своим взглядам был близок философии Фихте, Шеллинга, немецких романтиков. Выдвинул концепцию, получившую название «культа героев».

[7] Это латинское выражение использовано здесь как синоним Золотого века.

[8] *Человек человеку — бог* (а не *волк*) (лат.).

[9] *Тэн Ипполит Адольф* (1828—1893) — французский историк и философ, основоположник культурно-исторической школы в искусствоведении, внес большой вклад в разработку теории познания и развитие «органической» школы в историософии. Работа, где содержится упоминаемая Сорокиным мысль Тэна, — это трехтомное «Происхождение современной Франции» (1876—1893), изданная на русском языке в пяти томах в 1907 г.

[10] Евангелический мотив (см. Матфея 25, 34—40; Луки 5,30—32; 10, 36—37 и т. д.), использованный Ф. М. Достоевским в названии романа «Униженные и оскорбленные» (1861). Сам Сорокин цитирует последние строки «песни» из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1863—1877):

«Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути.

Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую, —
Каким идти? 〈...〉
Иди к униженным,
Иди к обиженным —
И будь им друг!»

[11] *...смердяковщина и шигалевщина потопят вас.* — Прозрачный намек на низость, бездарность и самонадеянность новых властителей России. Смердяков — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», синоним подлого человека. Шигалев — это персонаж романа «Бесы» (1871). Достоевский с прозорливостью гения вложил в его уста слова, которые в 1917 г. и позднее не раз повторяли большевики, и в первую очередь В. И. Ленин. Их литературный предтеча Шигалев заявлял: «...так как будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы, наконец, собираемся действовать, чтоб уже более не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира. ...Кроме того, объявляю заранее, что система моя не окончена. ...Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. *Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого.»* (Соч.: В 12 т. М., 1982. Т. 8. С. 388—389.) (Курсив мой. — А. Л.)

[12] *Нил Сорский* (Майков Николай, ок. 1433—1508) — основатель и глава нестяжательства в России; развивал идеи нравственного самоусовершенствования и аскетизма; являясь противником церковного землевладения, ратовал за реорганизацию монастырей на началах скитской жизни и монашеского труда.

[13] *Св. Сергий Радонежский* (ок. 1321—1391) — основатель и игумен Троицкого монастыря, выдающийся русский церковный и политический деятель. Канонизирован в 1422 г.

[14] *Св. Зосима Соловецкий* (ум. в 1478) — основатель монастыря на Соловецких островах, в 1547 г. причислен к лику святых.

[15] *Socius* — индивид (лат.), рассматриваемый не только как животное или существо разумное, но также как член сообщества, ученик, учитель, сотрудник. Социологическая интерпретация этого термина введена Ф. Гиддингсом.

[16] Мнение ученого сообщества (лат.).

[17] Противопоставление «наук о природе» «наукам о культуре (духе)» исторически обосновано неокантианцами баденской школы, в частности В. Виндельбандом и Г. Риккертом. Последний, например, считал что эти два типа наук различаются прежде всего по методу познания: «естествознание генерализует», в то время как цель истории — в изображении единичного и индивидуального хода действительности (см. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911. С. 81, 97).

[18] *Психологизм* — психологическая школа в социологии, возникшая в конце XIX века (Г. Тард, Л. Ф. Уорд, Ф. Гиддингс, У. Мак-Даугалл, М. Лацарус и другие). Стремится объяснять социальные отношения и структуры на основе психологических данных, свойств человеческой психики, анализа непосредственного взаимодействия людей.

[19] *Интроспективный метод* (от лат. introspectio — смотрю внутрь) — самонаблюдение, основной метод психологии до возникновения в начале XX века гештальтпсихологии.

[20] *Социальная статика,* согласно О. Конту, изучает строение человеческого общества. Элементарная клетка общества — не индивид, а семья, в которой в зародыше заключены все основные социальные отношения. Кооперация деятельности многих семей для достижения общих целей требует создания единого правительства и т. д. *Социальная динамика* рассматривает развитие общества в целом. По мысли Конта, общество в своем развитии последовательно проходит три стадии — теологическую, метафизическую и научную (позитивную) стадии, соответствующие определенным типам мышления и методов познания.

[21] Основанием различения (лат.).

[22] *Behavior'изм* (бихевиоризм, англ.) — см. примечание к гл. восьмой.

[23] *Кумулятивный* (от лат. cumulo — собираю, накапливаю) — собирательный, соединенный; здесь в значении сложный.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Питирим Александрович Сорокин

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Автобиография

Заведующий редакцией *А. Бармасов*
Редактор *А. Акопян*
Художник *Н. Старцев*
Художественный редактор *И. Лопатина*
Технический редактор *О. Глушкова*
Корректор *Е. Коротаева*

Качество иллюстраций обусловлено использованием архивных фотографий.

Сдано в набор 28.02.92. Подписано к печати 17.04.92. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,5. Усл. кр.-отт. 20,75. Уч.-изд. л. 24,01. Тираж 15 000 экз. Заказ 712.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций. Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Ярославский полиграфкомбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Что бы ни случилось в будущем, я знаю теперь три вещи, которые сохраню в голове и сердце навсегда. Жизнь, даже самая тяжелая, — это лучшее сокровище в мире. Следование долгу — другое сокровище, делающее жизнь счастливой и дающее душе силы не изменять своим идеалам. Третья вещь, которую я познал, заключается в том, что жестокость, ненависть и несправедливость не могут и не сумеют создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в материальном отношении.

ПИТИРИМ СОРОКИН



«ТЕРРА» - «TERRA»